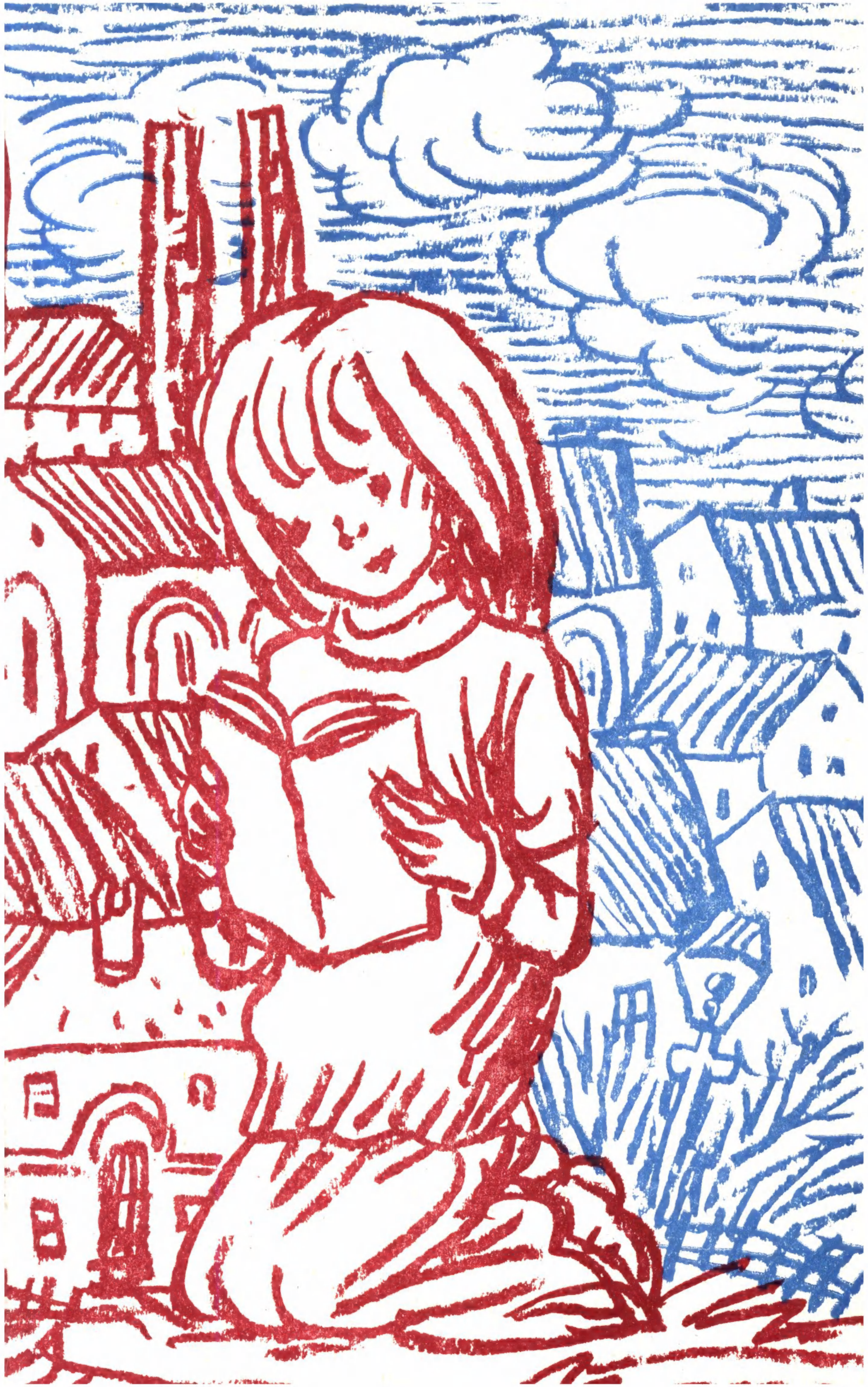
ЯРОМИРА КОЛАРОВА



НАШ МАЛЕНЬКИЙ, МАЛЕНЬКИЙ МИР







JAROMÍRA KOLÁROVÁ

NÁŠ MALÝ MALIČKÝ SVĚT

PRAHA, 1977

ЯРОМИРА КОЛАРОВА

НАШ МАЛЕНЬКИЙ, МАЛЕНЬКИЙ МИР

Роман

ПЕРЕВОД С ЧЕШСКОГО



МОСКВА «ПРОГРЕСС»
1980

Перевод *Веры Петровой*
Предисловие *И. Бернштейн*
Редактор *Н. Жаркова*

Коларова, Яромира
Наш маленький, маленький мир. Роман.
Пер. с чешск.

В разнообразном по жанрам творчестве известной чешской писательницы Яромиры Коларовой явно ощущается пристальное внимание к судьбам детей и подростков, к морально-этической проблематике духовного созревания подрастающего поколения.

Предлагаемая книга посвящена жизни одной пражской пролетарской семьи периода буржуазной Чехословакии. Писательница скрупулезно выписывает человеческие типы и жизненные обстоятельства, под воздействием которых складывается характер главной героини — девочки Яромиры. В конце книги Яромира — на пороге «взрослой» жизни, когда «маленький, маленький мир» ее детства миновал навсегда, а перед ней открывается большой мир в своей красоте и радости, страданиях и печали.

К $\frac{70304-350}{006(01)-80}$ 93—80 4703000000

КНИГА О ДЕТСТВЕ

Яромира Коларова сегодня по справедливости считается одним из наиболее интересных чешских авторов. Начав литературную деятельность еще в довоенные годы как критик и публицист, она в дальнейшем отдала предпочтение художественной прозе: ее перу принадлежат романы, повести, рассказы, репортажи. В разнообразном по жанрам творчестве явно ощущается пристальное внимание к судьбам детей и подростков, к морально-этической проблематике духовного созревания подрастающего поколения.

Так, например, сборник рассказов «Чужие дети»[1] (1975) посвящен первым особенно острым столкновениям с жизнью юных существ, по тем или иным причинам лишенных семейного уюта и тепла. О радостях и огорчениях девочек, рано начавших работать продавщицами большого магазина, рассказывается в повести «Девчонки из фарфорового» (1973). Разнообразно представлен мир детской души и в книге «Дома на зеленом лугу» (вышла на русском языке в издательстве «Детская литература», 1971).

В современной чешской литературе необходимо отметить принципиальный интерес к проблематике подрастающего поколения, семьи, к моральным вопросам, с этим связанным. Из писателей, наиболее близких к Коларовой в этом отношении, можно назвать Я. Моравцеву, Й. Кадлеца и других.

В произведениях Коларовой рельефно проявляется тенденция, вообще характерная для сегодняшней чешской литературы: мир ее героев, даже если речь идет только об их семейных и личных делах, так или иначе входит в большую историческую панораму. В романе «Только о делах семейных» (1965), несмотря на такое камерное, даже полемически направленное заглавие, отчетливо слышатся отзвуки серьезных общественных кон-

---

[1] Повесть из этого сборника «О чем не сказала Гедвика» опубликована в журнале «Иностранная литература», 1979, № 2.

фликтов. В более позднем романе — «Мой мальчик и я» (1974) — повествование героини о своей жизни тесно связано со значительными событиями истории Чехословакии нашего века.

Этот роман написан в форме дневника героини, который перемежается позднейшими записями ее сына. Перед читателем возникает обаятельный образ женщины, вышедшей из бедной трудовой семьи и пережившей во времена буржуазной республики немало унижений, прежде чем ей удалось получить образование. Она участвует в антифашистском Сопротивлении во время гитлеровской оккупации, в послевоенные годы самоотверженно отдает все силы борьбе за укрепление социалистического строя. Превратности истории резко отразились на ее жизненном пути, но она до конца сохраняет страстную убежденность коммунистки и преданность своей партии.

Необходимо отметить определенную автобиографичность некоторых произведений писательницы. Это касается не только романа «Мой мальчик и я», но и книги «Наш маленький, маленький мир» (1977), где героиню зовут так же, как и Коларову,—Яромира. Это, конечно, не случайно, собственно говоря, Яромира не в первый раз появляется в творчестве Коларовой. Мы знаем ее дальнейшую судьбу по роману «Мой мальчик и я». Только в «Нашем маленьком, маленьком мире» все внимание автора сосредоточено на детских годах героини.

Роман не имеет четкого сюжета. Девочка рассказывает о своей жизни в период от трех до четырнадцати с небольшим лет. Впрочем, сюжет все-таки намечается — вначале Яромира ждет прилета аиста, который должен принести в семью маленького брата. А на последних страницах принесенный аистом мальчик умирает от туберкулеза позвоночника, а его сестра, несмотря на все свое горе, заглянув в зеркало, с удивлением видит почти взрослую девушку, к чьим светлым волосам так идет траур.

Роман написан от первого лица. Но можно ли сказать, что писательница воспроизводит действительность только через призму детского сознания? Пожалуй, это не совсем так. За очень живыми и убедительно переданными впечатлениями и переживаниями девочки чувствуется зрелый, много испытавший автор, его порой грустная, но, по существу, оптимистическая жизненная мудрость.

В романе Коларовой тонко раскрыт сложный и не всегда подвластный анализу процесс становления человеческой личности. В этом смысле перед нами произведение, которое можно определить как «роман воспитания».

В пестром хороводе детей и взрослых, который окружает Яромиру, с недетской наблюдательностью присматривающуюся к своим многочисленным родственникам, соседям, школьным подругам и их родителям, колоритно выделяются образы отца и матери маленькой героини. Эти сильные и незаурядные люди претерпели многочисленые лишения и нужду, но сохранили верность друг другу в долгие годы разлуки во время войны. Отец сосредоточен, уравновешен, его отличает гордость рабочего и страстная жажда свободы, свободолюбие и чувство собственного достоинства столь же свойственны и матери девочки, хотя у нее менее стабильная и более нервная натура. В ее душе живет прекрасная мечта о великих деяниях, о той полноте и красоте жизни, которая не вяжется с ее более чем скромным положением. Романтическую устремленность в прекрасное будущее она вносит и в свои убеждения коммунистки. Романтический максимализм матери сказался в отношении к детям: она разочарована «обыкновенным» обликом дочки, не может проникнуть в ее богатый духовный мир, и всю свою материнскую страсть отдает сыну, красивому, умному, но безнадежно больному мальчику, чья болезнь нависает черной тенью над дружной и по-своему счастливой семьей. Постоянные упреки матери и ее явно неодобрительное отношение к дочери порождают в Яромире неуверенность в себе, но вместе с тем в ней зреет дух протеста, стремление отстоять свое «я».

Отец, напротив, безмерно любил дочь, но его сдержанность, сила и цельность характера несколько пугали девочку, не позволяли ей раскрыться перед ним.

Чувствуя недоверие матери, робея перед отцом, Яромира привязалась к брату, прикованному болезнью к постели. Гибкость его ума, способность измышлять бесконечные проделки, безудержность фантазии помогли развитию девочки, во многом освободили ее от некоторой заторможенности и стесненности.

И все же познание мира нелегко дается впечатлительной и замкнутой Яромире, которая не любит ни о чем спрашивать и все пытается понять сама. Неудивительно,

что мир проходит перед ее глазами вереницей светлых или печальных сказок.

Сначала Яромиру интересуют бесконечные детские вопросы, вроде «Какой величины игрушки у крохотных жуков?». Потом она решает, что важный деревенский селезень — заколдованный принц, которого можно расколдовать поцелуем. Постепенно в ее сознание вторгается горькая реальность мира.

Ее потрясает первое знакомство со смертью. Когда она узнает о внезапной смерти от дифтерита румяного соседского мальчика, с которым ей так хотелось познакомиться, чтобы поиграть с его разукрашенным рисунками школьным ранцем, до нее впервые доходит смысл страшных слов: «никогда больше». А после похорон родственника, на которых она присутствовала, смерть для нее ассоциировалась с мокрой, скользкой глиной и перерезанными заступом корешками цветов.

Так шаг за шагом впечатлительная и чуткая Яромира входит в жизнь. Многое вызывает у нее обостренную, неожиданную реакцию: она не может без слез смотреть на распятие в церкви и ощущает разочарование, когда Христос не сходит с креста во время пасхальной службы; она переживает за бедного, беззащитного Чарли Чаплина в комедийных фильмах — тумаки, достающиеся героям, и их злоключения рождают в ее душе не смех, а глубокую боль и сострадание.

Конечно, все переживания девочки связаны с тем маленьким миром, который ее окружает. Но хрупкие стены этого мирка потрясают внешние события. В литературе, особенно современной, мы найдем немало значительных произведений, в которых общественная действительность интерпретируется в детских понятиях и категориях. В таких произведениях детское видение порой помогает, так сказать, «остранить» действительность, выявить в ней нечто уродливое и неестественное, выступающее более резко в наивном восприятии ребенка или подростка. Всем известно, как убийственно звучит в детских устах утверждение «король гол». Именно по этому принципу построены, скажем, такие известные произведения, как «Над пропастью во ржи» Сэлинджера или «Урок немецкого языка» Ленца.

Современные чешские писатели также используют этот прием. В качестве примера можно привести роман

Л. Фукса «Мелодия для темной струны», где воссоздана мрачная обстановка кануна Мюнхена, или роман К. Мисаржа «Окраина», где свидетелем острых общественных столкновений первых послевоенных лет становится мальчик из пролетарской семьи.

Хотя обличительный пафос не является преобладающим в книге Коларовой и хотя в социальном плане жизнь семьи Яромиры сравнительно удачна, критика буржуазной Чехословакии в книге достаточно сильна. Разоблачаются легенды о преуспеянии общества и о гуманных началах, якобы лежащих в его основе. Показательна судьба отца Яромиры: солдат австрийской армии, сразу же сдавшийся в плен русским, он становится бойцом так называемых легионов, созданных из чехов и словаков, пожелавших сражаться против Австро-Венгрии в надежде добиться независимости для своей родины. Раненый, он был подобран на поле боя австрийцами, и ему грозила виселица как государственному изменнику, если бы ему не удалось в госпитале выдать себя за русского солдата. Отлежавшись в госпитале в Кошице, он вернулся домой в первые же дни провозглашения независимой республики и стал одним из рекламных героев ура-патриотической прессы, создавшей шумиху вокруг подвигов легионеров. Когда он женился, брак был заключен в канцелярии президента республики, и он получил денежное вспомоществование, на которое и была куплена мебель, прослужившая семье Яромиры почти всю жизнь. Столь блестяще начавшаяся карьера быстро оборвалась: отец пожелал стать простым рабочим и к тому же решительно отказался принять участие в подавлении рабочих волнений. Он чувствовал, что его одинаково предали и в те дни, когда товарищи по оружию бросили его на поле боя, и тогда, когда ему предложили стрелять в своих братьев рабочих. Он понял, что крепкая дружба легионеров, официально называвших друг друга «братьями»,— всего лишь миф. В романе есть характерная сцена: как-то под Новый год отец решил нанести визит своему бывшему командиру и вместе с Яромирой пошел к «брату генералу». Отец нес генералу в подарок серебряный портсигар, и девочка размечталась, что генерал в свою очередь подарит им по меньшей мере гнедого коня с белой звездой и серебряной уздечкой. Действительность оказалась много неприятнее. Визитеров не пустили дальше кухни. Генерал, крайне удивленный, что

отец Яромиры не собирался его просить о какой-либо протекции, тайком сунул девочке деньги — Яромира навсегда запомнила бледное от ярости лицо отца, когда он это обнаружил и с негодованием выбросил милостыню.

В школе, а потом в гимназии Яромира постоянно сталкивается с социальным неравенством, которое прикрывалось маской показного демократизма. И в доме своей любимой подруги Зорки, состоятельные родители которой гордились дружбой дочери с «малоимущими» девочками, Яромира, для которой чистый платок — уже роскошь, не может не чувствовать кричащей разницы в условиях жизни своей семьи и семьи подруги.

А годы кризиса и безработицы научили девочку особенно ясно понимать, какая пропасть разделяет господ и бедных тружеников.

Социальные контрасты, характерные для действительности буржуазной Чехословакии, предстают в романе во всей их остроте. Вместе с тем в книге пленяет светлое, поэтическое начало, которое чешский литературовед Й. Грабак определил как «стремление объять жизнь не только в ее нищете, но и в ее красоте».

Самоотверженность, душевное благородство, взаимная преданность простых людей, окружающих семью героини,— все это благотворно влияет на развитие ее характера. Глубокая любовь, доверие, уважение родителей друг к другу также способствуют формированию в ней высоких моральных качеств.

Светлая поэтичность многих страниц романа неотделима от основной темы — темы становления, несмотря на неблагоприятные социальные условия, богатой, гармоничной человеческой личности.

Писательница оставляет героиню на пороге взрослого мира. Стоя у гроба младшего брата, она поняла, что «маленький, маленький мир» ее детства исчез навсегда. Яромира чувствует, что и в большом мире чужое страдание не будет давать ей покоя. Большой мир приоткрылся перед ней в своей красоте и радости, страданиях и печали, и живая активная натура девочки побуждает ее отправиться на поиски достойного места в нем. Так кончается эта светлая, гуманная, мужественная книга.

И. Бернштейн

Право, не знаю:
это почудилось мне,
сон ли приснился во сне
или случилось взаправду ...[1]

Вилем Завада

[1] Перевод И. Александровой.

Я ЖДУ АИСТА

Девочка стоит, прижавшись носом к оконному стеклу,— худенький, бледный заморыш, весом не более десяти килограммов, но говорит она уже свободно, с большой неохотой читает стишки и знает, как надо отвечать на вопросы взрослых.

«Мама тебя слушается?» — тут требуется кривая усмешка.

«Кого ты больше любишь, маму или папу?» — следует ответить: «Обоих одинаково».

«Папа злой?» — на этот вопрос полагается отвечать решительно: «Нет, не злой, а просто строгий!»

Но в головенке этой, вроде бы податливой, хорошо выдрессированной обезьянки уже проклевываются ростки человеколюбия, уже копятся свои тайные наблюдения, зарождаются симпатии и антипатии, есть и своя собственная мера ценностей и весьма четкая граница бунта: приказы, запреты и замечания взрослых доходят лишь до определенной точки. До поры до времени ребенок терпеливо подчиняется, но вдруг и без того бледное личико бледнеет, серые глаза становятся зелеными и в упор глядят на большого дурачка, а тот все угрожает, орет, отвешивает оплеухи, но в конце концов отступает перед сострадательно-презрительным взглядом ребенка. Однако взрослые капитулируют, лишь поставив свои условия, отступают они почему-то всегда со смешными обещаниями: «Больше я с тобой не разговариваю» или «Только попробуй теперь подойди ко мне!», а то и «Никогда больше ничего тебе не куплю!»

Девочка улыбается про себя, радуясь, что наконец-то ее оставят в покое и можно будет залезть на горбатую крышку сундука и, прижавшись носом к стеклу, смотреть и смотреть на мглистую улицу.

Сквозь годы, сквозь пласты времени я вижу эту девочку, образ ее ускользает, но я чувствую к ней и любовь и неприязнь, я стыжусь ее сумасбродств, и даже сегодня мне больно от тех кривд, через которые провела, проволокла, протащила эту девочку жизнь, но сейчас я уже лег-

ко улыбаюсь ее горестям, а ее смех отзывается во мне счастливой печалью.

Образ девочки растаял во мне, у нас с ней нет ничего общего, кроме разве что удивительно острого восприятия окружающего, в чем, видимо, и таится причина столь резкой и неожиданной смены радости и горя. По моему мнению, человек вроде деревянной куклы-матрешки, и его подобия вложены одно в другое, но в отличие от деревянной игрушки они так глубоко взаимосвязаны, что, разнимая их, мы причиняем себе боль. И вот я достаю матрешек одну за другой, они становятся все меньше и меньше, я расставляю их рядком, пока не добираюсь до самой крошечной. Время обесцветило образ девочки в моих воспоминаниях. Вот она стоит на коленках на горбатой крышке сундука, в застиранной маечке и юбчонке, светлые волосы подстрижены под кружок, из-под челки выглядывают узкие глаза, нос — кнопкой. Физиономия какая-то незавершенная, будто создатель, намалевав черным брови и ресницы, израсходовал всю краску, развел остаток, истратил его на серые глаза, а когда не осталось уже и капельки краски, просто позабыл про это ничтожное существо.

Но ребенка не интересует собственная внешность, девочка, сглатывая слюну, охотно отказывается от кусочка сахара, лишь бы положить его на подоконник — она приманивает аиста; аист не устоит перед лакомством, прилетит, замашет крыльями, постучит клювом в окно и положит в наши объятия мальчика, завернутого в одеяльце, перевязанное голубой лентой. Моя мама уже однажды ожидала аиста, но, наверное, скудно сыпала корм, и вместо аиста явилась ворона и опустила прямо в печную трубу меня, потому-то я такая грязнуля. Теперь я поджидаю аиста, чтобы опять не вышло ошибки.

Коленки у меня совсем онемели, я плотнее прижимаю нос к стеклу и напряженно всматриваюсь в серый день, я жду, когда же наконец тоскливое небо прорежет вспышка ослепительно белых крыльев.

Вот наконец, колыхаясь, проплывает шелковистая, легкая пушинка, затем вторая, затем еще одна, прилипают к стеклу, они, конечно же, выпали из крыльев птицы, и я оглядываюсь на маму.

Мама меня не замечает, сидит, обессиленно уронив

руки, и вслушивается в то, что в ней происходит. Глаза у нее широко открыты, но я знаю: меня она не видит.

Зимой у нас тоже постоянно проветривают, я легко приотворяю окно и вылезаю на улицу. Ловлю белую пушистую звездочку, она оставляет на ладони холодный влажный след, и кажется, будто меня лизнула крохотная собачонка. Я раскрываю рот, высовываю язык, ожидая сладости, но у снежинок, увы, вкус воды! Они садятся мне на нос, на губы, на волосы, их все больше, они кружатся и кружатся и наконец завлекают меня в свой хоровод.

Я кружусь вместе с ними, руки мои превращаются в крылья, в белые-пребелые крылья, я сама—аист, я держу в клюве мальчика, младенца в одеяльце с голубой лентой.

Из снегового вихря выныривает Франтишек, мой неразлучный друг. Я не спрашиваю, как он тут оказался, мне кажется, что он был всегда и что мы с незапамятных времен танцуем вместе среди снежного пуха.

Франтишек такой же заморыш, как и я, и забота у него та же, что у меня, он тоже сыплет за окно крошки и даже бросает целые куски жира: его папа — мясник. Только Франтишек зазывает не аиста, а ворону, и наши мамы опасаются, как бы аист с вороной не перепутали окна.

Франтишек — молчун, он всегда молчит и беспрекословно подчиняется мне, наши мамы благосклонно относятся к этой тихой дружбе. Их устраивают наши странные игры. Мы неподвижно стоим друг против друга на одной ножке и в два голоса распеваем: «играй, играй, играюшки», «стирай, стирай, стираюшки», «вари, вари, наваривай» или «купи, купи покупочки». Это означает, что мы играем, стираем, стряпаем, покупаем; дальше наша фантазия не идет.

Нас обычно кормит его мама или моя, мы неохотно, без аппетита едим из одной мисочки и, когда взрослые не смотрят, выбрасываем еду через плечо. Иногда мы от скуки сдабриваем еду, посыпаем ее песком («сахар, сахар, сахарок») или толченым кирпичом («корица, корица, коричка»).

Но сейчас мы, зажмурив глаза — снежинки холодят веки,— ждем аиста или ворону, а так как им неохота летать в метель, мы сами начинаем махать крыльями.

Крылья у меня вдруг опускаются, я краснею под упорным, презрительным взглядом чьих-то глаз.

Франтишек мне нравится, но Пепика я люблю, восхищаюсь им, я пойду за ним хоть на край света, стоит ему только поманить меня пальчиком. У Пепика почти никогда не сходит с лица язвительная ухмылка. Франтишека он просто-напросто не замечает, но со мной суроволасков. Фантазия у него буйная, чего он только не придумает! Это вам не какие-нибудь дурацкие «играй, играй, играюшки!».

Вот он подсаживает меня на ограду городского сада, держит за руку, а я, дрожа от страха, что свалюсь ему на голову, все-таки мужественно перешагиваю через выбоины в кирпичной ограде. Он тащит меня к самым городским конюшням и качает на оглоблях брошенных телег, я умираю от страху и кричу от радости; он набирает для меня самой сладкой шелковицы и ехидно уверяет, что это, мол, гусеницы; я ору от ужаса, когда он сует мне за шиворот жуков; затаив дыхание, гляжу, как он бросает в канализационную решетку то мою пуговку, то шнурок от ботинок, то совочек или ключ, и радуюсь каждому всплеску. А до чего же здорово Пепик разрезает своим ножиком червяка надвое!

Словом, Пепик окружен тайной, на въедливые расспросы взрослых он лишь пожимает плечами и снисходительно усмехается. Но мне иногда доверительно сообщает, что к ним ночью опять нагрянули легавые. Я страшно завидую, что он их нисколечко не боится. И мне тоже охота поглядеть на них, на этих диковинных, косматых зверей с длинными мордами, хотя Пепику тогда придется крепко держать меня за руку, иначе я совсем перетрушу. Сам-то Пепик не трусит, он лишь ухмыляется, хохочет, его мама тоже постоянно смеется, все в ней смеется: румяные щеки, пестрый передничек, круглые плечи. Как весело выглядит их чисто выскобленный стол, начищенный до блеска цоколь печки, сверкающие окна и чистый пол, посыпанный песком.

Я слыхала, будто у них прячутся какие-то злодеи, но точно не знаю, что такое «злодей». Я никогда ничего не спрашиваю, и о некоторых вещах у меня свои собственные представления. Наверное, злодей — это маленький игривый зверек вроде кролика с веселой мордочкой, а легавые, несомненно, огромные псы, что понапрасну здесь рыщут.

Мама не запрещает мне дружить с Пепиком, но и не

слишком радуется нашей дружбе, она сваливает на Пепика каждый мой синяк, каждую дырку на юбчонке, разбитую коленку или внезапный приступ рева.

«Она сдрейфила» или «она грохнулась», «она расквасила нос», «у нее слетела лента в канал»,— объясняет Пепик со своей обычной усмешкой, и никому никогда не узнать, какова доля его участия в моих бедах. Видимо, этого не знаю и я сама.

И все-таки однажды, один-единственный раз, мне удалось увидеть, каков он на самом деле. В его глазах исчезла насмешка, на смену ей пришли удивление, а потом страх, ужас и даже страдание. Все началось как обычно, он потащил меня на пригорок к конюшням. Мороз притушил едкую вонь, и яркое солнце играло на оковке оглоблей.

«Попробуй лизни»,— сказал Пепик, и я прижалась к металлу кончиком языка. Ощутив необычный, еще не изведанный ранее вкус, я спокойно наблюдала за Пепиком, а он побледнел, крикнул «дура» и кинулся меня отдирать. Это было трудно, холодный металл превратился в соль, я отплевывалась, покрывая снег алыми цветами, и наслаждалась искаженным горем и болью лицом моего друга.

Несколько капель моей крови стоили того, чтобы обнаружить то, чего не знали другие,— чувствительную, нежную душу Пепика, она была передо мной, как червяк, извивающийся на ладони, и я чувствовала себя легкой и счастливой.

Это происшествие осталось нашей тайной, прекрасной и чуть-чуть обременительной. Но все это произошло двумя годами позже, а пока еще Пепик с превосходством поглядывает на нас.

— Что это вы тут размахались, мелюзга?

— Я караулю аиста, а Франтишек ворону. Чтоб они не перепутали.

Пепик ехидно ухмыляется.

— Подумаешь, велика беда, ну так ваши мамы потом обменяются, всего и делов!

Мне становится легче. Сколько времени я сторожила, изводилась, а все, оказывается, так просто. Будет у мамы мальчик, которого она так ждет. Не пойму, зачем он ей понадобился, впрочем, я не понимаю еще очень многого. Я уже знаю, что меня подбросила ворона, мама собиралась было вернуть, да поди поймай ворону в небе! «Какой

это был ужас, — рассказывает мама, а я, спрятавшись под стол, тайком слушаю ее рассказ,— принесли, гляжу — точная копия свекрухи, ну просто портрет, я чуть не грохнулась».

Не знаю, что такое свекруха, но понимаю, это нечто жуткое, страшнее собаки из молочной, страшнее, чем крыса, и даже страшнее деда с мешком! И я ужасно рада, что ворону не поймали и меня оставили, за это я должна быть благодарна папе: папа хотел дочку, до того хотел дочку, что даже дал ей свои глаза.

Теперь у меня папины глаза и я папина дочка. А у мамы никого нет, да к тому же она больна и никак не дождется аиста и все время прихварывает.

— Опять меня наизнанку выворачивает,— жалуется она по сто раз на дню и выбегает из комнаты.

Меня это ничуть не тревожит. По-моему, это скорее смешно. Достаточно маме войти в мясную лавку и увидать подвешенные на крюках мясные туши, как она тоже выскакивает на улицу и тут же наклоняется над канализационной решеткой. Папа Франтишека терпеливо выносит ей на улицу куски свиной грудинки, говяжью лопатку или ребрышко.

— Сколько, сударыня? Четверть фунта? Полфунта? С довеском? Без довеска?

Мама кивает или просто вертит головой, мясник заворачивает мясо в газету и засовывает в нашу сумку. И чудесные запахи бакалейной лавчонки мама тоже не переносит, все покупки делаю я, а мне нет еще трех лет, я прошу один пакет муки, один — манки, сала, один маринованный огурец.

Лавочница меня знает (здесь все друг друга знают) и умеет точно определить нужное количество, долги записывает на дверном косяке, деньги мне мама не доверяет.

Но сейчас идет густой и холодный снег, ветер кружит пушистые снежинки, и я кружусь вместе с ними, вместе с Франтишеком. И мы поем «снежок, снежочек, снежочочек», а Пепик презрительно наблюдает за нами.

— Немедленно домой!— кричит мама.— Противная девчонка, и как только она ухитряется выбираться на улицу?!

Это ужасно. Земля сразу становится тусклой и печальной, с неба падают почерневшие птичьи перышки, над нами роятся черные мухи, летает вороний пух.

Франтишек мчится домой, Пепик остается.

— Она башмак посеяла.

Пепик вызывающе щерится, а мама, не говоря ни слова, тащит меня к дверям. Босая нога зябнет.

— Все будет сказано отцу! И не воображай, что Дед Мороз тебе что-нибудь принесет!

Меня это не слишком огорчает. Мама усаживает меня перед печкой. В дверце проделаны три круглых отверстия, за ними прячется огонь. Он живой и ужасно красивый. Он появляется и снова исчезает, подмигивает и шепчет, что хочет ко мне, хочет выйти, но его заперли и не выпускают.

Я осторожно, боясь загреметь, открываю дверцу, язычки пламени весело пляшут, и мне кажется, будто я заглядываю в другой, запретный мир, совсем иной, чем наше крохотное, наглухо замкнутое пространство.

Удивительное дело, но в моих воспоминаниях оба мира строго разграничены: наш маленький дом мне видится черно-белым, лишь оттенки бывают то темнее, то светлее, большой же мир пылает фосфоресцирующими, яркими красками.

Язычки исчезли, рассыпался раскаленный уголек.

— Ты что это вытворяешь!— кричит мама.— Немедленно закрой!

Я послушно запираю огонь, мне жалко его, после него остался едкий запах, этот запах нравится мне почти так же, как острый запах лошадей. Я осторожненько лезу за сундучок, нахожу тонкую лучину, она свободно пролезает в дырочку до самого огня, огонек хватает ее, я тащу его из печки, он вспыхивает и угасает. Вьется дымок, как от папиной сигареты, дерево обугливается, я дотрагиваюсь до него и отдергиваю палец, даже не вскрикнув.

— Что я тебе сказала? Что сказала, а? Ты что, не слышишь? Эта дубина стоеросовая, наверное, оглохла! Уж лучше ступай на улицу!

Мама одевает меня. Натягивает на трико чулки, завязывает бантиком шнурки ботинок, а бантик еще узлом, сверху — папин свитер из «американской помощи», подпоясывает его шнуром (свитер мне до пят), на голову — платок, концы туго затягивает сзади на шее. Я задыхаюсь, рот закрыт платком, чтобы я не наглоталась холодного воздуха, но я все переделаю по-своему, как только мама перестанет меня видеть.

На этот раз я выхожу через дверь, и делаю это с превеликим удовольствием.

А я и не знала, что феи, оказывается, щедро одарили меня при рождении: мне интересно все и вся, я просто не умею скучать — это ли не великий дар? Я никогда не скучаю — ни наедине с собой, ни с детьми, ни между взрослыми. С хмурым лицом, но довольная в душе, я выхожу на холод. На стене еще держится белая россыпь, ветер подхватывает пригоршню снежной крупки, она взлетает и, покружившись, опускается на землю. Снежинки стали твердыми, словно кулачки, и бьют меня по лицу, приятно покалывая. Над каналом полощется пелена пара, мне хочется схватить ее, но она призрачно растекается между пальцами. Дерево тутовника, стремясь дотянуться до неба, вздымает вверх ветви. А небо опустилось над нами, печальное, серое, и сыплет снежную пыль, словно старенькое мамино сито.

Я сторонюсь. Лошади тащат в гору пустой воз. Они прекрасны, эти лошади, их теплое дыхание замерзает на ветру и оседает на мордах бисером, лошади идут не торопясь, мне нравятся их сильные ноги с густой бахромой над копытами, подковы выбивают искры, и серый день становится светлее.

Я бегу следом, вот я уже рядом, лошади красивой медовой масти, у них каштановые глаза, обрамленные светлыми ресницами. У одной на лбу звездочка, лошадь заколдована: назови я ее по имени, лошадка, конечно, ответила бы мне человеческим голосом.

Но я робею. Не найти мне нужного слова для этого заколдованного принца. Будь у меня сахар или кусочек хлеба, я ощутила бы на ладони нежное и мягкое прикосновение лошадиных губ и замерла от сладкого ужаса.

Заколдованный конь потерял на ходу несколько яблочек, пахну́ло сытным, свежим запахом. И вот уже тут как тут воробышки, они прилетели, всполошив воздух, радостно скачут и усердно клюют. Мне очень хочется поклевать вместе с ними, так хочется! Но у меня нет клюва, нет крыльев, а, впрочем, скакать-то я могу: прыг-скок, прыг-скок!

И синичка прилетела, вертит черной головкой, хотя такое угощение не слишком-то ее привлекает.

Синичка отлетела в сторону. Ну погоди, я с тобой сейчас сочтусь. Сколько подзатыльников, сколько пощечин получила я из-за этого пушистого комочка, нацелившегося в меня злорадным глазом.

Каждое утро мама достает из-за окна кувшин с молоком, выставленный туда на ночь, и сразу же начинается крик:

— Ну вот, пожалуйста, опять нет пенки! Опять эта девчонка ее съела.

— Я не ела.

— Так куда же она делась?

— Не знаю.

— Признайся по крайней мере. Съела?

— Не ела.

— Значит, пенку съела я? Или папа?

Я молчу.

— Ты ее съела!

— Не ела.

— Врунья, лгунишка! От горшка два вершка, а уже врет!

Я молчу. Защищаюсь лишь неопределенной улыбкой. До сих пор не пойму, почему именно эта усмешка, единственная моя оборона, распаляет маму до белого каления. И шлепок следует за шлепком. Я не реву, только мрачно гляжу исподлобья.

Но в одно прекрасное утро мама застает с поличным синицу. И с изумлением наблюдает, как маленькая птичка лакомится нашим молоком. Тут мама начинает рассказывать всем и каждому о комичном недоразумении, только про оплеухи ни звука. Их ведь обратно не заберешь.

Я с неприязнью наблюдаю за синичкой, но в конце концов ее живое очарование примиряет меня с ней, такая она яркая и такая миленькая, звенит звонким своим голоском, распушив перышки, и я ей все прощаю.

Улетела! Вот досада-то, что она не может дать мне свои крылья.

Ну и пускай, крылья есть во мне самой, они порой расправляются и уносят меня ввысь. Стоит мне увидеть маргаритку или солнышко одуванчика, божью коровку или стайку воробьев над конскими яблоками, пляшущие в подкравшемся луче солнца пылинки, как я сразу ощущаю в себе свежесть травы, хлопанье крыльев и неожиданную легкость. Вот оно, счастье!

Лошади исчезли в конюшне, воробьи прилежно клюют, а я скачу дальше, на минуту мое внимание привлекает какой-то пустячок, затем я долго стою перед окном

мелочной лавки. При виде жестянки с леденцами мой рот наполняется сладко-кислой слюной; двери распахиваются, и на меня обрушивается причудливая смесь запахов: керосин и селедка, орехи и квашеная капуста.

Я шагаю дальше, у трактира под каштанами никто не сидит, коричневатые листья припорошены снежком, я нахожу мокрый каштан и зажимаю его в кулаке: будь я мальчишкой, у меня, конечно, были бы карманы, да и ножик. До чего же плохо быть девчонкой!

То и дело встречаю соседей. Когда мама идет рядом, она незаметно подталкивает меня — «поздоровайся, вежливо поклонись, ну, быстрее, здоровайся».

Принуждение душит во мне все доброе. Я бы и рада сделать по-маминому, да что-то сидящее глубоко во мне мешает послушаться.

Зато, когда я одна, я выкрикиваю приветствие издали. Мне известна целая куча приветствий: покойной ночи, с добрым утром, добрый день, низко кланяюсь, приветик, салют и еще — слуга покорный, наше вам и наше вам с кисточкой, как ваше — ничего? Я выпаливаю первое, что подвернется на язык, мне нравится, что люди смеются, больше всего на свете я люблю смех.

А теперь придется отступить, обойти, сделать огромный крюк, чтобы миновать вторую мясную лавку, я жмусь к стенам домов, что на другой стороне улицы. Два сенбернара, которых мама называет собаками молочника, хотя тележку они таскают вовсе не молочника, а мясника, лежат у порога и глядят на меня, да, именно на меня, укоризненным взглядом. Я знаю, они могут слизнуть меня своими розовыми языками, проглотить за милую душу или же, как муху, просто пришлепнуть лапой. И мне становится ясно как божий день, что это они возят днем мясо, лакают из миски и дремлют возле лавки, а ночью вынюхивают, что делается у Пепиковой мамы. Это они и есть легавые, они косматые до невозможности, так что шерсть висит на них клочьями.

Я благополучно обошла их стороной, не потерпев ни малейшего ущерба. Холм кончается, и здесь уже граница, которую я себе установила мысленно, так что за Штрозок я уже идти не отваживаюсь.

И около трактира «На тюфяке» тоже нет никого, лишь с десяток перевернутых вверх ножками стульев тоскливо укрылись под навесом. Мне становится грустно. Я стою и

жду: может, все-таки раздастся веселый крик, и выйдут, построившись в шеренгу, мясники в клетчатых куртках и белоснежных фартуках, блеснут на солнце острия их топоров, а умытые трубочисты в черных костюмах наденут белые свои шапки, грянет оркестр, и над рахат-лукумом зажужжат осы. Стою и жду, жду музыки, ярких красок, дружного веселья и аиста, главное, жду аиста. Он принесет братца, и тогда исчезнет печаль, и холод перестанет щипать мне руки, мама не станет больше смотреть отсутствующим взглядом, и она тоже начнет смеяться, всегда будет только смеяться и смеяться.

— Ну что, есть уже у вас братец?

— Нет.

— А за окно корм сыплешь?

— Ага.

Смех.

— А что сказал маме пан доктор?

Я хорошо помню, что он сказал, я поднимаюсь на цыпочки, откидываю назад голову и всплескиваю руками: «Мамаша, бедняжка, до чего же вы худенькая».

Смех.

Как я люблю, когда взрослые смеются. Я еще не могу догадаться, что они смеются надо мной. Да это, в общем-то, неважно, я бы в лепешку расшиблась, лишь бы вызвать смех на этих каменных лицах.

Я больше люблю общество взрослых, чем детей, взрослые интереснее. И мне так нравится забиться куда-нибудь в темный уголок или под стол и тихонько слушать, о чем они говорят. Я им нравлюсь: не вмешиваюсь в чужие разговоры, никогда ни о чем не спрашиваю. Очаровательное и пугающее словечко «почему» никогда не срывается с моих уст. Мама расстраивается: ей кажется, что я недоразвитый ребенок, но я не испытываю необходимости расспрашивать, ведь я все знаю сама.

Что из того, что мой маленький мир отличается от мира взрослых, это — мой мир, и никого я туда не впущу.

Я плетусь домой. Затаив в глубине души улыбку.

— Ты где это скиталась, бродяжка?

Из всех больших людей самый большой мой папа. Его сила меня чуточку подавляет, но и придает мне уверенности. Я хочу кинуться ему навстречу, но ноги не идут, а по спине бегают мурашки. Я знаю, что сейчас он подбросит меня вверх и прижмет меня щекой к своему колю-

чему подбородку. Я радуюсь этой минуте и замираю от страха, я безумно боюсь высоты, но ни за что на свете не покажу этого, и, хотя грубое прикосновение мне неприятно, оно вместе с тем меня радует.

Папа ставит меня на землю, моя ручонка проскальзывает в его теплую ладонь, и если он в хорошем настроении, то дает мне свою палку. Я важно вышагиваю рядом с ним и заметно припадаю на ногу: мне бесконечно нравится папина походка.

Однажды мама случайно поставила рядом папины башмаки с моими ботиночками и разразилась смехом. И тут же созвала соседок: «Идите, поглядите, вы такое когда-нибудь видали в жизни? Ведь эти двое совершенно одинаково сбивают каблуки!»

Когда мама вот так покатывается со смеху, я люблю ее больше всех на свете. Но сейчас, вечером, ей, очевидно, не до смеха.

— Ты почему сидишь в темноте?

— А что, уже поздно?

Мама поднимается и тщетно шарит в поисках спичек, папа достает свою собственную коробочку, зажигает спичку и тут же предусмотрительно убирает коробок: он выкручивает фитиль, переносит огонек и прячет его под стекло, под опаловый абажур,— из лампы струится белый свет, он вырывает из темноты нежное, фарфоровое мамино лицо и растекается по огненной короне ее волос.

— И печка погасла.

Мама нервным движением разгребает угли, подбрасывает в печку несколько поленьев и поспешно ставит на плиту кастрюли. Папа раздевается и вешает свое тяжелое пальто, которое называют шинель. Наша квартира состоит из одной комнаты, «цымры»[1]. Она кажется мне огромной, свет не достигает углов. В ней два крохотных низеньких окошка, под одним стоит деревянный сундук с крышкой. В сундуке сокрыто мамимо приданое: немного белья, несколько книжек и тетрадок со стихами, папки с картинками, вырезанными из журналов. По этим картинкам я познакомилась со знаменитыми произведениями славных художников.

У второго окна белый стол, покрытый клеенкой — викслайвантом, как на немецкий манер называет ее мама, —

[1] Искаженное нем. Zimmer — комната. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

с розами, что свидетельствует о небывалой роскоши: у наших соседей стоят лишь некрашеные столы, которые скоблят, как пол. Ящик мне строго-настрого запрещено открывать, именно поэтому я отлично знаю, что там лежат фотографии, таинственная коробка с турком на крышке, а в ней все сокровища мира: пуговицы, кнопки, булавки, иголки и странные большие монеты на цветных лентах. Лишь много позже я узна́ю, что папа их выкинул, а мама спрятала. Среди военных наград есть и Георгиевский крест.

К столу подвинуто два белых стула и два коричневых, с плетеными сиденьями. У мамы с папой одна кровать на двоих, а у меня другая, маленькая, и в достаточной степени унижающая мое достоинство,— она с двух сторон затянута сеткой, и я не могу выбраться из нее без посторонней помощи. Изголовья кроватей выкрашены темной краской. Я незаметно соскребаю ее ногтем, потому что под неравномерным слоем краски мне мерещатся какие-то тени. Со временем мне удается вызволить на свет божий пухлую детскую ручку и кусочек крылышка. Самая большая мамина гордость, а для меня запретная территория — это буфет. В нижней части хранится посуда, на верхней доске — застекленные полки на ножках. Когда мимо проходит папа, стекло звенит. На полке между верхом и низом поблескивают весы и ступка, каждую неделю мама начищает их мелом. В углу — умывальник и жестяное ведро, за водой мы ходим на улицу.

Родители купили мебель старую, но еще хорошо сохранившуюся — тут им явно помог счастливый случай. Папа был первым легионером, который после долгих мытарств и тяжелого ранения, после войны и плена вернулся в освобожденную республику. Это было 11 ноября 1918 года, к седьмому декабря он уже успел жениться. Инвалида в потрепанном австрийском мундире и худенькую девушку в костюмчике, перешитом из мужской одежды, благословлял на совместную жизнь канцлер президента республики —он преподнес им в качестве свадебного подарка четыре тысячи крон. Их изъяли из гербового сбора после тогдашней денежной реформы. По сей день сохранилась синяя тетрадка, на одной странице которой имеется рубрика: «Семейные расходы», а под ней «Расходы на хозяйство», «Различные траты»: «Занавески—72. баночки для пряностей — 40, картинки — 37, тазы — 33, буфет—300»—и так далее и так далее. На другой страни-

це рубрика «Личные расходы», но есть только заголовок, так сказать благое намерение, а записи не сделано ни одной. Да и какие могли быть у мамы личные расходы! Разве что маринованный огурец, и то половинка, вторую она оставляла для соуса.

Мы сидим с папой и мамой у стола, ужинаем; едим хлеб и запиваем забеленным кофе — так ужинают и все наши соседи. Но в отличие от них у нас тепло: папе дают уголь — он работает на железной дороге. Днем соседки ходят к нам погреться, но вечером, когда глава семьи дома, не отваживаются.

— Ну, дочка, повесила свой чулок за окошко?

— Все равно Дед Мороз ей ничего не принесет.

— Может, дать тебе мой носок? Он побольше.

— Да-а, он у тебя рваный.

Папа с мамой смеются.

Носок мама заштопает. Ведь у папы всего одна пара воскресных носков. На работу он ходит в портянках из белого полотна.

Я вешаю чулки за окно. На дворе мглистая темень.

Утром я просыпаюсь в незнакомой комнате. Не реву. Наверное, мне еще снится сон, я гляжу на гладкий и какой-то слишком высокий потолок, медленно перевожу взгляд ниже, озираюсь вокруг. Я лежу совсем одна на широченной двуспальной кровати и вдыхаю аромат кофе, слышу тюканье незнакомой птички. И тут меня заливает блаженная радость — я вижу милую улыбку склонившейся надо мной тети Марженки. Какое у нее удивительное лицо, прекрасное, обаятельное, вся она теплая и женственная, захочет, станет такой же маленькой, как и я, захочет, и округлит острые углы, преодолеет все пропасти, превратит холод в прохладу, а жару в приятное тепло.

— Знаешь, что тебе принес Дед Мороз?

— Конфеты?

— Да нет же, братца.

Ага, значит, никакой не аист, а Дед Мороз.

— В чулок засунул?

И мы вместе хохочем. Но теперь мне не до смеха: у стола в кухне сидит какое-то странное существо, старуха, наверное колдунья. Она устремляет на меня твердый, холодный взгляд, ее глаза перекатываются, словно камушки под водой, усталые руки дремлют на коленях.

Через несколько дней она умерла, и я, вероятно почувствовав в ней дыхание иного мира, сжалась тогда от ужаса в комочек.

Но над старухой в клетке скачет желтая пташка, наверняка это колдунья заперла ее там, такой птички я еще в жизни не видала, птичка тренькает и раскидывает вокруг зернышки. Я перевожу взгляд с колдуньи на канарейку, и к чувству радости примешивается страх. Тетя держит меня за руку, и потому я не слишком трушу, страхи усугубляют радость, а радость просветляет страх.

Кроме того, я в тот памятный день познакомилась еще с одим чудом — с лестницей: она заворожила меня, я стою на общей галерее и отваживаюсь преодолеть сначала лишь одну ступеньку, затем вторую и третью. Лестница притягивает меня к себе, ступеньки ведут и вверх, и вниз. Вдруг откуда ни возьмись появляется мальчик в голубом костюмчике и кидает мне большой красный мяч. Я тяну к нему руки.

Когда мы позже с тетей Марженкой разобрались в этом воспоминании, то выяснили, что все было не совсем так. Я могла точно описать, где стоял стол, где сидела тетина свекровь, где висела клетка с канарейкой. Но в доме никогда не жил мальчик в голубом костюмчике, я стояла на лестнице одна, и никто не бросал мне красного мяча.

Это было лишь воплощением моей мечты о братце, тогда на галерее я придумала его: возможно, увидав голубое небо, я сшила из него костюмчик, возможно, на минуту показалось зимнее солнце, и я превратила его в красный мяч.

ОДНА СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Чулок меня не разочаровал, хотя сверху, как и положено, были засунуты несколько кусков угля и головка лука. Но под ними алели яблоки, и я нащупала корявую скорлупу орехов и кулечек с конфетами. Зато братец разочаровал меня: видно, Дед Мороз сплоховал. Эдакий сморщенный комочек. Аист наверняка выбрал бы мальчика получше.

Мама лежит в постели, возле нее ревущее существо, одеяльце белое, аккуратно выглаженное, свивальник пе-

рехвачен голубой лентой, но из одеяльца торчит красная, тыквочкой голова, покрытая мокрым пухом, вместо глаз— два уголька, зубов вообще нету. Голодный рот раскрылся до ушей и впился в маму.

Да и моя ли это мама? Ведь она на меня даже не глядит. А тетя предает меня и, склонившись над свертком, рассыпается в восторгах:

— Какой хорошенький! Крепенький, как орешек! А глазки почему черные? Ведь у всех детей сначала голубые!

— Наверное, в мать.

Приходят соседки. Одна тащит горшок супа, другая— кусок пирога, третья — кастрюльку. Пани Лойзка, пани Тукоя (так я называла ее, еще по-детски картавя), пани Конвалинкова... Вот и все жилицы нашего дома. Госпожа докторша из соседней виллы тоже заходит, приносит кусок торта, с ней разряженная Марушка, настоящая принцесса, по глубокому моему убеждению.

— Какая жалость, что вы заболели, ведь Дед Мороз принес вам ребеночка, — жалостливо щебечет Марушка и чистым своим пальчиком дотрагивается до пуха на нескладной головке тыквочкой.

Все по непонятной мне причине смеются. Мне кажется, что меня вовсе нет на свете, ведь меня никто даже не замечает. В нашей комнате всегда сумерки, даже если на дворе солнечный день, а сейчас, в декабре, сырая мгла лезет изо всех углов, она поглотила наш маленький мир, оставив лишь сияющее пятно маминого лица, запрокинутого на белоснежные подушки. Мне хочется приблизиться к этому свету, но он холоден и обращен не на меня, я медленно забираюсь под стол, там, в этом укрытии, я проведу еще много-много дней.

Я сворачиваюсь в клубочек, нащупываю свое собственное сердце, оно бьется, как птичка, оно теплое, и я уже не одна. Другой рукой я глажу себя по волосам, нет, это я дотрагиваюсь до шерсти маленькой кошки, и вот я уже бродячий котенок, я жадно подставляю свою голову под ласковую ладонь.

«Боже, ну и крепыш!»

«Пошли ему, господи, здоровья!»

«Вы только поглядите, что за глазки!»

«А носишко, а пальчики!»

«Какой он розовенький!»

Никто не спохватывается, где я. А я их люблю, кого-то просто люблю, а кого-то еще крепче. Больше всех я люблю пани Тукою; она, как и многие вдовы, ходит после войны в темном платье и в темном платке. Война унесла мужа и сына и оставила ей двух на редкость крупных и толстых дочек. Мне это кажется странным, даже чуточку неприличным — такая маленькая мама и вдруг такие огромные бабищи дочки, не могу себе даже представить, как она могла носить их на руках и возить в коляске.

Божена и Мария меня балуют, я пробуждаю в них материнский инстинкт, они то и дело прижимают меня к своей необъятной груди. Моя мама хрупкая, нежная, тоненькая, поэтому я теряюсь от этого незнакомого мне изобилия тела, а так как никогда ни о чем не спрашиваю, то самоуверенно объявляю: «У тебя за пазухой колбаса!»

Девушки хохочут и передают мою остроту соседям, я рада, что хоть кто-то меня заметил. Мне нравится их странный дом, он прилепился к скале. На кухню свет падает с улицы, а комната совсем темная. Окно раскрывается внутрь, а за ним — мокрый кособокий камень. Окно это, которое открывается в никуда, в детстве завораживало меня, я сижу тихонько и жду, пока кто-нибудь повернет ручку, распахнет створку с подслеповатыми стеклами и разверзнется влажный, холодный конец света.

Конечно же, это конец света, я точно знаю, это конец света, конец моего мира. В камне есть что-то зловещее и жуткое, я мечтаю потрогать его, но не могу решиться. Мне кажется, будто конец света укусит меня за палец или неслышно всосет в себя, я держусь за раму и на меня зловонно дышит конец света, обдает мокрой слюной, я пугаюсь и мчусь прочь. Спотыкаюсь о глиняный пузатый горшок, в котором топят сало, черепок впивается мне в переносицу, мир окрашивается кровью. Но он по крайней мере существует, мир не погиб, я избежала мокрых щупалец, я жива. Жива!

— Господи Иисусе, — вздыхает мама, — и так физия дальше некуда, и еще шрам!

Шрам растет вместе со мной и заботит маму значительно больше, чем меня. Но к пани Тукое я стала ходить теперь реже, наверное, мешает страх—я то ли боюсь окна, которое открывается в никуда, то ли мне не хватает смеха сестер: они уехали, вышли замуж.

У Конвалинковых была красивая дочка, с длинными косами, она возила меня в коляске, играла со мной. Однажды она привела меня к себе домой и оставила одну на балконе. Меня очаровала балконная решетка, я просунула между прутьями руки и замахала тем, кто был внизу, потом увидала Пепика и мне захотелось к нему, я просунула голову и оказалась в ловушке, голова не лезла ни взад ни вперед, виски больно сжимало, я орала так, что балкон дрожал.

Сбежались женщины, кто пытался раздвинуть прутья, кто искал пилку, и все вместе они суетились, причитали, одна тащила меня назад, другая толкала вперед: они совсем растерялись, так дико я вопила.

Вдруг откуда-то вынырнул незнакомый мужчина, поднялся наверх, ловко протолкнул меня через решетку и, подняв над перилами, поставил обратно на балкон. «Там, где проходит голова, должно пройти и все тело», — презрительно бросил он и исчез прежде, чем мама успела его поблагодарить. Никто его не знал. Только я знала, что он явился сюда прямо из сказки, чтобы спасти мою несчастную, многострадальную голову.

— Ты его когда-нибудь видел? — допытывались женщины у Пепика.

— Не-а.

Он дерзко смотрел им в глаза, а сам ухмылялся на свой обычный манер. Ну а на меня с тех пор каждая решетка нагоняет страх, и даже во сне мучит жуткое воспоминание. Голова моя застряла в тесном ущелье, предо мной раскинулся прекрасный яркий мир, но ходу туда мне нет...

Красивая девушка с косами вскоре расхворалась, лихорадка сожрала ее косы и ее смех. Она молча проходила рядом со мной, но взгляд ее скользил мимо. Ее окружала какая-то таинственная печаль. Я плелась за ней следом на почтительном расстоянии, а она, вся застывшая, шла впереди. Я хорошо знала, где она повернет назад. Еще раз взглянув в ее бледное лицо, я бегом пускалась прочь.

Ее тайну я услышала, сидя под столом, и истолковала ее по-своему. Я поняла, что какому-то студенту приглянулись ее косы, мне они тоже очень нравились, но было странно, почему она отвергала того, кто ее любит. Студент якобы пригрозил, что застрелится, а она посмеялась

и протянула ему рогалик: «Нате стреляйтесь». «Но только он взаправду застрелился, — рассказывала пани Лойзка, — хлоп себе прямо в самое сердце, а она теперь мается, совесть ее заела, загрызла, от жалости она чуть ума не решилась, знай кричит: «Я ему рогалик дала, нате стреляйтесь». Откуда ей, глупой девчонке, знать, что он всерьез?»

Я закрываю глаза и вижу того юношу, который из рогалика бабахнул себе прямо в сердце, мне жалко, что все его осуждают и что сторонятся бледной, несчастной девушки.

Рогалики в лавке повергают меня в ужас, и никто не в силах заставить меня съесть даже кусочек, мама сердится и рассказывает: вспоминает, как была она счастлива, когда однажды на ярмарке ей дали половинку рогалика. Я покорно беру в руки опасный предмет и, ужасаясь предстоящих событий, осторожно грызу корочку.

Самая интересная из наших соседок — пани Лойзка. Все вокруг утверждают, что язык у нее как помело, что она горластая до невозможности, но мама за нее заступается.

— Она по крайней мере искренняя и говорит в глаза, что думает.

И это правда. У пани Лойзки своих детей нет, и она об этом не жалеет: мы все для нее просто чертенята паршивые. Я ее люблю, я-то знаю, что ее громы и молнии не страшны — громыхнут и исчезнут. И выглядит она совсем иначе, чем наши мамы: волосы у нее черные как смоль, глаза тоже яркие, черные, а кожа смуглая. Пани Лойзка тощая и плоская и похожа, пожалуй, больше на мужика, чем на женщину, и ведет себя соответственно своей внешности.

Как относится она к мужу, я так и не смогла понять, по-моему, еще хуже, чем мама ко мне. Приказы сыплются без конца: «ешь... не ешь... вымой руки... заправь рубаху... поправь галстук... что ты вытворяешь с носовым платком... высморкай нос... не горбись... чего опять раскашлялся» — и так с утра до вечера.

Пан Тврды не обращал на ее слова ровным счетом никакого внимания, знай себе посмеивался в усы, ничто не могло оторвать этого человека от предмета его страсти. Аквариумы, где неспешно колыхались водоросли, заполняли всю его жизнь.

Их квартира тоже прилепилась к каменному обрыву, окна кухни выходили во двор, а в комнате все четыре стены были глухие. Вечную тьму разжижал зеленоватый полумрак, влажный и холодный; обогревали они одних только рыбок.

Пан Тврды воевал на стороне австрийцев, мой папа — на стороне русских, соседу пуля дум-дум разорвала руку, папе — ногу. Папа хромал, но ранение его не беспокоило, соседа лечили чешские врачи, но из раны долго еще выходили осколки костей, он частенько сиживал перед домом, покачивая больную руку, словно младенца.

Когда нам позже в школе рассказывали о братоубийственной войне, о том, что солдаты сражались друг против друга, я пыталась представить себе, как папа и пан Тврды стреляют друг в друга, и все это казалось мне чепухой.

Им, вероятно, тоже. Они отлично ладили и про войну никогда не говорили. Пан Тврды был хороший столяр, но, как только его начинала мучить рука, оставался без работы. Найти новую было не так-то просто. Пани Лойзка никогда не позволяла себе упрекнуть в этом мужа. С утра до поздней ночи она шила рубахи. Денег едва хватало на еду. Когда от холода в нетопленой комнате у нее сводило пальцы и нельзя было больше орудовать иглой, пани Лойзка являлась к нам погреться.

— У нас там как в мертвецкой, — говорила она извиняющимся тоном и раскладывала свое шитье.

Я любила ее посещения, она говорила, не закрывая рта, а я вся превращалась в одно огромное ухо. А муж ее в это время сидел, укутавшись в одеяло, и смотрел; он мог целые дни, целые недели, целые месяцы смотреть, как водяной паук нанизывает на мохнатые лапки серебряные шарики воздуха и запускает их под свой водолазный колокол.

Сосед и не подозревал, до чего я на него похожа, ведь я тоже, к великому маминому неудовольствию, могла целыми часами разглядывать стебелек травы, мушиную лапку, муравьиную тропку.

— На что ты там опять уставилась? — сердилась мама и напрягала зрение.

Но где же ей было приметить блеск слюды в песке, этого ей не понять. А наш сосед понял бы меня, но мы никогда с ним не беседовали. Я была, видимо, слиш-

ком велика для его наблюдений, и он меня не замечал, а ведь я совершила против него великий грех. Однажды он вынес в коридор своих самых драгоценных и в то время редчайших рыбок — скалярий.

— Приглядывай за Павликом, как бы этот чертенок часом не постучал по стеклу, — заклинала меня пани Лойзка. — Мой Тврды с ума спятит, если какая-нибудь из его бестий окачурится.

Я долго смотрела, как рыбки величественно двигаются среди царственных растений, шевеля своими вуалями и тараща блестящие глаза.

...Я стою, словно приросла к полу, рыбки плавают то друг над дружкой, то рядком, они словно танцуют, и вдруг одна направляется прямо ко мне, открывает рот, смотрит вызывающе, и я слышу, как она шепчет на своем безмолвном рыбьем языке: постучишь — не постучишь? Осмелишься — не осмелишься?

Я постучала совсем-совсем легонько. Едва я дотронулась до стекла, рыбки испуганно взметнулись, заколыхались вуали, а я все стучу и стучу, сама не зная почему и зачем. Они и впрямь погибли, эти великолепные рыбки, их вуали свернулись, сморщились, краски пожухли, помутнел перламутр их глаз.

Никто не обвиняет меня, никто не застал меня на месте преступления, но сосед совсем почернел от горя, а пани Лойзка все шьет и шьет: ей нужно наготовить целую гору рубах и купить одну-единственную рыбку, чтобы своими красками она погасила его горе.

Мой братишка подрос и начал бегать; он не дает соседке покоя: то схватит наперсток, то булавку, то скроенный воротник, но охотнее всего он хватает свисающий край рубахи и стаскивает всю груду на пол.

Пани Лойзка кричит, ругается, грозится, что лучше уж будет мерзнуть дома. Она отогревает онемевшие пальцы над горелками, которые окружают аквариум, но через час-другой раскаивается и возвращается к нам. Она шьет и болтает, болтает, я заслушиваюсь, и братишка, ловко обманув меня, тихонько, словно на кошачьих лапках, подползает поближе, дергает скатерть, и пани Лойзка, меча громы и молнии, уходит.

Мама грозит Павлику, а сама не может удержаться от смеха (до чего же резвый, здоровенький мальчуган), но соседка все же должна быть удовлетворена, и мама отве-

шивает мне подзатыльник — присматривай, дескать, за братом. Всю зиму, всю весну, всю осень повторяются, то тихие, то драматические уходы пани Лойзки. Я подозреваю, что ее гонит из квартиры не только холод и зеленоватый мрак, но и живая рыбья пища, мучные червяки, похожие на белые нитки, которых она разводит в коробках из-под манной крупы. Я подозреваю, что она вдевает их в иголку, но убедиться в этом не отваживаюсь.

У нашей соседки есть еще одна особенность: ноги у нее имеют форму перевернутых бутылок, а когда она надавливает голень большим пальцем, то там надолго остается ямка. Соседка утверждает, будто ноги у нее превратились в бутылки оттого, что в детстве она садилась голым задом на лестницу.

Хоть я никак не могу взять в толк, какая тут связь, но я на камень не сяду ни за что на свете.

Пани Лойзка любит вспоминать два своих героических поступка и умеет их преподнести весьма красочно. Одно событие случилось еще до моего появления на свет, пани Лойзка тогда была не замужем. «Помнишь, подружка, какая я в девчонках была? Парни липли ко мне, как мухи к меду. Я ему и говорю: вы, видать, скорее из Дразнилок, чем из Женилок, а он отвечает: ты ведь у нас умница, какая может быть свадьба из-за одного поцелуя? — и тащит меня в подворотню, туда, где потемнее, я ничего, не сопротивляюсь, да и на что? Иду за ним, за нахалом, но, только он ко мне свои лапищи протянул, я как отвешу ему по морде раз справа, раз слева, он чуть стенку головой не прошиб».

Позже этот совратитель стал депутатом, и пани Лойзка чрезвычайно гордилась, когда встречала в газетах его имя. Такие статьи она тщательно собирала и, сияя от гордыни, показывала всем знакомым.

«Энтого депутата я, между протчим, неплохо знаю, я ему весной, в двенадцатом году, в одной подворотне таких оплеух навешала! Можете его самого спросить, коли не верите!»

Второй героический поступок был совершен уже на моей памяти. Наш сосед из-за злосчастной своей руки снова попал в больницу, нужна была операция, чтоб изъять обломки кости. Пани Лойзка осталась одна, и ее экзотические чары завлекли вздыхателя. Днем у него ничего не вышло, тогда он, выпив для храбрости, явился,

когда стемнело, под ее окно. В темном тесном дворике его никто не заметил, низкое окно было приоткрыто, и нахал, даже не потрудившись постучаться, полез прямо в дом. Пани Лойзка проснулась от шума, увидала в окне тень, недолго думая вскочила с постели и что было сил толкнула темную фигуру. Кавалер потерял равновесие и, совсем как в тогдашней кинокомедии, рухнул в помойный ящик. По воле случая помойка была почти пустая, дядька хлопнулся навзничь и застрял, лишь длиннющие ноги торчали наружу.

Второй попытки пани Лойзка ждала уже с кочергой в руке, но незадачливый кавалер покоился в этом, с позволения сказать, гробу, и луна освещала его дырявые подметки.

Кочерга вывалилась у Лойзки из рук, она долго стояла у окна, онемев от жуткого зрелища. В конце концов пани Лойзка постучалась к нам и ворвалась в комнату (мы на ночь двери не запирали), ее взволнованный шепот проник в мой сон.

— Пойдемте скорей, видать, я его насмерть убила, идите поглядите сами, он не шевелится!

Натянув штаны, папа вышел во двор, сначала все было тихо, а потом молчание ночи нарушил хохот. Ухажер преспокойно спал в нелепой позе, он храпел и даже причмокивал, а вокруг благоухали пары рома.

Ранним утром он выбрался из своего убежища и исчез навсегда, честь пани Лойзки и рыбки на окне остались в сохранности.

О ночном происшествии пан Тврды так ничего и не узнал, его жизнь полностью поглотила страсть к аквариуму. Злые языки уверяли, что он так любит рыб, потому что они, мол, немые. Но вместе с тем соседи жалели пани Лойзку: ей, бедняге, тоже не сладко с этим молчуном, который только и знает пялиться на воду и на дурацкую рыбешку, что даже в пищу не годится, и тратит на нее все свои деньги. Да к тому же по вечерам попусту жжет свет, а за свет тоже надо платить, да еще уткнется в журналы и книги.

— Образования, образования ему не хватает, — вздыхала пани Лойзка, — кабы ему да образование!

Однако со временем рыбки полностью себя окупили, пан Тврды научился выводить ценнейшие породы. С этими рыбьими детишками работы стало выше головы: надо

было следить, чтоб они не простыли, чтоб получали нужную пищу и в нужных количествах, чтоб часом не задохнулись, чтоб вода не зацвела, чтоб они не сожрали друг друга. У пани Лойзки в черных, как вороново крыло, волосах стала пробиваться седина. Ее муж чуть не рыдал над каждым рыбьим младенцем. Подозреваю даже, что всех рыбешек он знал в лицо, отличал одну от другой и давал им имена. Продавал он их мало, и лишь в случае необходимости, охотнее же менял на еще более редких.

Пани Лойзка захаживала к нам, когда мы уже переехали в Голешовице, и мы с братишкой всегда радовались ее приходу. Она вела с мамой, если можно так выразиться, дадаистские разговоры, что нам ужасно нравилось.

— Ты ведь Тламишку знаешь? — начинала пани Лойзка.

— Тламишку? Что-то не припомню.

— Господи, да как же так! Как так не припоминаешь-то? Дак они же в том доме жили, если идти от Штрозока, то налево, в сторону. Ее брат еще садовником был.

— Тламиха? Садовник?

— Какой Тламиха, говорю тебе, Земан, она в девках была Земанова.

— А-а, Земанка.

— Ведь я же и говорю, что знаешь.

— Ага, знаю, а что с ней?

— В субботу похоронили.

— Пресвятая дева Мария, да что ты говоришь! Бедная Цилка.

— Какая еще Цилка?

— Да Земанова же.

— А, так ты про Цилку Земанову... С чего бы ей умирать, эта как сыр в масле катается. Я про сноху.

— Чью сноху?

— Да того садовника. У ее мужа табачная лавка, а она гуляет с Бартаком.

— С каким Бартаком?

— С тем, что на железной дороге работает.

— А которая же все-таки умерла?

— Сестра того садовника. Хотя нет, погоди, он ей неродной, она в девках была не Земанова, она была... кажись, она была Фанинка, Фанинка...

— Пехачкова?

— Ага, верно, Пехачкова. Я же говорила, ты ее знаешь.

— Конечно, знаю! Мы же вместе ходили какао пить. У нее мальчишки как наша Ярча.

— Да ну тебя, то Маня. У Фанинки были две девчонки, двойняшки. Ты что, не помнишь, недоношенные, еще ноготков у них не было. Ты разве не видала? В пятнадцатом году она с голоду пухла, вот и не доносила...

— Ах, Лойзка, я тогда еще в Бубенеч не переехала.

— Ага, ага, верно ты говоришь... Хорошо, что у нее детей не было.

— А как сам Тламиха?

— Какой Тламиха? Ты про ее мужа? Так он еще задолго до войны уехал в Америку. Двойняшки у нее от Пулкрабека. Хоть его-то ты знаешь?

— Пулкрабека?

— Ага, того сапожника, который всегда говорил «барышня набойка, господин каблучок»...

Разговор продолжался до бесконечности, и, даже если речь шла о самых печальных вещах, мы так и покатывались со смеху, до того все это казалось нам невозможно смешным.

Пани Лойзка в гости ходила одна.

— Мой Тврды насчет людей не очень-то... — извинялась она за мужа, — а сейчас аккурат еще маленькие павучата вылупились. До чего же интересные! Безмозглый павук, а как о своих детях заботится!

Пан Тврды и в самом деле был не слишком общителен, гулять ходил только в Стромовку или в окрестности Праги, подальше от городского шума. А когда он наконец купил себе фотоаппарат, то стал приносить с прогулок фотографии цветов, лягушек, ящериц, мух и бабочек.

— Вот это — когда мы были в Шарке, — показывала пани Лойзка фотографию жука на камне. — Эта магнолия из Стромовки, эта бабочка из Прокопской долины.

Необычный этот альбом никогда не осквернила фотография человека.

— К чему природу уродовать? — объясняла пани Лойзка. — Вы только поглядите на этот цветок, вот ведь красота, правда? Не то что какие-то дурацкие рожи!

Пан Тврды обладал упорством и терпением истинного ученого, а когда, вдосталь начитавшись книг и научившись правописанию, начал излагать свои наблюдения на

бумаге и рассылать их в научные журналы, никто не поверил, что он простой столяр. На него обратил внимание некий старый профессор и предложил ему работу в Брно.

Это были уже годы кризиса, и пан Тврды с радостью принял место служителя в ботаническом саду. Но одних только знаний мало, если они не подтверждены дипломом. Правда, Тврды не стремился сделать карьеру, ему достаточно было жить среди цветов и водной живности. А пани Лойзке поручили уход за подопытными мышками и кроликами. Супруги были счастливы, время от времени мы получали письма, целиком состоящие из одного огромного предложения: знаков препинания пани Лойзка не признавала.

Дорогие друзья примите сердечные приветы и добрые воспоминания что вы там поделываете Ярка здорова или опять хворает у мужа дела идут хорошо профессор говорит что Тврды знает больше чем его ассистент но только без образования ему некуда податься жаль из него был бы ученый сказал профессор у него молодая жена она тоже занимается ботаникой даже странно что ее такую лапочку говорю я своему так интересует природа до чего же чудно старый профессор и такая молоденькая жена а его работой интересуется мышей не боится и белых крыс тоже а я их не люблю помнишь как к нам лезли в Бубенече в квартиру эти лучше но крыса она крыса и есть. Тврды ухаживает за аквариумами это большущие громадные резервуары если лопнут будет потоп а какие здесь растения ты бы поглядела Вактория Региа Ярке понравилась бы как поживает Павлик у меня ноги по-прежнему как бидоны в остальном мы здоровы я была права вчера она сбежала от него с ассистентом профессор говорит если бы можно он поставил бы ассистентом моего мужа природа есть природа от нее не уйдешь вот и удрала с ассистентом когда пойдешь в Бубенеч всем знакомым кланяйся пускай мне напишут это правда что Мразкова разводится или сплетни Тврды шлет привет до встречи в Праге Ваша Лойзка.

Мы любили эти потешные послания, и мама подробно отвечала ей, что нового у нас в семье и в Бубенече. Новости мама чаще всего узнавала на кладбище, где обычно люди встречались в день поминовения, на пасху и в праздник лилий, называемый «майфест». Знакомые при-

ходили с букетами цветущих лилий, тяжелый, торжественный аромат цветов поднимался от могил, и души мертвых превращались в одурманенных этим благоуханием тяжело летающих пчел.

Здесь мы узнавали, кто умер и кто родился, кто женился и кто вышел замуж, судачили о болезнях и заботах. Мама старалась все запомнить для пани Лойзки, что жила теперь в далеком-предалеком Брно.

Но однажды пришло письмо, и с первых же строчек у нас на лицах застыла улыбка.

Дорогие друзья, — писала Лойзка, как обычно, одной длинной фразой, — *примите мой сердечный привет и добрые воспоминания оповещаю вас что умер мой муж такой хороший человек а я дрянь еще хожу по белу свету...* Что там было дальше, уже не имело значения; я была еще совсем ребенком, но поняла, что ни грамматика, ни знаки препинания не имеют значения, столько любви и поэзии было в этих простых словах.

Умер мой муж такой хороший человек а я дрянь еще хожу по белу свету...

Это ли не взрыв глубокого чувства? Кто бы сумел написать более горячее признание в любви?

Пани Лойзка вопреки своим отечным ногам дожила до глубокой старости, но я так и не смогла найти в себе смелости и признаться ей, что из чувства глупейшего любопытства уморила первых вуалехвосток ее мужа.

К своим соседям мы отчасти причисляли и семью адвоката из соседней виллы, которого все величали «пан доктор». Пан доктор был не взаправдашний доктор, который лечит людей, и поэтому не слишком важничал. Юрист нам был ни к чему, а вот пану адвокату иной раз могли сгодиться папины умелые руки.

Вся докторская семья любила меня. Марушка со мной играла, будто с куклой, пан доктор сажал на колени и от души хохотал, когда его черная с белыми пятнами собака заходилась в лае от ревности.

«Я Зоринку не люблю, — говорил пан доктор и гладил меня по головке, — люблю девочку».

Сучка злобно щерила зубы, но на большее не отваживалась.

Я не помню, как случилось, что во мне проснулись инстинкты хорька, — очевидно, мне просто попало в руки треснувшее яйцо, и я решила его попробовать. Ходить я

еще не умела, лишь ползала по полу, но всякий раз, найдя яйцо, выпивала его.

Это мое пристрастие вызывало живой интерес у наших соседей — подозреваю, что я чуть-чуть играла, глотая предложенное угощение. До сих пор ощущаю на языке отвратительную слизь белка: я проглатывала его с закрытыми глазами, он противно проскальзывал в горло, затем всасывала желток, более приятный на вкус, я разминала его языком, победоносно покатывая пустую скорлупку.

Жена пана доктора превратила мое несложное представление в красочное зрелище, я не только съедала яйцо, но сначала сама его и сносила. Присаживалась на корточки, кудахтала «ко-ко-ко!», и в конце концов под моей попкой оказывалось беленькое, кругленькое, таящее божественный нектар яичко. Я долго верила, что действительно могу снести яичко, и иногда тщетно пыталась проверить это где-нибудь в укромном месте. То, что мне удавалось произвести на свет, весьма мало походило на яичко. Первые сомнения зародились, когда в гостях у пана доктора я вдруг начала нести самые разнообразные предметы — очки, сбивалки и т. д. и т. п. И мне сразу перестал нравиться смех взрослых, он прозвучал както обидно, и я наотрез отказалась изображать курочку.

Пан доктор с увлечением играл со мной в аэроплан, он кружил меня вокруг себя, и я то взлетала вверх, то опускалась вниз. Зоринка прыгала, доктору было весело, а у меня заходилась от страха душа, а вдруг он меня не удержит. Он-то меня удержал, зато мне отомстила Зоринка: поняв, что я трушу, она расхрабрилась и цапнула меня за коленку. Крови не набралось бы и с ложечку, но слезами я едва не затопила весь сад — чем больше меня утешали, тем громче я ревела; чем только мне не мазали коленку, заклеили ее пластырем, пан доктор нес меня на руках, его жена тащила кусок торта, а завершала шествие Марушка. Я же одна заменяла целый оркестр, играющий фортиссимо.

Мама в ответ на извинения махнула рукой и, невзирая на все увещевания пана доктора, к врачу меня не повела. Вместо меня на осмотр повели Зоринку, что переполнило мою душу злорадством.

На коленке остался след зубов, а на тарелке — кусок торта. Это кондитерское изделие не было нам незнакомым, и, хотя война, когда мама питалась одним турнепсом, а

папа довольствовался лагерным пайком, окончилась недавно, торт считался у нас несъедобным. Вкус у него был кисловато-сахариновый, запах тухловатый, сверху торт был твердый, а внутри клеклый, что касается цвета, то лучше о нем умолчать. Я не могла взять в толк, почему за то, что меня цапнула собака, жена доктора осудила меня еще и на поглощение этого шедевра кулинарного искусства. Мама, видимо, была того же мнения.

— Выкинь в канализацию, но смотри, чтоб никто не видел.

Я кое-как дотащилась до канализационной решетки, огляделась и стала протискивать между прутьями огромный кусок коричневой массы. Он не желал пролезать, и мне пришлось основательно потрудиться, а когда я обернулась, мой взгляд встретился с оскорбленным взглядом адвокатовой жены.

Она не произнесла ни слова, но наши добрососедские отношения стали прохладнее. Адвокатская семья больше меня к себе не приглашала.

С тех пор как братишка научился ходить, передо мной постепенно и незаметно закрылись соседские двери. Я перестала быть желанной гостьей, ведь за мной тенью волочился змеиный хвостик: мой брат был не просто ребенком, а проказливой обезьянкой. Ему не исполнилось и года, а он уже лазал на стену городского сада, в мгновение ока мог вскарабкаться на шкаф, выгрести огонь из печки, перевернуть молоко, забросить ключи в канализацию. Взгляд его черных, с длиннющими ресницами глаз был неотразим — достаточно ему было лукаво улыбнуться, и мама тут же капитулировала.

— Какой красивый ребенок, — льстили ей соседи, — а до чего же умный, до чего шустрый!

На похвалы-то они не скупились, но тщательно запирали перед ним двери.

Канули в вечность те прекрасные времена, когда я, вся превратившись в слух, слушала разговоры взрослых. И Пепик тоже стал избегать меня: моя рассудительная мама от любви к братишке утратила всю свою объективность. А одна-единственная его слезинка превращала маму в злобную фурию, она обвиняла всех и вся за то, что они будто бы обижают малыша. Так Пепик и отошел от меня.

У Франтишека были свои сходные проблемы. Аист по

дороге залетел и к ним тоже и, не посчитавшись с тем, что они ждут ворону, принес им мальчика Бедю. Одному только богу известно, где он подобрал такого горластого младенца. Его мама, потеряв от воплей ребенка голову, вконец измученная, влетала к нам:

— Пан сосед, очень вас прошу, помогите мне утихомирить мальчика, у нас у всех уже нервы оборватые.

Папа улыбался и, опираясь на свою палку, отправлялся к соседке. Его метод был прост, он укладывал ребенка и строго и спокойно приказывал ему спать, нахмурив брови, пристально глядел на него серыми глазами. Ребенок, всхлипнув разок-другой, засыпал. Мама утверждала, что отец гипнотизирует детей, но, видимо, на них успокаивающе действовала его сила воли, а может быть, просто передавалось его спокойствие. Из-за этого своего таланта папа был весьма популярен: соседки, бывало, стучали в наше окно и поздним вечером.

Мама не ревновала, ничего дурного ей и в голову не приходило: она сама знала, если в одной комнате с людьми, которым чуть свет надо отправляться на работу, вопит маленький крикун, это равносильно стихийному бедствию. Когда не помогали ни чай, ни компрессы, в качестве последнего средства соседки вызывали моего папу. К врачам обращались нечасто: это стоило денег, а папин глаз был бесплатный.

Из-за плаксивого Беди и избалованного Павлика кончилась наша дружба и с Франтишеком тоже, в наши игры ворвался ветер и разметал нас всех в разные стороны.

Я осталась одна. Одна с братиком.

КАК ВЫГЛЯДИТ СМЕРТЬ

В тот год, когда Дед Мороз принес нам братца, на рождество собралась вся мамина родня. Я получила кучу подарков, они не умещались у меня в руках, я нагибалась за одним и роняла на пол два. В конце концов у меня их отобрали, и тут я произнесла сакраментальную фразу, которая на долгие годы попала в семейные анналы:

— Столько всего у меня было, а теперь остался кукиш с маслом.

Взрослые смеялись и вручили мне самый дорогой подарок, голыша Павличека, у которого было точно такое

же одеяльце, такой же свивальник, такая же распашонка и такие же пеленки, как у моего братца. Словно бальзам пролился на мои раны, теперь у меня тоже был сынок, такой же, как у мамы.

Смех, вызванный моей репликой, немного поднял общее настроение. В сущности, случился пустяк — бабушка разгрызла гнилой орех.

Бабушка страдала одышкой, целыми ночами не спала и к этому времени совсем высохла, а ведь когда-то она была веселая, как воробышек, постоянно напевала и легко перебегала с места на место. Каждый год она рожала по ребенку, но больше их схоронила, чем сохранила, поначалу поливала могилку слезами, а потом лицо ее вновь озаряло солнышко. В старости от нее исходило робкое, теплое сияние, и каждый старался его сберечь.

Мой папа очень любил бабушку, теща была единственным человеком, который умел высечь из его души искру довоенного веселья, с ней он шутил, шалил, озоровал.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не разрешалось начать рождественскую ваночку[1], не дождавшись рождественской звезды, тем более первую мирную ваночку, муку для которой собирали целый месяц. Но папа бросился перед бабушкой на колени (ведь он не пробовал ваночку целых семь тощих лет), бабушка не смогла устоять и сама протянула ему нож. Истины ради следует признать, что ваночку он не отведал, а уничтожил целиком, даже не отлепив подгоревшей снизу бумаги. Папа смотрел сквозь пальцы, когда бабушка стала обучать меня поговоркам собственного сочинения, к примеру: «Танцевали да плясали, портки полные наклали» — или что-нибудь еще почище... Этого он не разрешил бы никому на свете, а тут и глазом не моргнул.

Папа часто выступал с чтением стихов, я запоминала стихи, которые он учил дома, быстрее, чем сам папа. И вот в таинство поэзии Горы[2], Неймана[3], Волькера[4] и

---

[1] Ваночка — плетеная сдобная булка с изюмом.

[2] Гора, Йозеф (1891—1945) — известный чешский поэт.

[3] Нейман, Станислав Костка (1875—1947) — известный чешский поэт, один из родоначальников социалистического реализма в чешской литературе.

[4] Волькер, Иржи (1900—1924) — известный чешский пролетарский поэт, один из основоположников марксистской критики в чешской литературе.

Безруча[1] ворвались не слишком пристойные бабушкины прибаутки. Мама злорадно посмеивалась: она знала, какое отвращение вызывает у папы любое грубое слово (это после семи-то лет войны!), и швыряла их в него из чистого озорства, как дети швыряют «собачек» или комки грязи. Маме отец за это выговаривал, но бабушка могла позволить себе все, что угодно: в ее устах слова словно бы очищались и звучали не грубо, а скорее шутливо. И теперь, когда бабушка обнаружила в своем орешке гнилое, почерневшее ядрышко, у присутствующих перехватило дыхание, но все, спохватившись, принялись, перебивая друг друга, убеждать ее, что это пустое суеверие, приводили тысячи примеров. Сразу же после нее разгрыз гнилой орех дядя Богоуш, мамин старший брат.

— Вот видите, значит, и Богоуш тоже умрет, — хихикнула тетя Бета и зажала рот ладонью. Такая уж она была — слова вылетали изо рта раньше, чем голова успевала подумать.

— А ведь орехи-то покупала ты, — огрызнулся Богоуш, — тебе всучили гнилье, а хоронить собираешься нас всех.

Если бабушка осталась в моей памяти как свет, то дядина темная тень омрачала все. До чего же мы, дети, боялись его хмурой физиономии! У нас часто рассказывали, будто однажды кошка разлила молоко, а дядя схватил ее и вытер ею стол. Этот случай — а может быть, просто детский вымысел — ужаснул меня, я представила себя на месте кошки и старалась держаться подальше от дядиных рук. В его присутствии мне всегда чудилось, будто вот-вот он схватит меня и вытрет мною стол.

На самом-то деле он никого никогда не обидел, просто он отличался от остальных братьев и сестер. Все они были разговорчивы, шумливы, подвижны, в доме постоянно звучали песни, хохот, остроты и шутки.

Один лишь Богоушек был молчальником и тугодумом, он вечно сидел в сторонке, опустив голову в ладони. Был он самым рослым, самым красивым, но прятал от людей свое мрачное лицо. Он, единственный в семье, иногда пил и тогда кручинился еще больше. К вопросам был глух, уговоры на него не действовали, никого он к се-

---

[1] Безруч, Петр (1867—1958) — известный чешский поэт, творец знаменитых «Силезских песен».

бе не допускал. Одна лишь бабушка осмеливалась подойти и ласково дотронуться до его опущенной на стол темноволосой головы.

— Оставьте его в покое, раз человек пьет, стало быть, знает почему!

Вроде бы никакой явной причины для этого и не было, но, видно, какая-то жаба притаилась у источника его сил, какой-то червоточец подтачивал корни его жизни.

Бедняга и не предполагал, что за ним с тоской наблюдает пара огромных светло-голубых глаз. Они скользили по его уныло опущенным плечам, по всклокоченным кудрям и наполнялись слезами. Так хотелось девчушке погладить этого большого, неприступного человека, стереть печаль со лба, отогреть у собственного сердца. Младшая сестра Марженка сдружилась в женской школе с двумя сестричками-совушками. Они приехали с Чешско-Моравской возвышенности, их насмерть напугала Прага, они постоянно держались за руки и таращили на свет божий свои на редкость огромные светлые глаза. Иржинке было пятнадцать, Жофинке — четырнадцать, сестры прилепились к Марженке и нашли в ее дружной семье тепло родного очага. Иржинка всей душой привязалась к молчаливому парню, ее печалила его печаль и минуты опьянения. Она одна сочувствовала ему, испытывала к нему особую нежность. Она была из тех краев, где мужчины начинают день стопкой самогонки, а младенцев успокаивают жеваным хлебом, намоченным в водке. Девочка постепенно превращалась в девушку, но молчаливый Богоуш не обращал на нее внимания, возможно, даже путал с родными сестрами, чьи голоса для него все равно что птичий гомон, и не удостаивал взглядом ни девичьи вышивки, ни крашеные яйца, застыв в своей вечно трагической позе.

Но вот наступила пасха, пора лакомств. Хмурый Богоуш приплелся домой; воздух был теплый, влажный, и весенний дождичек начисто промыл все окрест. Голые деревья пробудились от зимнего сна, затрепетали, и ветви их набухли красками жизни. Он поднимался по лестнице, вдруг двери приоткрылись, выбежала девушка, сунула ему в руки крашеное яичко и скрылась. Но в этот краткий миг он успел заметить, что косы у нее цвета спелой пшеницы, в глазах отражается весеннее небо и радуга дождевых капель. Вольным ветром пахнуло от ее юбок.

Яичко было красное, среди цветочков и пташек вилась надпись: «Погляди-ка на меня, ведь люблю я тебя». Тепло, жар, пламя исходили от раскрашенного яичка, оно обжигало ладони, но Богоуш не бросал его, неуклюже намалеванные цветочки, смешные пташки вдруг проклюнули ледяную скорлупу замерзшей души, легкое прикосновение девичьей руки разбудило заколдованного принца.

Он бегом спустился с лестницы, решив любой ценой догнать свое счастье и мчаться за ним, если понадобится, хоть на край света. Девушка, виновато съежившись, стояла, прижавшись к стене, и он крепко обнял ее. Богоуша словно подменили: мрачное лицо прояснилось, он забыл про бутылку и даже капли не брал в рот, повязав вокруг пояса полотенце, он помогал своей юной жене кухарить. Он работал на стройке мастером, зарабатывал прилично, после войны люди начали отстраиваться.

Жена его целый божий день пела, муж улыбался ей, а бабушка сидела в уголке и радовалась счастью сына, хоть и чуточку ревновала. Как же так, простая деревенская девчушка сумела сделать то, чего не удалось ни братьям, ни сестрам, ни родной матери? А сын понемногу отдалялся от нее.

Но счастье продолжалось немногим более года, вспыхнуло ярким светом — родился ребенок, дочка, — и угасло. Когда к нам прибежал гонец с трагическим известием, слова были не нужны. Зловещая новость была написана на его лице.

— Матушка? — выдохнула мама.

— Богоуш, — всхлипнул брат.

Хотя у них не было такого в заводе, но сейчас они в отчаянии бросились друг другу в объятия — горе лишило их сил. Позже я много раз слышала, как это случилось.

Богоуш пришел домой с работы и попросил кофе каким-то странным тоном.

— Что-то неможется. — И вдруг опрокинулся на кровать, на лбу выступил холодный пот, вода в кофейнике еще не успела закипеть, как его не стало.

Бабушка пережила его ненамного. Смерть вошла в мир моего детства, окрашенная в грязный цвет глины. Я еще совсем крошка, тащусь вслед за холодным, неживым лесом человеческих ног, черные башмаки месят грязь, и она засыхает с пугающим чавканьем, мне чудится, будто земля подо мной разъезжается, куда-то ус-

кользает, ползет, превращается в огромную липучку для мух, и мы все прилипнем к ней, умрем, а пока жужжим, жужжим, мне жутко от всех этих нагоняющих тоску звуков, лишь от папиной руки исходит тепло, и я судорожно цепляюсь за нее.

Грязная смертная жижа лижет башмаки, брызги ее застывают на черных брюках и черных юбках, от нее никуда не уйти. Мы стоим у края глубокой ямы, корни растений, перерубленных лопатой, тянут друг к другу через яму свои белые перерезанные суставы. Вот что сделала с ними смерть.

Гроб — одно, человек — другое, я не чувствую связи, мне жаль лишь цветов, что падают в грязь, все плачут о них, но бросают цветы на мокрую скользкую глину.

Тетя Иржина превратилась в каменное изваяние, льющее слезы, она сидит, черная и неподвижная, а слезы струятся по ее каменному лицу, камень — теплый и розовый, текущая вода — прозрачна. Новорожденная дочка не в силах вызволить мать из бездны горя, материнское молоко превратилось в слезы, и они льются и льются, не унося даже частицы боли.

Черная женщина сидит у нас на стуле, и горе ее пересиливает мою робость, я кладу ей на колени мою самую любимую игрушку, но она не замечает ни кубиков, ни меня, взгляд ее светло-голубых глаз блуждает где-то далеко, и слезы все льются и льются. От этого тихого плача меня охватывает тоска, я знаю, что должна что-то сделать, лишь бы она не плакала, должна вызвать ее смех, пускай хоть мимолетную улыбку.

— Прекрати, — обрывает меня мама. — Оставь тетю в покое!

Но я не могу отдать ее на растерзание горю, я обязана развеселить ее, я корчу смешные рожи, а потом начинаю совать кубики в вырез ее черного платья и жду, когда же она наконец фыркнет и засмеется, зальется смехом, как заливаюсь я.

Как мне хочется, чтобы она тоже расхохоталась, ведь хохочу же я, но смех мой рассыпается в тишине, мама шлепает меня, оттаскивает от тети, со стуком обрушиваются на пол кубики, слышится мамин вздох:

— Бесчувственный ребенок какой-то, совсем бесчувственный.

Эти слова, произнесенные без раздражения, показа-

лись мне тем более жестокими, что в них прозвучало искреннее удивление и сопровождались они взглядом, значение которого я долго не могла растолковать и лишь мучительно на себе ощущала.

Постепенно я научилась разбираться в смысле маминых замечаний, я была в нашей семье словно кукушонок в ласточкином гнезде, и она ужасалась при виде существа, столь не соответствовавшего ее представлению о ребенке.

— И в кого это у девчонки такой нос? — качала мама головой.

Мой носик-пуговка был для нее личным оскорблением, она не понимала, какое родство он мог иметь с ее аристократическим носом и отцовским четким профилем. Она массировала мой нос, чтобы он стал хоть немножко прямее, но курносый упорно не поддавался. Когда я выросла, она настаивала на пластической операции, но я и слышать не желала ее уговоров. Смею вас заверить, что в жизни мне мешали многие мои достоинства и недостатки, но форма носа никогда и ни в чем не помешала, равно как, впрочем, и не помогла.

— Посмотришь на родителей — ну просто рожи! А ребенок у них — одно загляденье, — раздраженно говорила мама, расчесывая мои светлые волосы.

И опять-таки она недоумевала, как могло получиться, что при папиной черной шевелюре и ее медных кудрях природа наделила меня редкой бесцветной порослью. Видимо, мамино представление о теории наследственности было чересчур примитивным.

— Волос от волоса не слышит голоса, — недовольно говорила она, — да и цвет как у зайца под хвостом, девчонка — ну, просто ни рожи ни кожи, прости меня, господи!

Тогда в моде были толстенькие херувимчики с румяными щечками, я же представляла собой явно неудачный экземпляр ребенка, который никак не мог быть предметом родительской гордости.

Еще более, чем внешность, маму раздражал мой характер.

— Сидит как квашня, слова из нее не вытянешь, ну куда опять уставилась, горе ты мое?

Мама не знает, что феи одарили меня особым редкостным даром: мне не бывает скучно. Никогда не бывает.

Достаточно одного муравья и одной травинки на целый день.

— Эта девчонка не иначе тронется, — вздыхает мама.

Она ровно ничего не видит там, куда я уставилась восторженным взглядом. Она не замечает: малявочка старается перевернуться на брюшко, подрагивают ее лапки, блестит краешек одежки; не видит, что травинка отбрасывает на жучка тень и тень эта перерезает его пополам. Интересно, а ему не больно? Откуда ты взялся, жучок? А у тебя тоже есть братишка? Какой величины игрушки у таких вот крохотных жучков? А коляски? У жучков коляски есть?

— Я спрашиваю, куда ты уставилась? — кричит мама. — Отвечай, что ты там ищешь?

— Ничего.

— На что же ты тогда смотришь?

— На ничего.

Я глуповато улыбаюсь. Это маму тоже бесит, она считает, что и смеюсь-то я совсем не по-людски. Глупо смеюсь, по-идиотски.

Но более всего беспокоят маму мои превращения. Я моментально сливаюсь с любым окружением, я замарашка среди замарашек, чистюля среди умытых и ухоженных девочек, мальчишка среди мальчишек, дикарь с дикарями, умница-разумница со взрослыми, я растворяюсь в толпе.

А вот мама ужасно гордится тем, что отличается от жен остальных рабочих, и хотя поддерживает с ними добрососедские отношения, но соблюдает дистанцию: ни с кем не делится и ни с кем не советуется, не дает в долг, но и сама никогда и ничего ни у кого не просит. И люди с ней осторожничают, дивятся ее познаниям, восхищаются ее хрупкостью.

Моя ординарная внешность (до чего же меня унижает это малопонятное, но, несомненно, оскорбительное слово) не вяжется с маминой нежной красотой.

Зато братишка полностью удовлетворяет мамино тщеславие: у него тонкие черты лица, черные волосы, смуглое личико, румяные щечки, он пухленький и улыбчивый, весь в ямочках и перевязочках и вызывает всеобщее восхищение.

Восхищаюсь им и я тоже, хотя из-за него моя жизнь пошла шиворот-навыворот. Он отнимает все мое время, и,

вероятно, это к лучшему: я совсем забыла про глинистую яму и перерубленные корешки. Лишь во сне ко мне постоянно возвращается бурая чавкающая грязь, которая хочет меня поглотить.

Братишка младше меня, но чего только он не придумывает! Не успеет мама выйти, как в его глазах сразу же зажигаются озорные огоньки! Вот он забрался на стул, со стула на буфет и пошел хозяйничать. Он кидает мне соль, муку, крупу, сахар, и, если я не успею поймать, все шлепается прямо на пол.

— Павлик, положи на место, — жалобно прошу я.

— Нет, я буду просеивать.

— Нельзя.

Но напрасны все мои запреты, да и от плетеного стула мне его не оттащить, какое там! Разве я с ним справлюсь, он все равно вырвется.

— Немедленно положи на место! Нам попадет, вот увидишь!

Мука тонкого помола чудесно проходит сквозь сито плетеного сиденья, я смотрю, как она горкой ложится на пол. Братишка добавляет соль, она слиплась, но он быстро соображает, что надо делать, и разбивает комья пестиком. Я не участвую, я просто каменею от страха, но мне нравится, что соль красиво завершает зыбкий конус муки. Павлик добавляет сахар и манку, и уполовником снова и снова просеивает эту прекрасную смесь.

— Это что такое? — кричит мама.

Ах, если б она только кричала! Сколько подзатыльников на совести наших плетеных стульев!

— Такая большая девчонка и спокойно смотрит, как он шалит! Ты воображаешь, что у нас есть лишние деньги! Вот заставлю тебя перебирать, как Золушку!

Я увертываюсь от оплеухи и представляю себе, что вот сейчас прилетят голубки и примутся клювами отделять муку от сахара и соль от манки.

Мама собирает всю кучу на широкий совок.

— Ступай выкинь в канализацию! Да смотри, чтоб тебя никто не увидал. И не споткнись.

Я не споткнулась, я тащу полный совок обеими руками, но на дворе ветер, он подхватывает муку, кружит белый вихрь, я отдаю ему и все остальное, на, бери, бери! Все бери себе, метелица, свари своему малышу кашки, целый горшок свари. Глаза щиплет от соли, на ресницах

осела мука, и на платье тоже, вокруг меня — белым-бело, я заляпала белыми следами всю прихожую. Мама даже сердиться не может, лишь окидывает меня удивленным взглядом: ну что за гадкий утенок вылупился в нашем гнезде!

Иногда я пытаюсь притвориться, будто не только не участвую в опасных играх брата, но и не вижу, как он разбойничает. Вот он откопал где-то комок масла, мама отдала за него на рынке много денег, масло по нынешним временам редкость, на кусочке, завернутом в листья хрена, выдавлен рисунок, от масла чудесно пахнет. Отогнув краешек, он мнет масло пальцами, облизывает, откусывает, а я смотрю в окно — я не вижу ни масла, ни Павлика. Ведь не могу же я их видеть, если смотрю на улицу, конечно же, я не вижу, как Павлик пропускает масло сквозь дырочки в сиденье стула, лишь уголком глаз я замечаю червячков, что падают на пол сквозь импровизированное сито; нет, нет, я гляжу в окно, я не отрываю взгляда от кроны шелковицы.

Мамины поспешные шаги, ее карающая десница.

— Ты чем занята, скажи на милость? Ты что, не видишь, что он вытворяет! Барышня изволит глазеть в окно и не может за ребенком присмотреть!

Павлик уже заранее начинает хныкать, его прелестные черные глазки затуманиваются, ничего не скажешь, плачет он эффектно: тихонько хлюпает носом и выдавливает на длиннющие ресницы капельку росы. Крохотную капельку, она даже не скатывается на щеку. Мама подхватывает его на руки и начинает утешать своего маленького бедняжку.

Зато я ору, как павиан, прыгаю от злости, топаю ногами, валюсь на спину и брыкаюсь, мама кричит, лупит меня, брызгает водой. Ее злость сталкивается с моей, высекает искры, потом опадает, и мы обе оскорбленно молчим, я бросаю на нее злобные зеленые взгляды, и мама в ужасе отступается.

До чего же прекрасна свобода, когда мы не разговариваем с мамой. Можно полоскаться в воде, ковыряться в печке, рисовать пальцем на оконном стекле, взять самый большой нож и строгать деревяшки.

В таких случаях мама не в силах сдержаться, обычно она начинает разговор довольно быстро, прикрывая свое

отступление безличными замечаниями. Мой взгляд мягчает, становится голубым, я удовлетворена.

— Вся в отца, такая же упрямая башка!

Я клянусь себе, что никогда не стану слушаться братишку. Мама права, Павлик ведь совсем маленький. Я старше и умнее и поэтому терпеливо строю башню из кубиков, чтобы братик мог налететь на нее и разметать в пух и прах. Поначалу его разбойничьи набеги вызывают во мне припадки ярости.

— Он раскидывает кубики, потому что ты злишься, — объясняет мне папа, — не обращай на него внимания, тогда сам отстанет.

Это правда, братца уже не интересует моя башня. Он пинает ее разок-другой — и все, больше не хочется.

— Ярча!

Наверное, и у змея-искусителя в раю не было столь сладкого и зазывного голоска. Я пытаюсь не слушать его, кладу кубик на кубик, а потом разбрасываю их, но братик лишь высовывает свой змеиный язычок:

— Сосиску.

Он тычет пальчиком вверх, на буфет.

— Мне не достать, а сосиска — это папе на работу.

Но Павлик уже тащит стул. Я пытаюсь отобрать, он упирается, вцепившись в стул изо всех сил. Вот он уже взобрался на стул и лезет наверх.

— Слезай! Слезай сейчас же! Упадешь!

Павлик и не думает слезать. Он стоит на буфете и тянет на себя дверцу. Я цепенею от ужаса. Братишка ловко увертывается, стеклянный верх буфета дрожит, пакет с сосиской летит на пол, и братик гордо спускается вниз.

— Свари.

— Я не умею, я не знаю, как это делают.

В моем голосе звучит отчаяние.

— И у нас нет воды.

У меня еще не хватает сил накачать воду из колонки. И он это понимает. Но радости моей хватает ненадолго. Павлик влезает на сундучок и карабкается к плите.

— Обожжешься! На плиту свалишься! Слышишь?

Я хватаю его за штанишки, они пристегнуты к рубашонке, и я с корнем вырываю большую белую пуговицу.

— Тебе попадет! — предсказывает братик.

С несчастным видом стою и держу в руке пуговицу и не успеваю опомниться, как он уже тащит к себе каст-

рюльку с кофе, кидает в нее разломанную сосиску и ставит на плиту. Окаменев, наблюдаю за его действиями, зная, что мне уже ничто не поможет: ни окно, ни отговорки, — я уже стала сообщником, более того, главным виновником, и теперь все кончено. Эта мысль как рукой снимает страх, я бойко вылавливаю вилкой куски сосиски с налипшей на них кофейной гущей, они отвратительны на вкус, но я жадно запихиваю их в рот.

— Господи, что это вы едите? — Мама кидается к брату.

— Мы сварили сосиску, — вызывающе отвечаю я.

— Ведь его вырвет! Ты что-нибудь соображаешь? В чем вы ее варили? Ты что, полная идиотка? Тебе уже шесть лет, а ты даже сосиску сварить не умеешь.

В пылу гнева мама прибавляет мне возраст — на самом деле мне нет еще и пяти. За сим следует назидательный рассказ о том, что умела делать мама в моем возрасте. Я не слишком-то ей верю, но она еще не подняла на меня руку, и я наблюдаю за ней нейтральным, серым взглядом.

— Что я теперь дам папе на работу, а?

Папина работа далеко. Ему полагается два часа на обед, но какой смысл бежать из Голешовиц в Бубенеч, наскоро перекусить и мчаться обратно? Мама дает ему еду с собой — когда кастрюльку, когда кусок колбасы, сосиску или хлеб, чем-нибудь намазанный. И всегда манерку с кофе.

— Ну скажи, что я ему дам! Ведь до первого еще далеко!

Я молчу. Я уже давно знаю, что жизнь перед первым числом сильно отличается от жизни после первого. И уничтожить сосиску перед первым — непростительное преступление.

— Глаза бы мои на тебя не глядели, — вздыхает мама. К счастью, братишка успел убежать, прихватив совок, и мама отправляет меня присматривать за ним.

Прошел дождь, отовсюду повылезли чисто умытые розовые червяки. Братишка подцепляет их на совок и одного за другим бросает в канализацию. Я присоединяюсь к его богоугодным деяниям.

Вскоре к нам в гости приходит наша двоюродная сестра Лидунка. Она четырьмя годами старше меня, и я считаю ее уже совсем взрослой. Лидунка уже ходит в шко-

лу, она такая тихая и разумная девочка, что, кажется, она так и родилась взрослой. Собирать червяков она не станет, она брезгует жуками и пауками, ей не по душе даже конские яблоки. Наша мама любит ее, на нее можно положиться, игры, которые придумывает Лидунка, тихие, сидячие, никто не измажется, не порвет платье.

Играем в школу. Лидунка — пани учительница, а мы ученики. Она велит нам сидеть, заложив руки за спину, отвечать, строиться, считать на пальцах, маршировать и петь. Я никогда школу не видела, не совсем понимаю, чего она от меня хочет, и потому пани учительница все время ставит меня в угол.

Не нравится мне и игра в папу и маму: мне достается роль ребенка, которому все время что-то велят. Слишком уж напоминает настоящую жизнь.

— Что бы это мне сегодня сварить? — рассуждает Лидунка, изображая маму. — Сварю-ка я лапшу с маком.

И тут же принимается понарошку орудовать понарошечной скалкой, потом понарошку сушит и режет.

— А ты, Ярушка, сбегай пока в лавку, купи маку, сахарного песку и бисквит Павлику.

— А конфеты?

— Ну ладно, купи конфет и две плиточки шоколаду.

Моя понарошечная мама играет самозабвенно.

— Не забудешь? Еще четвертушку кофе и полкило патоки.

— А огурцы?

— Возьми штучки две.

Она смотрит мне вслед, как я иду по направлению к лавке, и понарошку подает Павлику тарелку.

Звякает колокольчик.

— Ну, чего тебе? — спрашивает лавочница.

На самом ли деле та маленькая девчонка столь бесхитростна? Или в ней уже проросло семя злорадства? Или же ее ведет любопытство?

— И чего-й-то тебе мама сумку не дала, — удивляется лавочница, — и чего-й-то ничего не написала? Помнишь все, за чем послали? Гости к вам пришли, что ли?

— Ага.

Подставляю передничек. Возвращаюсь.

Бедная Лидунка побелела как мел, ухватилась рукой за дерево, губы ее трясутся, по щекам катятся слезы.

— Что ты наделала? — всхлипывает она в полном от-

чаянии. — Я ведь не взаправду, я думала, что ты понарошку пойдешь, понарошку купишь. Что я теперь тете скажу!

Ее воспитали в правилах честности, и ей не терпится уладить дело. Худенькая ее фигурка напряжена, подрагивает на кудрявых волосах бантик, ножки шагают решительно. По ее походке я понимаю, что дела мои плохи, хуже некуда, я поспешно набиваю рот конфетами и издали наблюдаю, что будет дальше.

Маму перепугала насмерть Лидункина отчаянная решимость. Она бежит ей навстречу, хватает за плечи, трясет:

— Что случилось? Говори, говори же! — и с облегчением смеется. — Ну и перепугала же ты меня, девочка!

— Я думала понарошку, а она взаправду пошла! — извиняющимся тоном твердит Лидунка и подбирает злосчастные покупки с земли.

— Может быть, лавочница что-нибудь возьмет обратно, я ее попрошу, — утешает Лидунку мама.

До чего же я рада, что предусмотрительно успела запихнуть в рот конфеты. По моему лицу слишком явно разливается блаженство.

— Кто тебе позволил есть конфеты? Ты же знаешь, что тебе нельзя сладкого!

Да, да, прекрасно знаю, меня одолели глисты, и сладкое для меня табу.

— Так ведь они же кислые.

Изо рта у меня брызжет слюна, течет на подбородок, я похожа на бурундучка с набитыми защечными мешками, и мама с отвращением отворачивается.

— Все назло делает, лучше живой в гроб лечь, чем вечно с ней мучиться. Вот подожди, умру, отец приведет в дом мачеху! Наплачешься тогда вволю!

И уходит с Павликом, Лидой и моими покупками. Я ничего не отвечаю, боюсь, как бы изо рта не выскочили недожеванные конфеты. Я-то прекрасно знаю, что не стану плакать вволю. Очень нужно! А если мама решила уйти туда, по бурой глине, и больше не возвращаться, так это ее дело. Такая мысль меня не слишком тревожит, более того, я вовсе не прочь пожить без вечных замечаний, без криков и подзатыльников.

До чего же здорово остаться одной: можно достать изо рта леденец, спокойно прикинуть, сколько от него еще

осталось, приложить к глазу и посмотреть сквозь него, как мимо плывет зеленый мир.

Мачеха бьет, вонзает до крови гребешок в голову — она мне, конечно, ни к чему, но я могу уйти к тете Марженке, эта постоянно смеется, и мы будем вместе петь и рисовать, или уйду к тете Бете, она купит мне сдобную булочку с изюмом и позволит вертеться перед своим трюмо хоть целый день.

Но тем не менее я понимаю, что эти мысли гадкие, вслух я бы их никогда не вымолвила, никогда! Само по себе желание, чтобы мама исчезла из моей жизни, возникнуть не может, но, раз мама так сама говорит, меня начинает искушать призрак свободы.

Мне видится мир, где одни лишь цветы, где ручейки бегут по камушкам и кошка, мурлыча, тычется в мою ладонь, где поют, чирикают и порхают пташки и самая красивая из них опускается мне на плечо.

Я улыбаюсь. Но к кисло-сладкому вкусу леденца примешивается горечь, я вспоминаю перебитые корешки, и слезы прокладывают светлые бороздки на моих щеках.

СЧАСТЬЕ В КРЕДИТ

Сейчас, когда минуло столько лет, я считаю, что мама сумела бы иначе распорядиться своим счастьем, знай она, что получает его лишь в кредит. Но я, очевидно, ошибаюсь, наверняка все вышло бы наоборот, каждая сладкая минутка стала бы для нее горше полыни.

К ее счастью и без того примешивалась капля горечи, все ее желания исполнились, только как-то наперекосяк. Война окончилась, но всемирной революции не произошло, возвратился веселый парень, которого она верно ждала целых семь лет, но стал суровым, молчаливым инвалидом; у нее была собственная квартира, но состояла она всего из одной комнаты, без воды и без удобств, и родилась у нее девчонка, да к тому же самая обыкновенная, вместо ожидаемого дитяти любви. Так что ее счастьице было убогим, куцым, неполноценным.

Лишь рождение братишки увенчало ее счастье короной, вознесло до самых звезд. Появление на свет сына скрасило все, и бедное жилище, словно солнышком, осветила его розовая мордашка. Мама ходила сияющая.

Ей было тридцать, и она была очень красивая.

Копна волнистых волос обрамляла тонкое, фарфоро-

вое личико, строгую правильность черт нарушала лишь слишком полная нижняя губа, яркая и чуть капризная. Но именно рот придавал девственной белизне ее кожи что-то живое, страстное, хотя домашние подшучивали, будто она — урожденная Габсбург. Над зеленоватыми глазами дуги золотистых бровей; когда мама куда-нибудь идет, она подкрашивает их жженой пробкой. Губы она либо покусывала, чтобы стали ярче, либо чуть-чуть натирала оберткой от цикория. Вот и все ее косметические ухищрения.

Перед зеркалом она крутиться не любила. Если ты с детства то и дело слышишь «рыжий, рыжий, конопатый...», то вряд ли будешь слишком высокого мнения о своей внешности. Когда старшей сестре Бете удавалось изредка вытащить маму на танцы, в этом ее убеждали все кому не лень. Даже самые плюгавые, неказистые, глупые и уродливые кавалеры не удостаивали рыжую девчонку своим вниманием.

Иногда мама вспоминала скамью остракизма, где сидела одна-одинешенька (потому-то она и не пускала на танцы меня). Вокруг танцевали все: косые, хромые, рябые, прыщавые дурнушки, — все вокруг смеялось, кружило в хороводе, шутило, лишь она, застыв в напряженном ожидании, подпирала стенку и, стиснув зубы, сдерживала ярость, страшась, что вот-вот брызнут слезы.

Однако тетя Бета объясняла все совсем иначе: мама, дескать, сидела с таким свирепым выражением лица, что к ней не отваживался подойти даже самый храбрый парень, а если и находился смельчак и приближался к ней, то его встречал столь грозный взгляд, что кавалер поспешно ретировался.

Уговорить оскорбленную девушку пойти на танцы было уже никому не под силу, она замкнулась в себе, сидела дома в уголке и читала Махара[1], ища утешение в его стихах о подлых матерях, что поставляют на продажу розовые тела своих дочерей. Но утешение невелико — худенькая девушка никак не могла похвалиться розовым телом, а свои хрупкие косточки целомудренно скрывала под строгой одеждой.

И с работой ей не повезло. У нее был хороший, четкий почерк, и ее взяли на фабрику переписчицей. На всей

[1] Махар, Йозеф Сватоплук (1864—1944) — чешский поэт, известный своими резкими выступлениями против католицизма.

фабрике имелась одна-единственная пишущая машинка, на ней печатали особо важные письма, идущие за границу. Все прочие документы девушки писали от руки. «Schreibmädchen»[1] — было уже определенное положение. Мама поняла это, когда на себе испытала, сколь тяжел фабричный труд. Пока из кроличьих и заячьих шкурок получится одна шапка, десятки людей испортят себе здоровье. Мужчины и женщины работали с утра до ночи, задыхаясь от жары, руки их разъедали до крови химикалии. По сравнению с этим пеклом канцелярия была истинным раем.

Новая «Schreibmädchen», увы, не сообразила, что за привилегии подобного рода следует расплачиваться, и при первом же поползновении шефа бросилась на него, как дикая кошка. Девушки, уткнув носы в бумаги, усердно скрипели перьями.

— Эдакая страхолюдина, сутулый, плешивый,—кричала мама даже много лет спустя,—ну и показала же я ему!

В действительности же все получилось наоборот, «показал» ей шеф, выкинув с работы с бумажкой, где указывалось, что она уволена за дурное поведение и принимать ее обратно запрещается. Она устроилась на кнопочной фабрике, но уже не в качестве «Schreibmädchen», а простой работницей. Работа была не из приятных: раскаленная кнопка то обжигала пальцы, то влетала за вырез платья. Но уж лучше раскаленный металл, чем грязные, назойливые мужичьи лапы.

В душе мамы свил гнездо какой-то удивительный дух отрицания и подозрительности, в глазах сверкали молнии и пробегали грозовые тучи, и даже самый лихой ухажер не рисковал заигрывать с рыжей недотрогой, пока не появился человек, который снял с нее это проклятье одними лишь словами: «Одуванчик! Да вы же принцесса Одуванчик!»

Он увидел ее дома — она сидела, забившись в угол,— и произнес эту фразу, встретив впервые, не стесняясь присутствующих. Спокойно и сосредоточенно смотрел он, как теплеет лицо девушки.

Был он намного старше ее, художник. Он пришел к ним в гости и принес полфунта масла — подношение было скромное — в благодарность за то, что бабушка пригрела двух его сестер Иржинку и Жофинку, заменив девоч-

[1] Переписчица (*нем.*).

кам родных. Сейчас уже трудно сказать, сколько сил и отваги, сколько страстной любви к искусству потребовалось пареньку из подгорской хатенки, где единственным состоянием были дети, чтобы приехать в Прагу и там попасть в Академию. Все годы учения он питался лишь хлебом и сушеными сливами, в самодельной печи обжигал маленькие вазочки и продавал их, выдувал и продавал стеклянные бусы, и все это для того, чтоб когда-нибудь воплотить свою мечту — мечту о монументальной скульптуре. Талант и трудолюбие помогли ему добиться собственной мастерской, но скульптура — не тот товар, который легко продать. Дела его шли не бог весть как, однако он сумел дать образование и двум младшим сестрам. Он работал над большой скульптурой, изображавшей мать Яна Жижки, ведь и сам он был из тех мест, где Жижка провел свои последние дни. Традиции Жижки там были еще живы, люди все еще ощущали себя сподвижниками легендарного героя.

Когда его произведение не получило должной оценки на конкурсе, он впал в отчаяние; скульптура была дорога ему, он вложил в нее весь свой талант, всю любовь к родному краю и его боевым традициям. И тогда, изваяв могучую родительницу героя, он возмечтал изваять хрупкую фею.

Но модель ни за какие блага в мире не соглашалась распустить длинные волнистые волосы. Бабушка строго следила, чтобы девчонки даже перед братьями не смели обнажить плеча, семья ютилась в одной комнате, но переодевались девочки в темном углу за шкафом, умывались тайком и к столу приходили одетыми и причесанными. Вынужденное целомудрие вошло маме в кровь и плоть.

Перед братом, а тем более перед чужим человеком она не засучила бы и рукава, не приподняла бы юбки выше щиколотки, не вынула бы из тугого узла волос шпильки. Вот почему у нас над столом висит скульптурное изображение лишь ее девичьей головки. Здесь она выглядит старше своих семнадцати лет, чуткие пальцы скульптора придали ее чертам строгость и неприступность, какая там влюбленная принцесса Одуванчик — скорее Мимоза-недотрога, блюдущая свое целомудрие.

Могу представить себе, как примостилась она на самом краешке стула, из-под длинной юбки виднеются лишь кончики ботинок, нежные руки зябко спрятаны в рукава.

Вероятно, она чуточку увлеклась художником, но любовь, очевидно, испугала ее, на девичьем лице не покорное ожидание, а готовность к самообороне.

Однако девушка уже поняла, что ее волосы — постоянный предмет насмешек — на самом-то деле прекрасны, что прекрасно и фарфоровое личико, и нежная кожа, и страстный рот. Прекрасны маленькие нервные руки.

Когда братья снова вытащили ее на танцы, она уже не выглядела столь свирепой. То была не обычная танцулька. Социал-демократическая молодежь устроила вечер с выступлениями, декламировали стихи, ставили пьески.

В зале звучит смех, но наша героиня хмурится: ей не нравятся ни Панталоне, ни Коломбина, ни за что на свете она не признается, что ей пришелся по душе Пьеро с черными усиками и белоснежными зубами. Его шуточки смешат ее, но она назло себе даже не улыбнется.

Сидит вместе со всеми, но ни на кого не похожа; на лбу выложен фестончик, как у любой фабричной девчонки, но воображает она себя принцессой Мимозой.

Начинаются танцы — она не унизится до того, чтобы пойти в круг с собственным братом. Уж лучше сидеть. Сидит долго, пока к ней не подходит улыбающийся Пьеро, и девушка с восторгом обнаруживает, что глаза у него — серьезные. У нее такое чувство, будто она наклонилась над колодцем, глубина притягивает ее, она рада бы оторвать взор, но вот уже кружится в танце. Ах, если бы она кружилась! Она нелепо раскачивается, спотыкается о собственные и чужие ноги, не может дождаться, пока умолкнет музыка.

— Да я и танцевать-то не умею...

— И я тоже...

Оба смеются. Это их первый и последний танец, больше они не делают даже попыток. Они ищут уединения, сидят на лавочках в парке, бродят по лугам, собирают пестрые осенние листья. Вместе с ними гуляют и сидят на лавочках поэты: Врхлицкий, Сова, Махар, Сватоплук Чех. Их любовь романтична и немножко старомодна. Молодой человек окружен ореолом тайны, он никогда не говорит про свою семью, не вспоминает школу, детские шалости, избегает вопросов. Он всего на два года старше, но уже совсем взрослый, уверенный в себе мужчина, он

знает, как выйти из любого положения, а если он весел, то сам по себе, и алкоголь тут ни при чем.

В маминой семье братья не особенно-то баловали сестер, съедали все, что плохо лежит, разыгрывали девчонок, как только могли, подставляли ножку, распускали вязанье, вытаскивали закладки из книжек, подсовывали обертку от вонючего сыра в коробку с девичьими сокровищами.

А этот чудной парень был совсем другой, его речи — деликатны, большие руки — нежны, как крылья бабочки, на каждое свидание он приносил то яблоко, то цветок, то гроздь винограда, картинку или книжку. Я так никогда и не узнала, чем привлекла отца гордая девчонка, быть может именно тем, что приходилось преодолевать препятствия, а может быть, хрупкостью и целомудрием или строгим воспитанием, чего ему самому недоставало.

Мама часто рассказывала нам о своей юности, мы сидели в темноте, не зажигая огня, лишь пламя печки беспокойно переползало со стены на потолок. Кисловато пахло яблоками. Мы пекли их на противне, в духовке, вытаскивали готовые в потемках, туго натянутая кожица блестела, а когда лопалась, обнажала душистую мякоть.

Я посыпала яблоки сахаром, облизывала обожженные пальцы и слушала мамины рассказы. Истории повторялись, обрастая все новыми и новыми подробностями. Папа обычно молчал, лишь иногда вставит словечко, другое, но сам рассказывать не любил, разве что какой-нибудь пустяковый случай из своего детства, никакими силами его нельзя было вызвать на откровенность, ни единым словом не выдавал он своих интимных чувств. Поэтому жизнь его долго оставалась для нас, детей, тайной, мама же была вся как на ладони.

— Экая болтушка, — добродушно вздыхал он, если мама в своей обычной неотразимой манере пускалась в воспоминания, и даже притворялся, что дремлет.

Неподвижная его фигура, освещенная неверным пламенем печки, воплощала для меня прочность домашних устоев. Он уютно устраивался в уголке в теплом полумраке, он был словно утес, вокруг которого ласково журчат и играют волны маминого рассказа.

Кисловатый яблочный дух, с кастрюльки на горячую плиту соскальзывает капля, она шипит и испаряется, вдруг скрипнет печная дверца, новая порция угля при-

кроет раскаленные угольки, сразу становится темно, огонь упорно сопротивляется, выбрасывает сверкающие пальчики или, неожиданно высунув свой драконий язык, переходит в атаку.

— Однажды я очень спешила,— рассказывает мама,— сама понимаешь, прибежишь с фабрики, посуду перемыть надо, картошки начистить, Вашек пристает, чтоб пуговицу пришила, отец ворчит: «Ты что это, девчонка, опять вечером на гулянку наладилась?», я мечусь от картошки к зеркалу. «Не вздумай без ужина лететь,— сердится мама,— и без того вся высохла, кожа да кости...» Я на ходу хватаю горячую картошку, а сама одеваюсь, нижнюю юбку развязываю, мы в те годы носили юбки на тесемках, иногда завязки так замотаешь, что и не развязать, надеваю чистую, на нее верхнюю юбку напяливаю, путаюсь в тесемках, быстренько причесываюсь, жакетик на плечи — и бегом.

По дороге мне все кажется, что-то вроде у меня не так, но останавливаться уже некогда. Вот уже ваш папа вдалеке стоит, в руках большое красное яблоко держит, я шаги сдерживаю, иду медленнее, пускай не воображает, будто я встречи не могу дождаться. Вот я останавливаюсь, беру у него это яблоко, и вдруг нижняя юбка соскальзывает и ложится вокруг ног, прямо на тротуар. Вся в заплатах! Пресвятая дева! И не слишком-то чистая! Я вспыхнула, хоть спичку об меня зажигай, хочу бежать, а ноги к земле приросли, с места не могу сдвинуться, слова не могу сказать. А ваш папа преспокойно, будто ничего и не случилось, слышишь, ну совершенно спокойно, нагибается, подбирает мою нижнюю юбку, заворачивает, откуда-то у него и бумага взялась, подает мне сверток и, как ни в чем не бывало, спрашивает, куда мы сегодня отправимся. Уж такой человек, ничем его не прошибешь, я потом выкинула свою юбчонку в первую попавшуюся урну.

Папа молчит — очевидно, давным-давно забыл эту пустячную историю.

— Еще почище был со мной случай зимой,— продолжает мама,— мы только-только начали встречаться, девчонка я была легкомысленная, ветер в голове, бегу, а про главное-то и забыла. Молодость да любовь.

Папа разгребает уголья, одна искорка отскочила, пролетела и погасла.

— Гуляем это мы, за ручки держимся, папа мне стишки на ухо нашептывает, а я только об одном думаю, коленки сжимаю, еле сдерживаюсь, тут ни один стишок, даже самый лучший, в голову не полезет. «Словно в утреннем бутоне, сверкает капелька росы»,— шепчет папа, а я думаю, может, в чужой дом забежать, да вдруг меня дворничиха погонит, вот стыдобища-то! «Сиянье неба, хрустальный горный грот!»— продолжает папа, а я не могу ему ничего объяснить, да и водит он меня по освещенным улицам, чтоб я чего плохого не подумала, а мне бы только в темноте оказаться, поближе к кустам, а сказать не могу! Что он обо мне подумает, ну, конец мне, о господи боже! Но вот оно, мое спасенье! Торговка сидит, каштаны жареные продает, юбки греет, он наверняка мне каштанов купит! Господи Иисусе, нет, не додумался, дальше шагает, я в отчаянии как будто издалека слышу собственный голос: «Погляди, каштаны!» Он, наверное, подумал, что я с придурью,— он мне про луну, а я ему про каштаны. Папа обрадовался, вернулся к торговке, я ведь в первый раз его о чем-то попросила. Хоть бы он помедленней шел, мечтаю я, а сама поскорее к канализационной решетке. Мы тогда юбки носили до земли, а панталоны ниже колен с разрезом, сами шили, тогда еще не было дамских штанишек, как сейчас. Готовые, фабричные штанишки были прямо революцией, а те, что мы сами шили, назывались скорострелками...

Загремел совок, хотя еще вроде бы рано, скрипнула дверца, папа подбросил угля, пламя на миг вырвало из темноты его лицо: недовольное лицо, а в прищуренных глазах сладкая печаль. Даже я чувствую, что все невозвратимо, все догорает, все уходит, я хватаюсь за мамин смех и карабкаюсь по его тоненькой ниточке, словно по лунному лучу.

— Папа вернулся с кулечком, а я уже повеселела, он, наверное, решил, что я голодна или еще что, а я обдираю скорлупки, грею руки и от радости чуть не прыгаю. Все бы ладно, да на дворе-то мороз трещит. Все мои юбки намокли и смерзлись, колом стоят, об ноги трутся. Я в тот вечер ноги до крови стерла.

— Болтушка ты,— усмехается папа.

И братишка заливается, как серебряный колокольчик.

Романтическая любовь быстро переросла в серьезные отношения. Подоспела пора, да и положено так у поря-

дочных людей, вступать в дипломатические отношения с родителями. Молодой человек не горел особенным желанием, и девушка это истолковала по-своему: ведь она принадлежала к самым низам общества — фабричная считалась ниже, чем прислуга. Мастеровые и ремесленники с приличным жалованьем, надеющиеся в конце концов обзавестись собственной мастерской, на фабричных работницах не женились.

Когда же она пригласила парня к себе домой, он пошел охотно: он уже знал ее братьев и сестер по партийной организации. Семья была бедная, но порядочная, бок о бок с изображениями святых на стенах висели портреты Маркса и Энгельса, на дедушкиной трубке вырезан был профиль Лассаля; хлеб запирали, книжки же стояли открытыми — бери кому надо. А еще здесь была бабушка, которую мой папа полюбил с первого взгляда, она суетилась по хозяйству, была маленькая, бойкая, веселая. Тепло этой дружной семьи делало его любовь еще более дорогой, желанной и недоступной.

Самого же его по-прежнему окружала тайна.

— У тебя родителей нет, что ли?— допытывалась мама.

— Угу.

— Что «угу»? Есть или нету?

— Угу.

— Они что-нибудь против меня имеют? Мать? Или отец?

— Почему?— ответил он вопросом на вопрос. И все же приоткрыл свою тайну.

— Это моя девушка, папа,— представил он ее однажды.

Мой дед глянул на смущенную девчонку своими прекрасными серыми глазами (совсем такими же, как и те, в которые она влюбилась), протянул ей руку, а так как был в хорошем настроении, бойко произнес: «Наше вам с кисточкой!» Это сногсшибательное приветствие запомнилось маме навсегда и придало смелости. С небес ее любовь опустилась на землю, избранник ее оказался существом отнюдь не возвышенным, он был еще беднее, чем она, и это лишь сблизило их.

В тот вечер он сдался наконец ей на милость и начал рассказывать о своем детстве, о своем доме. Об этом у нас никогда не говорили, кое о чем я догадывалась сама по обрывкам услышанных краем уха фраз. Мама решила

заменить ему отца и мать и создать настоящий семейный очаг.

Но подошла его пора отправляться на срочную военную службу, а это означало три года разлуки. Папу отправили в Боснию — Австро-Венгрия тогда аннексировала эти земли.

Любовь воплотилась в письма и открытки, вскоре они заполнили всю мамину коробку. Мама очень гордилась, что и на расстоянии сумела воспитать в папе хороший вкус. Вначале он слал обычные военные открытки, где изображался солдат на посту, мечтающий о своей возлюбленной, а розово-голубая возлюбленная витает над его головой в туманной дымке. Но вскоре императорско-королевскую патриотическую чепуху сменили виды городов, и наконец сердечные приветы и дорогие сердцу послания стали приходить на репродукциях художественных произведений.

Три года службы истекали в 1914 году, но влюбленным не удалось даже проститься перед разлукой, длившейся еще четыре года. Вскоре письма от папы перестали приходить совсем, а пришло известие от папиного товарища:

Уважаемая барышня, Павел дал мне Ваш адрес, перед тем, как пошел в разведку, чтобы я написал Вам, если он не вернется. Вот я и сообщаю Вам, что он пропал без вести.

Мама не верила, что он погиб, знала — Павел должен вернуться и вернется. Она и мысли не допускала, что никогда больше не увидит его, твердо верила, что силой своей любви вытащит его даже из могилы. Ее любовь превратилась в навязчивую идею, заслонила собой весь мир, без Павла не было ничего, жизнь потеряла всякий смысл.

Пламенная страсть — ненадежная основа семейной жизни. Далекий солдат с каждым днем казался ей все прекрасней, лучше, краше, на нем были сосредоточены все девичьи мечты.

А вернулся он, опираясь на палку, заросший, грязный, обовшивевший, со шрамом на шее. За семь лет из балагура, остряка и весельчака он превратился в задумчивого, молчаливого, мрачноватого мужчину.

Мама так и не сумела до конца простить ему такой перемены, ей казалось, что девичье свое целомудрие она

берегла для кого-то другого, и этот новый человек разочаровал ее. Она не отдавала себе отчета в том, что и ее тоже отметили годы ожидания и отчаянной бедности. Питалась она турнепсом и желудевым кофе, мерзла в очередях, надрывалась на фабрике, да еще ходила убираться за краюшку хлеба, которой делилась с младшей сестрой. Наступивший мир она встретила в опорках и отрепьях, исхудавшая до костей, с подорванным навсегда здоровьем.

А она полагала, что осталась такой же, как семь лет назад, и отец ее не разубеждал, ни разу не напомнил о неотвратимом беге времени, наглухо оградив себя от реальности розовыми очками иллюзий.

В детстве я не подозревала причины, а мама просто не понимала, почему это отец сидит, уставившись куда-то вдаль, целые часы может проводить за шахматной доской, задумчиво передвигая фигуры, почему вечерами, не сказав ни слова, уходит и возвращается поздно ночью. Ведь рядом любимая женщина, у него хорошая работа, семья — а этого он в жизни не знал — есть дочурка, о которой так мечталось, и сын, красивый, как картинка.

Отец никогда не говорил ни про военную службу, ни про войну, награды спрятал в мамину коробку для шитья, где лежали пуговицы и кнопки. И вдруг в один прекрасный вечер он разговорился.

Мы уже улеглись, в печке догорает уголь, розовые отсветы ползают по потолку, бархатный папин голос уносит меня в дальние края. Временами я засыпаю, убаюканная спокойным течением рассказа, и снова просыпаюсь, огонь в печке давно погас, уголья почернели, на окна опустилась ночная тьма, они уже засеребрились, порозовели, а папа все еще говорит, говорит.

Его рассказы вплелись в мои сны, папа выговорился за одну ночь, после нее в голове у меня засела мысль, которую я не осмеливаюсь высказать вслух. Я притворялась спящей в своей постельке, на спинке которой под краской прятался нарисованный ангелочек.

Мне мерещилось страшное — мой папа убивает людей, и потом я еще долго искоса поглядывала на его большие руки с ногтями красивой формы и уклонялась от их ласковых прикосновений.

Военная судьба отца сложилась непросто. Прямо с

действительной его бросили на русский фронт, он огляделся — и не долго думая перешел на сторону русских. Пережил голод и вшей в Дарнице, в лагере для военнопленных, потом поступил работать слесарем на киевский завод. Жилось ему преотлично, да только он рвался на фронт биться с ненавистной Австро-Венгерской монархией.

«Человек всегда чем-нибудь да недоволен, вот и мы в Киеве шумели, роптали! В Дарнице лопали чечевицу пополам с песком и бог его знает с чем еще, да к тому же холодную. Наберешь бывало ложку, высыплешь на ладонь, вторую гребешь; первую заглатываешь, вторую на ладонь высыпаешь. У кого ложку украли — тот считай пропал. А в Киеве нас, я говорю, у кого ремесло в руках, уважали, жарили-парили для нас чего душа твоя пожелает, будто никакой войны нет. Курятина, гусятина, бабы сметану несут, пирожки, мясо тащат, а мы ворчим: «Опять свинина, опять отбивные, надоело до смерти». Поди на всех угоди. На фронт наших собралась целая группа. Нам на прощанье обед закатили, да такой, что к хлебу никто и не притронулся, так и осталась на столе целая гора хлеба. Сам не знаю, как мне это в голову пришло, только я свой мешок развязал и весь хлеб со стола туда скинул. Ребята хохочут, за животики держатся, да только не так уж много времени прошло, а уже кто корочку просит, кто кусочек, а там глядишь, и все крошки подобрали».

На фронте папа пробыл недолго, уже в 1917-м, накануне сражения у Зборова[1], его настигла пуля дум-дум. Попала в ногу. Они отступали, и «братья»[2] бросили его, раненого, на поле боя. Он рассказывал, что его пытались унести, но, когда показалась венгерская конница, он сам попросил его оставить.

Папа утверждал, что ему уже ничем нельзя было помочь, но, видимо, именно в ту минуту в его душе проклюнулся первый росточек горечи и разочарования. Как ужасно лежать вот так, не имея сил пошевелиться, и смотреть, как близится неприятель, а друзья твои бегут без огляд-

---

[1] В ходе первой мировой войны 22 июня 1917 года недалеко от Зборова (ныне Тернопольская обл. УССР) чехословацкие воинские части сражались против немецкой армии на стороне русских.

[2] Обращение «брат» было принято в различных чехословацких спортивных и политических организациях.

ки. А ведь каждый из них отлично знает, что бросил товарища на позорную смерть, смерть на виселице.

Кавалерия промчалась над папой: кони — животные разумные, они не наступят на лежащего человека. Вслед за кавалерией шла немецкая пехота. Отец не потерял ни сознания, ни присутствия духа. Он сорвал с себя трехцветную ленточку и закопал ее в землю, форма на нем была русская. Быстро придумал себе имя: Иван Павлович Маргот, русский подданный, из немецких колонистов. Более года провалялся он в госпитале для военнопленных в Кошице. Там — вероятнее всего, именно там, под тенью виселицы,— он научился молчать. По-украински он говорил плохо, а по-немецки знал лишь слова команды. Там, в Кошице, он начал играть с русскими военнопленными в шахматы, часами длились партии на расчерченной от руки доске, передвигали вместо фигур камешки и бесконечно долго обдумывали каждый ход.

Там же он допустил неосторожность, которая могла бы кончиться трагически, но, к счастью, все обошлось благополучно. Папа рассказал свою историю чеху — офицеру австрийской армии, приехавшему инспектировать госпиталь, и попросил переслать письмо. Офицер не выдал папу, и письмо дошло в Прагу.

В Кошице папа встретил переворот[1]. Уже одиннадцатого ноября, через несколько дней после переворота, израненный солдат добрался до Праги. Но постучался он не в отцовский дом, а к своей девчонке, да так у нее и остался. Не по своей, а скорее против своей воли он попал на страницы газет — ведь папа был первым легионером, вернувшимся с русского фронта. Ему предлагали табачную лавку, место в канцелярии, место проводника, но он упорно от всего отказывался.

— Я как был рабочим, так рабочим и останусь,— отвечал он на все предложения.

Отец нанялся слесарем в железнодорожные мастерские, это была удача, и немалая, ведь хозяйство восстанавливалось медленно и многие демобилизованные сидели без работы. Возможно, папина угрюмость и рассеялась бы, возможно, к нему вернулось бы былое веселье, но дей-

---

[1] 28 октября 1918 года, в условиях военного поражения и начавшегося распада Австро-Венгрии, национальный комитет объявил о создании самостоятельного чехословацкого государства.

ствительность оказалась слишком суровой. Первые восторги сменились голодными бунтами, национализация не пошла дальше железных дорог, земельная реформа породила новых помещиков, наживались одни спекулянты, кое-кто ухитрялся зарабатывать даже на знаменах и трехцветных ленточках.

В двадцатом году отцу, как легионеру, предложили разгонять рабочие демонстрации на улицах. Отец сплюнул и заявил, что он не полицейский и против рабочих никогда в жизни не пойдет. Этот плевок не прошел ему даром и был занесен в отцовское личное дело, на том и кончилось его продвижение по службе, даже в старшие мастера путь был закрыт. К этому он отнесся в общем-то безразлично. Зато одно только предположение, что ему можно сунуть в руки оружие и послать расстреливать рабочих, было невыносимо. Понятие «рабочий» было для отца выше, нежели понятие «политическая партия».

Только много позже я поняла: он знал, что его предали. Предали царские офицеры, бросив в лагерь для военнопленных, предали братья-легионеры, оставив беспомощного на поле боя, тем самым обрекая на виселицу, предали социал-демократические главари, которые, ступая по лужам рабочей крови, тянули его в Народный дом[1], предал Масарик[2], чье правление началось с расстрела голодных людей.

Как сегодня, слышу я папин покорный, горький голос — в полумраке кухни он декламирует стихи Горы. Я притулилась в уголке, меня знобит, меня угнетает, что взрослые смотрят на все так скептически.

Что это — родина?
Страна, где все владеют всем.
Но за семью горами, за семью реками
Ее бесполезно искать.

Моя детская душа бунтует, не хочет верить, что все можно купить и продать за деньги. А как же тогда любовь? Мой жизненный опыт совсем иной, я люблю все, что

[1] В сентябре 1920 года полиция заняла резиденцию левого крыла социал-демократической партии — Народный дом в Праге. Руководство объявило всеобщую забастовку, в которой приняло участие около миллиона трудящихся. Правительство с помощью армии расстреляло и жестоко подавило забастовку.

[2] Масарик, Томаш Гаррик (1850—1937) — чехословацкий государственный и политический деятель, президент буржуазной Чехословацкой республики.

меня окружает: лампу, стол, папу и маму, маленького братца, тучи и луну,— и, будь у меня кошка, счастье мое стало бы полным.

И вновь меня подхватывает, уносит настойчивый, гнетуще-печальный голос.

Но и это не самое страшное.
Самое страшное,
когда твой голодный, несчастный брат
страждет вершины, страждет вечного праздника,
где тысяча пляшет на голове миллиона,
он хочет царствовать и хозяйской ногой
на шею твою наступить [1].

Мне ужасно хочется, чтобы папа зажег лампу — при свете с меня свалилась бы каменная глыба, не дающая мне дышать. Страдаю, жду, пока отец вздохнет и умолкнет и я вырвусь из тисков тяжелых слов. Я еще не знаю, что папу предаст и самый его любимый поэт...

Ключик к папиной душе я нашла совсем случайно. Не помню, сколько мне было лет, помню только — в школу я еще не ходила. Папа собирался на предновогодний вечер, и меня страшно удивило, что подарки там раздает не Дед Мороз, а люди сами дарят подарки друг другу. Мне это казалось бессмысленным.

— Но генералу ты ведь не можешь послать какую-нибудь чепуховину,— рассудила мама.

— Генералом он стал недавно.

— Давно или недавно, все равно, сейчас-то он генерал.

— Для меня он такой же брат, как и все наши.

— Еще бы! Так то для тебя. А сам он небось давно позабыл, как вы вместе грызли сухие корки.

— Нет уж, кто-кто, только не он, на него это непохоже!

— Ну, как хочешь, а только я их хорошо знаю. Может, купишь ему портсигар?

— Лучше какую-нибудь забавную вещицу.

— Забавную? Скажи на милость, что еще за шутки с генералом?

— Так ведь он же братишка.

В конце концов родители договорились. Мама купила отличный серебряный портсигар и даже отдала выгравировать монограмму генерала. Я благоговейно наблюдала, как папа заворачивает блестящую вещицу, к которой я да-

---

[1] Стихотворение Й. Горы дано в переводе И. Александровой.

же прикоснуться не смела, в тонкую папиросную бумагу.

— Ты бы хоть написал, что это от тебя,— предложила практичная мама.

— Болтушка!

— А как же он узнает, что это от тебя?

— А зачем ему знать?

— Ну ты и хорош! Я истратила все, что с таким трудом скопила, да еще перед самым рождеством, а твой генерал даже знать не будет, кто ему подарок сделал!

— Так ведь это же предновогодняя вечеринка.

— Иисусе Христе! Тогда хоть намекни!

— Гм-гм,— неопределенно хмыкнул папа. Он явно хотел, чтобы его оставили в покое.

На вечер он отправился в пиджаке, который надевал только на собрания. В этой одежде папа нравился мне больше: в пиджаке он казался ниже ростом и доступнее, чем в синей железнодорожной форме.

Серебряный портсигар не выходил у меня из головы, я все размышляла, какой же подарок генерал пошлет отцу, но это было уже выше моего воображения. В конце концов я решила, что генерал подарит папе коня,— гнедого коня с белой звездочкой на лбу и с серебряной уздечкой. До чего же здорово иметь своего собственного коня! Мы сможем держать его в городском саду или получим разрешение поставить его в конюшню.

Утром, когда я проснулась, папа уже ушел на работу. Коня он не привел, на столе лежал апельсин. Он сиял, словно солнце. Мама разделила его на дольки и посыпала сахаром.

— Не кислый?— спрашивала она заботливо.

Брат Павлик свою половинку съел, я спрятала кусочек за окно.

— А ты почему не ешь? — сердилась мама. — Опять для папы откладываешь? Рехнешься ты вместе со своим папой, вот что я тебе скажу

Не знаю, как прошел предновогодний вечер, папа ничего не рассказывал, но дело кончилось тем, что генерал пригласил папу к себе домой. Видимо, брат генерал обронил обычную, ни к чему не обязывающую любезную фразу, однако папа в тонкостях не разбирался. Для визита мы выбрали воскресенье, не слишком рано, потому что генерал, наверное, долго спит, не слишком поздно, чтобы генерал не подумал, будто мы явились к обеду. Я получи-

ла подробную инструкцию: не молчать, как зарезанная, но и самой первой не лезть с разговорами, отвечать на вопросы, если попросят — прочитать стишок, поздороваться, поблагодарить, если чем-нибудь угостят, не шмыгать носом. От волнения у меня даже ладошки вспотели.

Генерал меня разочаровал. Был он тощий, волосы редкие, торчат в разные стороны, одет в поношенный коричневый халат. Я никогда не видала мужчину в халате и была этим чрезвычайно смущена. Из-под халата торчали волосатые ноги в шлепанцах. Он провел нас в кухню, узкую, длинную, с облупившейся мебелью. Даже у нас дома мебель была лучше — каждую вещь папа самолично покрасил. Генерал, наверное, не умел красить.

— Твоя дочка, брат?

— Да, брат генерал,— ответил папа.—У меня еще и сынишка есть.

— Большая...

Моя симпатия к брату генералу сильно поблекла.

— Выпьешь, брат?

Брат папа неловко взял в свою огромную лапищу крохотную рюмочку, пригубил и поставил обратно.

— Вообще-то я не пью...

Мы все еще стояли.

— Не хотите ли присесть?

Стула было всего два, брат генерал остался стоять. И мы тоже.

— Проходили мимо, вот я и решил...

— Очень рад, что ты меня навестил,— перебил папу генерал,— я охотно вспоминаю давние времена, не могу ли тебе чем-нибудь помочь?

— Да нет, брат генерал.

— Может быть, работу получше?

— Нет, не надо...

— Или жилье?

— Зачем?— удивился папа.— У нас есть.

— Так что же тебе тогда надо, брат?

— Ничего, брат генерал, правда ничего...

Настала очередь удивляться генералу. Он глядел на отца и молчал. Отец, конечно, тоже молчал. Что касается меня, то мне разрешено было только отвечать на вопросы.

К счастью, защебетала канарейка. Я уже давно поглядывала на нее.

— Что, Маничка? Захотелось крылышки поразмять?

Генерал отворил клетку, и канарейка запорхала по кухне. Я от восторга разинула рот, папа бросил на меня строгий взгляд, и я быстро рот захлопнула. Канарейка летала вокруг лампы, лампа была с подъемным блоком, подобное сооружение я видела впервые в жизни и сама, своим умом дошла, что эта сложная стеклянная юбочка и есть лампа. Удивительно только, как это из нее не вытекает керосин.

Канарейка опустилась на поднятый генеральский палец, потом взлетела и обронила густую каплю прямо на генеральское плечо. «Уж лучше бы на генеральскую плешь»,— думала я. Генерал засмеялся и вытер халат платком.

— Ты действительно ничего не собираешься просить, брат?

— Нет, не собираюсь,— ответил папа.— Нам уже пора...

— Заходи как-нибудь, брат...

Папа молчал. В темной передней они пожали друг другу руки.

— Если что-нибудь понадобится, брат, — снова заговорил генерал,— не стесняйся, сразу заходи. Дай мне ручку, девочка.

Я подала ему руку.

— Нет, правую,— подсказал папа.

— Левая, от сердца,— хохотнул генерал и втиснул мне в ладонь какую-то бумажку!

Прежде чем я пришла в себя от изумления, мы оказались на улице. Дул ледяной ветер.

— Надень рукавички, пальцы отморозишь.

Я все еще сжимала бумажку.

— Слышишь? Рукавички у тебя в кармане.

Я держала бумажную денежку двумя пальцами, и она трепыхалась на ветру.

— Ты где ее взяла, как она к тебе попала? — накинулся на меня папа.

— Не знаю, он, должно быть, мне ее в руку сунул.

Папа побелел. Никогда еще я его таким не видела. Весь белый, глаза зеленые, на скулах вздулись желваки. В гневе он был страшен. Выхватив у меня из рук бумажку, папа пустил ее по ветру, денежка понеслась перед нами, налетела на фонарный столб, прижалась к нему, но

ветер тут же подхватил ее и подбросил вверх. Папа резко повернулся и потащил меня против ветра. Острые булавки кололи лицо, я оглянулась, но разноцветная картинка уже исчезла.

— Надень наконец рукавички,— устало сказал папа. Всю оставшуюся дорогу он молчал.

За обедом папа отгородился от нас газетой.

— Что, генерала дома не было, что ли?

— Был,— отвечала я вместо папы,— канарейка накакала ему на халат.

— Что за чепуху ты несешь?

— Нет, правда, мама, летала-летала и накакала. А буфет у них весь облупился.

— Вас что, в кухне держали? И вы сидели в кухне?

— Нет, стояли.

— Что-о?—охнула мама.—Вас держали в кухне и даже сесть не предложили? И ничем не угостили?

Я вдруг почувствовала, что не следует говорить правду, иначе я предам папу.

—Нас плюшками и шоколадом угощали, только я все время просилась домой.

— Да почему? Вот и бери тебя куда-нибудь, горе ты мое!

Отец молчит. Мне неохота заглядывать за ширму газеты, неохота есть, ничего неохота, перед глазами мельтешит радужная бумажка, гонимая ветром.

С той поры папа к «братьям» не ходил. Но все-таки всегда выискивал и находил зацепку, чтоб вырваться из дома, в котором ему было тесно. Мама не догадывалась, что́ за центробежная сила отрывает отца от семьи, ей так и не удалось понять самой основы папиной личности — непреодолимой жажды свободы.

Отец аккуратно, каждое первое число, отдавал ей деньги, но никогда не показывал выплатного листка, сердился, если мама вскрывала его письма или шарила по карманам, а если он доставал мелочь из кошелька, то всегда поворачивался к нам спиной. Дома делал лишь то, что ему самому хотелось делать, а если в маминых словах ему слышался хоть легкий оттенок приказания, он замыкался в себе, не поддавался на уговоры. Уходил и приходил, когда хотел и как хотел. Мама могла браниться, угрожать, умолять, но неизменно натыкалась на стену молчания.

Запомнились мне семейные сцены, разыгрывавшиеся во время выборов.

— За коммунистов голосовать будешь? — спрашивала мама.

— Голосование — дело тайное.

— Черт побери, неужели ты способен голосовать за соц-демаков?!

— А тебе известно, сколько нам пришлось бороться за всеобщее тайное голосование?

— Плевать я хотела! Мне-то ты можешь сказать, кого будешь избирать!

Отец улыбался, разъяренная мама доходила до белого каления, но так и не могла узнать его кандидатов.

Счастье им было отпущено ненадолго, да и то, что было отпущено, прошло в ссорах и спорах. Чего стоили все эти пустяковые распри по сравнению с двумя жестокими, страшными словами — «туберкулез позвоночника»?

В один прекрасный день мой красивый, озорной братик вернулся домой закованный в гипс, неподвижный, словно кукла. Папа принес его на руках.

Я не верила в его болезнь, думала — просто капризы. Ведь всего несколько дней назад мы на коленках стояли рядышком на деревянном сундуке и строили рожи Франтишеку и Беде.

— Бедя, Бедя, съел медведя,— дразнился Павлик и ударился лбом о стекло, да с такой силой, что, разбив стекло, едва не вылетел в окно. Он даже не оцарапался, зато я огребла подзатыльник, чтоб лучше присматривала за братом. Только вчера он перескочил дозволенную черту наших прогулок и бросился бежать. Я тащила его назад, но он вырвался и умчался, я догнала его лишь в Стромовке. Когда мы вошли в ворота, я начисто позабыла свои обязанности. На огромном круглом газоне цвели тюльпаны, они пламенели в ковре незабудок, я замерла перед этим чудом, этой неестественной, неземной красотой! Вверху перешептывалась листва, жужжали пчелы, щебетали птицы.

Павлик влез в самую гущу цветов, его ножки мяли голубизну, ручки обрывали красные чашечки, я не отваживалась вступить на газон, я звала его, кричала и расплакалась от собственного бессилия. Братишка тоже заревел.

Так нас и нашла мама. По голосам.

Как давно это было. Как давно!

Потемнела наша комната, ослепли окна, поседела белая краска буфета — над крышей без устали шуршат черные крылья.

Лишь братишка смеется в своем панцире, черные глазенки озорно сверкают, я стучу по гипсу, он кричит «можно», я снова стучу, он отвечает «входите» и заливисто хохочет.

Наш сосед бросает на время своих рыбок и приносит к нам инструмент и доски. Он строгает и красит. Благоухают стружка и олифа, папа приносит оковку и колесики, он пилит, режет, забивает, привинчивает. Я молча с восторгом наблюдаю за их работой, мчусь, чтоб поднять закатившуюся шайбочку, найти винтик.

В плите полуоткрыта дверца, на красных углях калится паяльник, я люблю ловкую работу мужчин, они не переговариваются между собой и лишь позвякивают инструментом. А меня восхищает рождение вещей.

Мама сидит, забившись в угол, и хрустит пальцами, глядя на нас глазами, полными ужаса. Ее глаза кричат, и мне хочется развеселить ее, я протягиваю ей чудесную благоуханную чурку, щелкаю около уха клещами, но, отпрянув от меня, она еще плотнее прижимается к стене.

— Мама, пить,— говорит братишка.

Мама вскакивает, хватает кружку и бежит к колонке, возвращается вся мокрая, расплескивает по полу воду и, приподняв брату голову, дает ему напиться.

Потом она ставит кружку на плиту, вода выплескивается из кружки, скатывается в шарики, которые шипят и подпрыгивают, чтобы исчезнуть навсегда. Мама берет мельничку и, как обычно (словно и не кружат над нашей крышей черные крылья), насыпает немножно кофе и побольше ячменя, сжимает мельницу в коленях и крутит ручку. Знакомый звук и знакомый запах словно хотят убедить нас, что ничего не стряслось, что счастье все еще мурлычет за печкой.

— Доски сухие, — нарушает тишину сосед, он, очевидно, полагает, что, раз тебя приглашают к столу, необходимо из вежливости промолвить хоть что-то.

— Значит, прочные,—усмехается папа.—Ну, Павлик, теперь покатаешься! Такой кареты у самого пана президента нет.

— На ней и до самой Стромовки добраться можно, да?

Мама бросает на меня отчужденный, укоряющий взгляд. Затаенный упрек уже никогда не исчезнет из ее глаз.

ВОЙНА С НАСЕКОМЫМИ

Мама билась, задыхаясь в паутине догадок, не в силах принять теории, будто какая-то микроскопическая бактерия может стать причиной столь тяжелого недуга.

— Бацилла укусила,— смеялись мы с братишкой, но мама упрекала себя: не надо было пичкать его шпинатом, а может, соус повредил или перинка из старых перьев.

— А он не падал?— допытывалась она у меня, у Франтишека, у Пепика и у маленького Беди,— вспомните, не падал с ограды? А со стула у тебя не свалился, Ярча?

Видимо, ей требовалось переложить вину на кого-то другого, на какое-то определенное лицо или обстоятельство, ушиб ей казался не столь ужасным, как затаившаяся болезнь.

— Иногда процесс прекращается,— врач оставлял ей последнюю надежду,— мальчику необходимы хорошее питание и воздух, чистый деревенский воздух.

Мама лишь ломала руки. Мысль о деревне повергала ее в ужас. Родителям и в голову не приходило, что можно выбрать красивый уголок где-нибудь под Прагой и снять там комнату. Может быть, не было денег, а может быть, умения. Все устраивали при помощи знакомых или родственников. Семьи были большей частью широко разветвленные, и всегда находился какой-нибудь подходящий родственник.

В первый раз помогла тетя Ржина, жена папиного младшего брата Венды. У нее была родня на Шумаве, и как-то летом она нас туда заманила.

Маленькая, проворная бабенка, она напоминала наседку. Без устали хлопочет с распростертыми крыльями, готовая защищать всех и вся. Цыпленок у нее был лишь один, маленький Венда, но тетя Ржина неустанно пеклась и о Венде-большом. Оба ее подопечных походили скорее на утят: уже давно не нуждаясь в опеке своей мамки, то и дело скрывались они от нее, и тетя напрасно и тщетно кудахтала.

Большого Венду, моего дядю, я не просто любила, я

его обожала, особенно когда подросла и мы переехали жить в Голешовице. Сейчас трудно даже представить себе, какой поднимался переполох и шум, когда мы играли на рынке или неподалеку от газовой фабрики и вдруг, затормозив машину, из окошка кабины высовывался дядя и звал меня прокатиться. Он работал шофером на грузовичке, но ведь и грузовичок — это все-таки тоже автомобиль, и я рассказывала подружкам необыкновенные истории о том, как я езжу на подножке, как мы столкнулись с поездом, как у нас провалился пол и нам пришлось отталкиваться от земли ногами, как мы слетели с моста в воду и автомобиль превратился в пароход. Дети мне не слишком-то верили, но машина все-таки была, и они ее видели собственными глазами. Иногда дядя забирал нас всех и катал по отдаленным улицам.

Дядя был точной копией моего папы, хотя намного моложе. Такое же лицо, такой же голос, лишь ростом поменьше, похудее и повеселей, словно был создан из какого-то более легкого материала. Если мой папа был кремень, то дядя Венда — резиновый мяч.

Так же как и моему папе, дяде необходима была свобода: он, например, не желал возить управляющего, отказался служить в кучерах у господ. На своем грузовичке он иногда отправлялся на прогулки, не забывая послать открытку с обычным текстом: «Сердечный привет посылает Венда из левого рейса». Несмотря на легкомыслие, дядя был отличным шофером, никогда у него не было и самой пустячной аварии, он удержался на работе в одной фирме даже в годы жесточайшего кризиса.

Он шутил, что в жизни ему везет. Больше всего ему повезло, что вопреки заботам моего отца он остался жив. Старший брат не гнал меньшого братишку, наоборот, таскал его с собой во все мальчишеские походы. Там, где малыш не поспевал, он брал его на закорки. Привязав к себе веревкой, лазал по отвесным скалам, спускался в пропасти, забирался на самые высокие деревья, девятилетним переплывал он Влтаву с двухгодовалым малышом на спине. И хотя каждый божий день Венда подвергался смертельной опасности, всю жизнь он льнул к старшему брату и любое серьезное решение принимал, лишь посоветовавшись с ним, хотя был достаточно самостоятелен. Думаю, приходил он к отцу, чтоб укрепиться в своем решении или почерпнуть силы.

У дяди была лишь одна мучительная забота, хотя нам, детям, она доставляла, пожалуй, удовольствие. На его руках в живописном беспорядке красовались синий якорь, спасательный круг, русалка, извивались змеи и прочие страшилища. Синие картинки нравились нам, но дядя показывал их редко и неохотно. Татуировку он сделал еще мальчишкой, желая казаться взрослым, вынес пытку, стиснув зубы, желая доказать, что и он уже мужчина. В те времена не умели сводить татуировку, и дядя не долго думая выжег ее кислотой так, что она исчезла с кистей рук. Правда остались рубцы, зато кожа стала чистой. Он носил рубахи с длинными рукавами и при посторонних никогда и ни за что на свете их не засучивал. Мне льстило, что я знаю его тайну.

Рубахи у него всегда были чистые, наглаженные, тетя Ржина славилась редкостной чистоплотностью.

У своих шумавских родичей она никогда не бывала и привезла нас в страшно грязную конуру. Мама эту нашу первую летнюю комнату вспоминала до самой смерти.

Деревня тонула в лесах, и дорога огибала ее на значительном расстоянии. В моей памяти то лето запечатлелось буйством красок, может быть, они казались более яркими на чистом воздухе или я просто научилась их замечать. Они буквально затопили меня: захлестывала волнами зелень разнообразнейших оттенков, светлая синева неба опиралась на темную синеву далеких лесов, среди сталью и золотом отливавших хлебов весело рдели маки, смеялись васильки и куколь, по небу плыли белые облачка, по двору бегали пестрые куры, петух расправлял на солнце радужные свои перья. Если дома я была одним большим ухом, здесь я целиком превратилась в глаз, поглощающий цвета и черпающий в них ощущение счастья.

Наши мамы не поддались очарованию красок, над навозными кучами жужжали целые полчища серых и желтых мух, стекла в окошках давно утратили первозданную прозрачность под бесчисленными черными точками. Нас атаковали мириады мух домашних, коровьих, навозных, оводов и еще каких-то ядовитых в блестящем зеленоватом панцире, блохи бесновались фейерверками.

Зловещими ночами наши измученные матери тщетно пытались успокоить орущих мальчишек, я в полусне то и дело слюнявила палец и терла то руку, то ногу, чтобы унять зуд. Мамы завешивали нас на ночь марлей, убере-

гая от мух, но с блохами справиться не было никакой возможности. Сельская фауна еще не привыкла к пражанам, и все разновидности животных вели себя по отношению к нам агрессивно: собаки облаивали, гуси шипели, одного чуть даже не забили до смерти веником, когда он вцепился мне в зад и наотрез отказывался отпустить.

Деревенская природа была в заговоре против нас, и наши мамы приходили в отчаяние от черной кухни, от молока, где плавали насекомые, от сахара, кишащего осами, от мяса, нашпигованного мушиными яичками. Вилок, ножей и тарелок здесь не полагалось, так же как и умывальников. Умывались без затей: из жестянки набирали немного воды в рот, прыскали в сложенные лодочкой ладони, обтирали лицо, одновременно прополаскивали рот, второй струйкой мыли руки. Так же экономно и практично ели из общего горшка похлебку; ложку, облизав, засовывали в башмак; картошку вываливали прямо на стол и ели руками.

Мяса летом не было, но частенько ловили в ручье раков, мне нравилось смотреть, как в горшок кидали зелено-коричневую живность, а доставали оттуда ярко-красную.

Я сидела во дворе, высасывала клешни и кидала собакам панцири. Было не то чтобы очень вкусно, но мне нравилось обрывать у раков ножки.

Мама написала отцу такое душераздирающее письмо, что он сел в поезд и прикатил за нами. Он вез на помощь тетю Марженку. До станции они добрались только к ночи, а тут еще поднялась буря с грозой, ливень слепил глаза, вокруг не видно ни зги, лишь сверкающие молнии вырывали на секунду из кромешной тьмы кусок дороги. Они плутали среди пней, кустарника, обрывов, сбились с пути окончательно и боялись потерять друг друга. Кругом гремело, выл ветер, мчались какие-то потоки, они брели по воде, промокли до нитки.

Тетя Марженка была маленькая и худенькая, она пряталась за папину спину. Когда они карабкались на пригорки, она висела на его руке, вниз спускалась сидя, съезжала по грязи и хвое. От усталости они дошли до полного отупения, все стало им безразлично, но они лезли, шли, карабкались, перебирались вброд, и лишь иногда кто-нибудь кричал:

— Ты еще здесь, Марженка?

— Где ты, Павел?

К утру, основательно попетляв, они добрались до нас. Пели жаворонки, петухи орали свое «кукареку», над лесом поднималось марево.

— По-моему, мы чуточку поплутали,—преспокойно сказал папа, — и сделали небольшой крюк, зато здесь — прекрасно.

— А мух-то, мух, — стонала мама, — а уж блох! Не уверена, что та гадость, ползавшая по моей руке, не вошь!

— Вошь намного лучше блохи, моя милая! Схватила— и дави! А попробуй поскачи за блохой! Или поймай муху!

Папино спокойствие только раздражало маму. Она забрала Павлика и уехала с папой домой. Меня оставила в деревне на попечении тети Марженки.

Вместе нам было очень хорошо. Просто замечательно! Мы ходили по грибы, и я нашла здесь свой первый боровик (тетя мне дома нарисовала его), собирали цветы, наблюдали за красивыми синими и зелеными мухами, ловили бабочек. Возможно, за то буйство красок, которое я долго и бережно храню в памяти, я должна быть благодарна именно тете Марженке. Она сумела насытить цветом мой черно-белый мир. До сих пор мое внимание привлекала лишь форма вещей, но стараниями тети абрисы заполнились краской, все ожило, все согрелось.

Я перестала обращать внимание на царапины и волдыри, уже не боялась ни собак, ни гусей, тетя перенесла их на бумагу, и животные сразу же стали ручными, заулыбались, и вот уже мир стал безопасен.

И все же здесь, в деревне, я впервые столкнулась с жестокостью жизни. До сих пор гвоздем сидит в моей памяти страшная действительность, окрашенная в яркие цвета,— сверкающая желтизна поглощается тьмой.

Крохотная желтая птаха прыгала и чирикала, и вдруг неожиданно появилась кошка. Стряслась беда! Я нежно любила и птичку и кошку, мне было трудно рассудить, кто прав, а кто нет. Оцепенев, я наблюдала за трагедией. Тетя сразу же начала импровизировать:

Наша кошка-недотрожка
поймала птичку у сторожки...

И песня продолжалась:

Откусила крылышки,
теперь не полетит,

Откусила клювик,
теперь не запоет ...

Я пела вместе с тетей, добавляя все новые и новые четверостишия, и удивительное дело — только что разыгравшаяся трагедия стала казаться мне вполне естественной. Кошку я простила. Ведь шерстка у нее была такая мягкая, такая шелковистая!

Наступило следующее лето, но мама и слышать не желала о радостях деревенской жизни. Доктор же снова порекомендовал вывезти брата на свежий воздух, и она скрепя сердце согласилась.

На сей раз на помощь пришла тетя Тонча. Ее родство с нами было, пожалуй, спорным, но я не могу представить своего детства без тети Тончи. У бабушки была однаединственная родная сестра, и, как это случается в жизни, одной аист приносил детей каждый год, другую же облетал стороной. Аисты — птицы неразумные, они приносят младенцев на окошко беднякам, им в голову не приходит, что можно заглянуть и к тем, кто живет в достатке.

Супруги старели, дом был — полная чаша, и они начали поглядывать, нет ли где ребеночка, который сможет заполнить пустоту в доме. Случай послал им двух маленьких чужих друг другу девчушек: Тонинку и Трудинку. Тонинка была блондиночка с карими глазами, Трудинка — голубоглазая и черноволосая, обе писаные красавицы. У обеих была упругая, блестящая кожа, неподвластная времени, уже бабушками обе оставались свежими, розовыми и моложавыми. Прекрасную кожу унаследовали и их дети, видимо, тут сыграла роль не совсем обычная пища.

Их приемный отец, мой двоюродный дед, работал мясником на бойне и ежедневно таскал домой полотняный мешок, сочащийся кровью. Алый след, вызывая во мне ужас, тянулся за ним от Голешовиц до самой Летной. Каждый день дедушка варил детям суп из здоровенного куска мяса и собственноручно стряпал печеночные кнедлики. К ним подавались булки или пончики, внуки получали к этому еще и шоколад. Все они, пышущие здоровьем, могли служить рекламой рационального детского питания.

Дедушка четко делил мир на своих и на чужих. Своим не пожалел бы и собственной крови, чужим, не моргнув глазом, дал бы умереть с голоду. Своими были Тонинка и

ее Карлоушек, Трудинка со Зденечеком и покойная жена; чужими — Пепик, Бетка, Ярка, чужими были, естественно, и зятья.

Гостям не подавали ничего, зато своих он потчевал без устали — «ешь, Тонинка, ешь, Карлоушек, ням-ням, Зденечек». Лишь однажды душа у него дрогнула и он налил мне тарелку своего знаменитого супа (конечно, шоколада мне не предложили), но я не была привычна к таким крепким наварам, мама покупала всего четверть фунта мяса, и суп показался мне соленым и кислым, и, отхлебнув две ложки, я отодвинула тарелку.

С тех пор я дедушке и вовсе опостылела: даже выражение лица у него менялось, когда он переводил взгляд с Карлоушека на меня. Каждый день он являлся к тете Тонче со своим кровоточащим узелком, разворачивал мясо, усаживался на стул и любовно глядел на воспитанницу и на внука, то и дело утирая прозрачную капельку, набегавшую под носом. Когда клетчатый платок становился мокрым, он вешал его для просушки возле печки. Мне становилось противно, но тетя обладала добрым нравом и никогда ему ничего не говорила.

Обе приемные дочки были многим ему обязаны, он рано овдовел, но нежно заботился о девочках, кормил своим знаменитым супцом и одаривал всем, что их душеньке угодно. Тетя Тонча жила у своих приемных родителей с пеленок, но в деревне у нее остались родные мать и сестра. Родная мать от ребенка не отказалась, изредка спрашивала в письмах, как живется Тоничке, о себе же сообщала, что ей-то живется ох как плохо и не помешала бы ей небольшая сумма денег — в долг, конечно.

Много позже я спросила у тети, любит ли она свою родную мать.

— Моя родная мама умерла,— сказала она откровенно.— А эта — совсем чужая женщина. Но что я могу поделать?

Когда речь зашла о даче на лето, тетя Тонча написала в Льготу и сразу же получила приглашение.

Льгота была настоящей деревней, пропахшей здоровым навозным духом. Дремучие добржишские леса находились в стороне, купания никакого. Зато и тут тучи мух и полчища всевозможных насекомых.

Тетя поселилась «дома» и все получала у своих «даром», что на самом деле означало много дороже, чем у

чужих. Обе женщины, мать и сестра, пожирали ее жадными глазами и восклицали:

— Ах, Тоничка, до чего же красивая у тебя шляпа!

— Тоничка, что за сережки у тебя!

— Тоничка, какое у тебя чудесное платье!

Понимать это надо было следующим образом: шляпку надлежало снять и отдать, сережки вынуть из ушей и отдать, платье — подарить, что тетя и делала. На меня же эти две замученные работой женщины нагоняли страх — мучили подозрения, что они, того и гляди, сдерут с тети не только одежду, но и кожу.

Но тем не менее они по-своему любили ее, хвастались ею перед всей деревней — ведь на них падал отблеск красоты этой дамы и ее прелестного, всего в кружевах, ребеночка.

Мы в фанерной халупе уместиться не смогли и поселились в трактире. Трактирщица приняла нас в свою семью, была приветлива и не скаредна. Оплата звонкой монетой считалась в деревне редкостью.

У бедняги хозяйки были выпученные, как у рака, глаза. Я с интересом следила за ней, ожидая, когда они наконец вывалятся совсем, и тогда я смогу хорошенько их разглядеть. К сожалению, трактирщица почти ничего не видела, и кухня кишмя кишела всевозможной крылатой и усатой пакостью. Как только хозяйка растапливала огромную изразцовую печь, из нее дружно выползали целые полчища тараканов различной величины; кошки, уже обожравшись ими, лишь изредка лениво загребали лапкой какого-нибудь ротозея, сбрасывали рыжего усача на пол. Мне доставляло удовольствие наблюдать за тараканьим племенем: чем больше нагревалась печь, тем быстрее метались прусаки, носились взад-вперед и, гонимые инстинктом самосохранения, бросались с раскаленных плиток или стенок духовки прямо в кастрюли с варевом.

Хозяйка с радушной улыбкой подавала кофе, где плавали уже утонувшие или еще цепляющиеся за жизнь муравьи; суп, где нашли свою смерть мухи и грибные, а то и мясные черви; жареных вместе со шкварками золотистых тараканов, тех, что искали спасенья на сковороде.

Мама по доброте душевной не находила в себе мужества упрекнуть подслеповатую хозяйку, пыталась приглядывать в кухне сама, но справиться с ползающими и летающими насекомыми была не в состоянии. Вскоре мама

рассудила, что трактирщица должна благодарить судьбу, отнявшую у нее добрую половину зрения.

Мы искали спасения на природе. Тащились по жаре, по пыльной дороге; наши мамы шли рядом (изредка нас обгоняли лошади или волы, запряженные в телегу), беседовали, толкая перед собой коляски. В одной сидел Кая, разряженный, как девочка, в другой в своем гипсовом ложе лежал Павлик. На глаза ему накидывали платок от солнца, но, услыхав грохот телеги, он платок сбрасывал.

Мальчики беспрестанно ссорились:

— Это мое телега.

— Это мое телега.

— Это мое лошадь.

— Это мое лошадь.

— Это моя дерево.

— Это моя дерево.

В азарте спора один не слушал, что говорит другой.

Мамы забывали обо мне, а я, заглядевшись, не замечала, что отстаю. Мне нравилась мягкая пыль, которая так приятно просеивалась сквозь дырочки сандалий и ласкала пальцы, я разувалась, ступни оставляли четкие следы, муравей барахтался в отпечатке моей ноги, и, чтобы помочь ему выкарабкаться, я протягивала ему соломинку. Как можно было пройти мимо отслоившейся от ствола коры — там притаился жучок, и я ждала, когда он вылезет. Тут я замечала перышко — оно одиноко лежало на траве. Положив его на ладошку, я дула — перышко взлетало и, кружась и покачиваясь, опускалось на землю. А как аккуратненько выстроились зернышки в колосе! Одно я вытащила из гнездышка и прикусила зубами, на языке остался вкус хлеба и молока. А совсем внизу, у самой земли, в хлебах росли цветы, совсем крохотные, кукольные, махонькие-махонькие. Я не знала их названий, но глаза мои превращались в микроскоп, и я различала самые тонкие оттенки каждого лепестка, видела четкий рисунок этих диво-дивных трав, весь этот ни на что не похожий крохотный мирок. А одна-единственная капля росы, сохранившаяся с утра в цветочном венчике, приводила меня в восторг.

Мне необходимо поделиться с кем-нибудь моими открытиями, но дорога пуста, капля росы пролилась, в отчаянии я бегу и кричу:

— Мама-а-а, подожди-и-и меня-я-я!

Я приближаюсь, и Павлик передразнивает меня, повторяет мой отчаянный вопль, к нему присоединяется и Кая.

Мамы останавливаются. Я догоняю их и некоторое время шагаю рядом с колясками, но вот под моей ногой хрустнуло яблочко-падалица, я нагибаюсь, беру его в руку, зернышки у него маленькие, белые, я откусываю кусочек и тут же выплевываю горькую слюну. Почему яблоко не осталось на дереве? Почему мама-яблоня сбросила его? Или это сделала красивая яркая птичка? Откуда она прилетела? Когда я вырасту большая и у меня будет свое королевство, я поселю в нем разных пестрых птичек и бабочек, ящериц и стрекоз и мышек в серых шубках. Я вспугнула белую ночную бабочку, она красивее, чем мотылек, а главное, ее можно поймать, я разглядываю ее глаза и усики.

Мамы с колясками скрылись за поворотом дороги, меня охватывает страх, я совсем одна на белом свете, я бегу и падаю — мои колени и локти не успевают заживать, — я поднимаюсь и ору:

— Мама-а-а, подожди-и-и, мама-а-а!

Коляски вторят мне двухголосым эхом. Иногда я настолько увлекаюсь созерцанием, что маме приходится возвращаться за мной, она дает мне очередной подзатыльник и тащит к тете Тонче, которая присматривает за обоими разбушевавшимися мальчишками.

Несмотря на палящий зной, тетя Тонча свежа как роза. Золотистые волосы красиво завиты, большие карие глаза глядят на мир с детским удивлением. Она сама шьет себе платья и всегда выглядит так, будто только что сошла с модной картинки. Ее прелесть завораживает меня. Глядя на нее, я ощущаю всей кожей, до чего же я чумазая, сопливая и зареванная, и пытаюсь вытереть лицо грязными руками.

— Невозможная девчонка, — с отвращением говорит тетя.

— Что мне с ней делать? — вздыхает мама. — Ну просто дубина какая-то, никак не пойму, в кого она такая уродилась!

Они начинают перебирать родню с маминой и отцовской стороны, чтобы добраться до истоков моих дурных наклонностей, я сначала слушаю их, но тут на моем пути встает репейник. До чего же хорош! Листья кружев-

ные, зеленые колючки и фиолетовая корона! Над душистыми цветами жужжит полосатый шмель и потягивает сладкий сок. В моем королевстве будут и шмели, только без жала. И пчелы, и воинственные осы, но свое опасное оружие пускай оставят у входа.

— Мама-а-а! Подожди-и-и меня-я-я!

Иногда мы проходим мимо крестьян, работающих на полях. Женщины выпрямляются и, заслонив глаза ладонью, долго смотрят нам вслед. Мы здесь первые «дачники». Скорее всего, и последние.

Вопреки своим убеждениям мама, вторя тете, здоровается с ними, взрослым вторит эхо из колясок:

— Бог в помощь!

— Пошли господь бог, — отвечают крестьяне.

Грудные младенцы ревут или спят прямо на межах или в бороздах между ботвой картофеля, малыши играют тут же, на них грязные платьица, и мальчишки и девчонки без штанишек. Дети постарше помогают взрослым. Они шипят свое «Бусс» — так звучит произносимое скороговоркой пресловутое, затрепанное, но прочно укоренившееся здесь приветствие: «Благословен будь, Иисус Христос!»

Новое республиканское приветствие «добрый день», уже прочно установившееся в городах, сюда, в Льготу, еще не дошло.

Тетина шляпка, большие глаза и мамины развевающиеся волосы иногда пугают крестьянок, они поспешно утирают детские мордашки подолом, что является испытанным средством от дурного глаза.

У картофельного поля мы натыкаемся на тетиных родных: они полют и складывают сорняки в корзину для корма. Даже сорняк не должен пропадать даром. Им кормят гусей.

Изнуренная, беззубая старуха протягивает свои до крови израненные руки.

— Видишь, Тоничка, почему я отдала тебя из дому, погляди на меня, погляди на свою сестру, и ты была бы такая же, если б осталась здесь.

— Ага, ага, — подхватывает сестра, — тебе повезло, что ты отсюда вырвалась, здесь только и знай, что гни спину от зари до зари.

Тетя холодно и отчужденно молчит. Мне жутко, я не знаю, кто из них прав. И не могу себе представить, что

эти три существа могут быть хоть чем-то связаны между собой, мороз пробегает по коже от ядовито-сладкого голоска, скользящего по ледяной корке равнодушия. Я приседаю и прячусь в бороздах, тетина шляпка и мамины развевающиеся волосы скрываются за горизонтом, я вскакиваю и мчусь вслед за ними.

В Прагу мы возвращались бесславно: тетя в последнем платье, мама — кожа да кости, она так и не сумела побороть отвращения к деревенской пище. Мама и представить себе не могла, какой сюрприз ожидал ее дома.

Папа получил от железной дороги квартиру в рабочем районе. Это было удобно, недалеко от его работы, можно было прибежать домой пообедать.

— У тебя будет отдельная кухня и комната. Кухня маленькая, зато комната преотличная. И у каждой семьи свой садик.

— Ну да-а? — недоверчиво протянула мама.

Это было слишком уж заманчиво, она предчувствовала какой-то подвох. И не ошиблась. Я же страдала оттого, что так и не видела наше новое жилище в первозданном его виде. Папа прежде всего поменял полы, источенные древоточцем, и разорил плиту, где ютились тучи черных и рыжих тараканов.

Но и эта мера не дала желаемых результатов: мама еще долгие месяцы терла, скоблила, сыпала порошки, раскладывала шарики, вешала липучки — тараканы пугали нас своими усищами, появляясь из невидимых щелок в самые неожиданные и неподходящие моменты.

— Я тут рехнусь, — кричала мама, — и это у тебя называется комнатой и кухней!

— А разве тараканы—это клопы?—отбивался папа.— Ведь они же тебя не кусают? Сами рады, что успели удрать! Просто жуки, как всякие другие жуки.

Да, это так. Если подходить к вопросу объективно, тараканы действительно жуки, и жуки очень черные, очень усатые, а впрочем, даже довольно красивые. Не могу выносить лишь, как они хрупают под ногами.

Я искренне хотела бы уничтожить их, но просто не в состоянии додавить до конца, я отскакиваю, и полураздавленный таракан крутится по полу; круговое движение черного по красному кирпичу приковывает мой взгляд, я зажмуриваюсь, вытягиваю ногу, чтоб прикончить его муки, но не могу и удираю.

— Крысы тебя не устраивают, — вздыхает папа, — тараканов ругаешь, я просто не знаю, чего же ты все-таки хочешь?

В Бубенече крысы плодились и размножались в конюшнях и лезли в наши дома, в Голешовицах они потрусливей, прячутся в канализации. Зато тараканы неистребимы.

Однажды явилась расфуфыренная тетя Тонча; таракан, оторвавшись от косяка, свалился ей прямо на новенькую шляпку. У тети легкий характер, она без смущения стряхнула его и раздавила.

— Как слива, — промолвила она с удовольствием.

Мама ломает руки: что, если в гости придут какие-нибудь нужные люди? Но она зря беспокоится, к нам навряд ли может прийти кто-нибудь, не знающий, что такое тараканы.

Думаю, что никакие силы не принудили бы маму сменить тихий и зеленый Бубенеч на задымленные Голешовице. Но ни деревенский воздух, ни хорошее питание Павлику не помогли, врач направил его в больницу в Лужи-Кошумберк. Маму убивала пустота в доме, тысячу раз на день выглядывала она в окно, надеясь увидать мальчонку, карабкающегося на забор или спускающего червяка в канализацию.

Маме необходимо было убежать от воспоминаний, уйти оттуда, где она была счастлива. Ее война с насекомыми на самом деле была борьбой против судьбы. Мама терла и скоблила, чтобы прогнать тени, чтобы воспоминания перестали терзать ее.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Не помню точно, когда братишка исчез из моей жизни. Вдруг его не стало рядом, и я не почувствовала утраты. Меня захватили новые впечатления. Безболезненно прошла и разлука с товарищами; Пепика я потеряла из виду — навсегда, Франтишека встречала восемь лет изо дня в день в коридоре гимназии. Мы проходили мимо, не здороваясь, наши детские «играй, играй, играюшки» воздвигали между нами непреодолимую стену.

Новая квартира очаровала меня. Новая плита, новый, выкрашенный коричневой краской пол, свежеокрашенные

стены, в кухне на стенах — яблоки и груши, в комнате — красные розы.

И садик, свой собственный, здесь пахнет землей и привядшей мятой. Клумбы обложены чурками, отодвинешь— а по глине мечутся серые мокрицы, я хватаю одну, но она сворачивается клубочком.

За садиком, возле шоссе, стоит дерево. Такое могучее, что обхватить его я не могу, кора содрана, ствол весь в мозолях и наростах, он кажется мне железным. С костистых ветвей свисают плоские коричневые стручки, дерево я ощущаю как нечто враждебное.

Более всего в новой квартире меня завораживает водопровод: повернешь кран — и в эмалированную раковину с шумом хлынет струя воды. Я подставляю под струю руку, брызги разлетаются по выбитому кирпичному полу, я призываю источник к порядку, и вода, послушная моей руке, течет совсем тихо, как я того хочу. Я пытаюсь заткнуть дырку в раковине, рука зябнет, передник намокает, в ботинках чавкает вода.

И уборная тоже для меня настоящий аттракцион, новая забава, я сталкиваюсь с таким достижением цивилизации впервые: потянешь за грушу на цепочке, и вода с легким шумом, словно набираясь смелости, вдруг вырвется наружу, а потом льется, спокойно журча. Я слушаю ее и пою длинные, бесконечные песни с десятком куплетов: «Осиротевшее дитя», «Балладу про водяного», — я фальшивлю, но пою с чувством, иногда, потянув за цепочку, даю разыграться буре, а кто-то бунтует снаружи.

Водопровод и клозет у нас общие с другими жильцами, мы живем на первом этаже, на второй ведет деревянная лестница. Наша верхняя соседка — вдова, краснощекая и пышная, я не слишком-то ей доверяю, я знаю, что вдовы ходят в черном и скорбят, а наша соседка постоянно звонко смеется. У нее два взрослых сына. Но я не различаю их, для меня оба на одно лицо.

Мы переезжали в самое серое время года, над домами нависло душное небо, и все здесь казалось чужим. Деревья, люди, заборы, дороги. Я бреду все дальше и дальше, я ищу хоть какую-то точку опоры, но домики все одинаковы, что один, что другой: обшарпанная штукатурка, жалкие палисадники, подслеповатые оконца. И над каждым — тяжелая туча, вот-вот навалится и все раздавит.

В Бубенече меня знали все, а здесь никто не замечает, никто не спросит, что поделывает мама, как дела у брата, даже дети избегают меня: мальчик пускает змея, девочка внимательно следит за своим мячиком, карапуз катит обруч.

Меня душит страх, может, я исчезла из этого мира, может, меня вовсе и нету, если на меня никто не обращает внимания. Я не реву, ни у кого не прошу, чтоб мне показали дорогу, я терпеливо пробираюсь переулками. Но смятение мало-помалу проходит, я уже знаю, что мы живем рядом с широким шоссе, где стоит то самое железное дерево и два белых столбика, запрещающие проезд машинам.

Здесь ездит лишь мусорщик на своей несчастной, загнанной кляче, он звонит в колокольчик, и хозяйки или ребятишки сбегаются с полными ведрами и выбрасывают мусор в грязный, зловонный кузов его повозки.

Я плетусь потихоньку и уговариваю себя, что вовсе не боюсь — я ведь большая, я непременно найду нужный дом. А вот и она, широкая дорога, тумбы, корявое дерево, беседка в соседнем палисаднике («если хочешь, можешь там играть»). Я заглядываю в окно, вижу розы на стенах, плетеные стулья, коричневую кроватку с проступающим сквозь краску ангелочком.

— Ты где была?

Как мне хочется броситься к маме в объятия и расплакаться, но я лишь не спеша подхожу, делая вид, что ничего не случилось. И пожимаю плечами.

— Садись есть.

Есть! Вот это действительно ужасно. Любая еда для меня мучение. И сегодня еще ощущаю на нёбе липкие чешуйки говяжьего жира. Они вездесущи. Ем медленно, кружочки жира в супе застывают, жир вылезает из картофельной похлебки, из тминного соуса, который уже успели отведать таракашки, из грибной подливки, засыпанной манкой. Я уже не говорю о еще более отвратных кулинарных изощрениях, как, скажем, каша из сухарей или хлёбово из размоченной в молоке булки.

Меня поражает, с каким аппетитом папа уплетает суп, да еще крошит в него хлеб; у меня каждый глоток становится поперек горла, бульон успевает застыть и загустеть, пока я доношу ложку до рта. Осенью вместо супа мы едим капусту, морковь или брюкву, заправленные жирной

подливкой. Сырых овощей мама мне не дает, потому что я не кролик и вдруг они мне повредят.

Я управляюсь с супом, налитым до самых краев тарелки, и ощущаю, что все кишки слипаются, и новая тарелка вызывает у меня отчаяние. В понедельник мы едим мясо, оставшееся от воскресного обеда, с соусом и кнедликами. Соус — из укропа, из хрена или томата. Когда мама стряпает томатный соус, крик начинается с самого утра: я научилась проделывать дырки в помидорах и высасываю мякоть, оставляя оболочку.

— Девчонка отравится, — пугается мама, — ведь в сыром виде они ядовитые.

— Не болтай зря, — защищает меня отец. — В России помидоры едят именно сырыми — и ничего!

Во вторник мы доедаем оставшиеся кнедлики с повидлом — повидло я еще кое-как терплю. Но кнедлики ненавижу: они имеют свойство разбухать у меня во рту, и, чем дольше я жую, тем больше их становится. Со временем я нахожу выход, просто выплевываю их в уборную. И конечно, не обходится без замечаний, мама пускает в ход и руки, ибо во время еды не полагается ни разговаривать, ни пить, ни вертеться, ни раскачиваться, а главное— запрещено вылезать из-за стола.

В среду у нас варят горох или чечевицу и поливают ее ужасной гадостью: салом с жареным луком. Когда я представляю себе ад, то воочию вижу, как черти жарят в котлах лук и по всему миру идет невыносимый смрад. Эта мерзость бывает и в субботу, но уже на картофельных кнедликах. Папе, представьте, эта еда очень и очень по вкусу.

В четверг мы едим картошку с жареной колбаской, гуляш из кровяной колбасы или сосиски с картофельным пюре. Папа жалуется, что растрясет картошку, не дойдя до работы, и потому на нашем столе она появляется так же редко, как и рис. Пятница — день праздничный: на столе сдобные кнедлики, блинчики, оладьи. В субботу после обеда мама печет, но из-за папы булочки с трудом доживают до воскресного завтрака. По-моему, в него за один присест входит целый противень. Маме это льстит, папин аппетит вознаграждает ее за полное отсутствие его у меня.

Иногда воскресный обед бывает еще ничего, более или менее терпимый, например картофельный салат с отбив-

ной или картошка с кусочком телятины, но традиционную свинину — с кнедликом и с капустой — с превеликим отвращением я жую по три часа кряду.

— Знаешь, сколько детей ели бы это с удовольствием? — возмущается мама.

— Войну бы тебе пережить, — вздыхает папа.

В воскресенье к ужину мы едим хлеб с холодной грудинкой, в субботу мама посылает меня в Осадень за обрезками дешевой колбасы или на Роганскую за котлетами. А вообще-то у нас любую еду заменяет кофе с хлебом. Кофе мне отвратителен: он приторно сладкий, с ошметками пенки, от которой так противно щекочет в горле. Родители в воспитательных целях не разрешают мне процеживать кофе, и мама упорно подкладывает в мою чашку сахар, потому что я худая, просто драная коза.

Вот я и цежу кофе сквозь зубы, тошнота подступает к горлу, под столом катаю шарики из хлебного мякиша и постепенно совершенствуюсь в этом занятии: я леплю грибы, мышек, кошек и собак и стараюсь, чтобы папа не заметил этих произведений искусства.

Как только мне разрешают вылезти из-за стола, я радостно вскакиваю, мчусь в палисадник, устраиваю состязания мокриц, мне очень нравится смотреть, как спугнутые мокрицы постепенно приходят в себя, разворачиваются и бегут на своих бесцветных ножках.

Палисадников всего четыре, на каждый подъезд по два.

Наш — в середине, с одного боку соседкин, там стоит деревянное распятие, и туда можно ходить без спроса, с другого бока — палисадник с собачьей конурой. Собака желтая, как булка, я знаю, как ее зовут, но, с тех пор как докторская Зорка тяпнула меня за коленку, отношусь к этим животным с недоверием.

Меня интересует Фаноушек: у него щечки как яблочки и ранец с оленем. Из ранца свисает бечевка, на ней раскачивается губка, все вместе так прекрасно, что во мне растет желание с ним заговорить.

У него есть две младшие сестры: Кветушка и Аничка, я с ними уже подружилась, но что мне до них, раз мальчик меня не замечает.

Фаноушек в садике один, свой великолепный ранец он положил на лавочку, щеки его пылают, я подгоняю своих мокриц-гонщиц, громко подбадриваю их, но Фаноушек,

не глядя на меня через низкий забор, роется и роется в своем ранце.

Я просто не в состоянии вдруг, ни с того ни с сего заговорить с ним, я чувствую, что так поступать нельзя.

— Бела! — зову я собаку. — Бела, Белочка! Поди сюда, малышка, поди!

Я замираю от страха, но глажу желтоватую собачью шерсть.

Фаноушек — ноль внимания.

Он оставляет ранец и усаживается. Глаза у него блестят, щеки пунцовые, как редиска, и мне это ужасно нравится.

— Не кусается? — расхрабрилась я наконец.

Фаноушек мотает головой и прижимает руку к горлу. Он странной неуверенной походкой уходит, натыкаясь на калитку.

Потом оборачивается и снова берется за горло, его блестящие глаза полны ужаса.

— Еще придешь?

Он не отвечает. Ранец с оленем остается лежать на лавке. Я не осмеливаюсь перелезть через забор и порыться в нем.

Вечером приезжает машина с красным крестом, не обращая внимания на тумбы, она встает под самой акацией. Событие воистину чрезвычайное, все жильцы высыпают на улицу. В узких проходах толпятся соседки в застиранных домашних платьях, прячут руки под передники и переговариваются.

Автомобиль с красным крестом увез Фаноушека и Кветушку.

— У них дифтерит, — хвалится самая меньшая, Аничка, — к нам теперь дезинфекция приедет.

Женщины загоняют детей по домам. Все расходятся. Заболевших детей в больницу провожает сосед. Аничка бежит к своей маме, а та с тоской глядит вслед отъезжающей машине.

Они выглядят так одиноко, пухлая плачущая женщина и худенькая девчушка с красными глазами. По этой причине колония нарекла ее Крольчонком — ребенок действительно похож на крольчонка, с которого содрали шкурку.

Утро солнечное и морозное, упавший стручок акации покрыт инеем, я стираю иней пальцем и мечтаю о том,

что в моем королевстве будут волшебные деревья и с них будут падать толстые сладкие стручки из святоянского хлеба[1]. Моя фантазия столь реальна, что я надкусываю тощий, промерзший насквозь стручок, и горечь на языке возвращает меня в реальный мир.

Во втором палисаднике появляется Аничка Крольчонок и с важностью сообщает через забор:

— А наш Фаноушек нынче ночью умер.

Мир пошатнулся. Я уже знаю, что такое смерть. Я ощущаю невыносимую жалость, теперь мне уже никогда не подружиться с Фаноушеком, никогда уже он не даст мне свой ранец с оленем, я не увижу из окна, как раскачивается губка, подвешенная к ранцу, над его толстой попкой, никогда не смогу дотронуться пальцем до румяных щек-яблочек. Не успела! Он ушел прежде, чем мы заговорили друг с другом; надо было удержать его, кинуться вслед за ним и отдать ему его ранец, забытый на лавке.

Сама не знаю, как я оказываюсь в чужом палисаднике, наклоняюсь к Белине, ощущаю тепло и запах ее шерсти, пес облизывает мое мокрое лицо. Мне необходимо уйти от страшного чувства пустоты, я отвязываю собаку и бегу с ней по улицам, она мчится впереди, я держусь за веревку, мы куда-то несемся, куда — мне безразлично, лишь бы лететь, лишь бы — и это главное — скрыться от страха, у которого нет лица, а есть лишь жуткое имя — смерть. Веревка захлестывается за фонарный столб, я падаю — коленки и локти в крови. Мне уже лучше, наконец-то у боли есть определенное место, эта боль мне понятна, ее можно назвать, она имеет границу, она пройдет.

Хватаю веревку и медленно веду Белину домой.

Кветушка из больницы возвратилась. У нее были все такие же алые щечки, как прежде, но она уже не бегала, не прыгала, не играла, тихонько сидела, улыбаясь себе самой.

— Не верьте докторам, — утешали ее маму соседки,— они вам такого наговорят! Смотрите, какая она толстенькая, ну прямо пышечка, щечки как розы, вот если б про Аничку сказали — это еще можно понять, она у вас просто щепочка...

---

[1] Святоянский хлеб — лакомство, сладкий рожок.

— Нет, доктора говорят, что, хоть в вату ее заверни, хоть в муфту засунь — все равно ручаться они не могут.

Ни за какие блага мира я не вошла бы в дом к черной соседке. Я боялась увидеть Кветушку в вате или в муфте. Иногда я замечала ее под окном — она тихонько нянчила куклу и хворой не выглядела.

Очевидно, в ее присутствии, так же как и при мне, обронили неосторожное слово, и Кветушка, поняв, что осуждена, смирилась с этим. Ее красивое нежное личико неизменно освещала милая улыбка.

В хорошую погоду Кветушка сидела на улице. Наше железное дерево сначала зазеленело, потом стало белым, крона благоухала гроздьями цветов, гудела пчелиным жужжанием. Акация среди облезлых домишек — явление из иного мира, аромат цветов привлекал всех окрестных девчонок.

Мы размещаемся под деревом, собираем цветы, нанизываем их на длинные нитки и щеголяем в этих ожерельях. Кветушка играет вместе с нами, цветы у нее в волосах, на шее, на коленях, она рассказывает, как ее будут хоронить.

— Гробик у меня будет белый-белый, на голове венок, в руке — лилия, а вокруг, всюду-всюду — белые цветы, все цветы со всего света. Подружки будут тоже беленькие, черных я не хочу, на них белые платьица, их будет шесть, у каждой в руках сломанная свечка. И музыка...

Кветушка часто говорит так, я не могу слушать ее слов. Я поднимаю глаза, некоторые ветви у старого дерева высохли, они торчат, словно мертвые кости среди снежных кистей, и мне начинает казаться, будто сама смерть тянет к нам скрюченные пальцы. Я складываю на Кветушкины колени все свои ожерелья и прячусь в беседку. Вокруг беседки все поросло цветами клоповника, они кричаще яркие, свежие, но пахнут чем-то кислым, в листьях кишмя кишат гусеницы.

Аничка бредет за мной, в ее кроличьих глазах застыла печаль.

— Крольчонок, погляди, гусеница.

Я держу гусеницу двумя пальцами, Аничка неожиданно сжимает мои пальцы, гусеница лопается, девочка заливается смехом. Теперь я знаю, как ее развеселить, хватаю одну гусеницу за другой и давлю, давлю их в ла-

донях, все во мне бунтует от неистового отвращения, но ради ее смеха я готова превозмочь себя.

Я давлю сочные стебли, давлю листья вместе с гусеницами, меня тошнит, но Аничка Крольчонок смеется, меня окружают хохочущие дети, и кто-то кричит:

— Генерал! Генерал! Гусеницу разорвал!

Кличка на время прилипает ко мне, я смеюсь вместе со всеми, борюсь с дурнотой, сладкий запах цветущей акации смешивается с кисловатым зловонием раздавленных листьев, смерть своими костлявыми пальцами все грозит из белых гроздьев, из зеленой листвы.

Кветушка протянула еще несколько лет, я слышала, что ее фантазия сбылась, похоронили ее так, как ей мечталось. Я стала избегать ее с той самой минуты, как бросила ей на колени все свои цветы. Когда она сидела в саду, я удирала куда глаза глядят.

В Голешовицах в мою жизнь неожиданно ворвалась, как яркое видение, моя двоюродная сестра Штепка.

На другом конце улицы жила папина сестра, тетя Лида. Как и дядя Венда, она была очень похожа на моего отца: у всех у них правильные черты лица, чистая белая кожа, выразительные глаза и прекрасные зубы. Только руки у тети большие и беспокойные, мне они казались какими-то чужими, живущими своей собственной жизнью. Даже если тетя рассказывала о совсем обычных вещах, она, сама того не замечая, размахивала руками или неожиданно сжимала кулаки, ударяла по столу, вскидывала выше головы.

Тетя никогда не садилась, обычно она старалась встать так, чтобы видеть себя в зеркале или хотя бы следить за своим отражением в окне или стекле буфета. Таким образом, она постоянно находилась как бы под собственным наблюдением, словно убеждая себя, что действительно существует. Я ни разу не видела на ее лице выражения тщеславия; когда я подросла, мне стало казаться, что тетя ищет что-то за своим отражением. И найти не может.

Говорили, что в молодости она была неотразимо красива, ни один мужчина не проходил мимо, не обернувшись ей вслед. Когда ей исполнилось пятнадцать и она пришла впервые на танцы, парни так стремительно ринулись приглашать ее, что опрокинули стол. А пришла она на танцы в мужских башмаках. Замуж вышла в шестнадцать, в восемнадцать уже стала матерью: у нее родились мальчик

и девочка. Ее дети были намного старше меня, они появились на свет еще до войны. Ярка был подручным в москательной лавке на Роганской улице. Когда бы я ни зашла туда за покупками, он давал мне рекламные картинки-вырезалки. Тупыми ножницами я выдирала из бумаги куклу и платьица, а потом осторожно наряжала ее. Я могла играть с этой грудой раскрашенной бумаги целыми часами. Своим двоюродным братом я восхищалась, ведь он был обладателем несметных сокровищ, и я не смела говорить ему «ты». Лавчонка эта мне казалась настоящим королевством, я мечтала тоже стоять за прилавком и продавать краску, зубную пасту, мыло, леденцы от кашля и дарить девочкам вырезалки.

Двоюродная сестра Фанча первая из нашего рабочего поселка поступила учиться в гимназию, что почиталось грехом и гордыней. Ну ладно мальчишка — куда ни шло, но девочка с гимназическим образованием? Лучше бы училась стряпать да шить.

Самую младшую звали так же, как и мать, Лидой, но все называли ее по фамилии, Штепкой. Девчонка могла дать фору десятку сорванцов. Была она на два года старше меня и отчаянная до безрассудства. Постоянно в движении — то на крыше, то в подвале, а вот уже повисла вниз головой на жердях, на которых выбивают половики, или раскачивается на ветке дерева; она была знакома со всеми взрослыми, со всей ребятней находилась в состоянии непрекращающейся войны, домой возвращалась грязная, исцарапанная, без пуговиц, с оборванным подолом.

Мы играем в прятки. Я — Штепкин прихвостень и вообще здесь на птичьих правах, даже считалка минует меня. Штепка отлично знает, как надо считать; толстый Цибулька — ее основной противник. Врагом он стал по воле случая: Штепка и не предполагала, что Цибулька не имя, а прозвище, и обратилась к его маме, назвав ее пани Цибулькова, за что огребла затрещину. Желая отомстить, попыталась внушить мальчишке, что настоящее его имя, Вацлав, по-латыни звучит — Валах, но прозвище не привилось.

Цибулька закрывает глаза, он водит, Штепка хватает меня и волочит за собой, чуть ли не мчит по воздуху, Штепке известны самые укромные уголки, мы с разбегу влетаем в чужой подвал, прячемся за кучей угля. Поленница дров, пошатнувшись, валится мне на голову.

— Тшшш! — шипит Штепка и прикладывает полешко к вздувшейся у меня на лбу шишке.

И тут же, озираясь, взлетает вверх по лестнице, ее светлые волосы развеваются, еще прыжок — и бедному Цибульке опять водить.

— Десять, двадцать, тридцать, Цибулька!

Штепка подсаживает меня на крышу, выволакивает через слуховое окно на чужой чердак, мы пролезаем под мокрым бельем и вот уже сидим, скорчившись под балкой, паутина липнет к лицу, я цепенею от страха, что нас тут обнаружат или запрут, и чихаю. Штепка кидается на меня и зажимает мне ладонью нос. Мы слышим шаги и мчимся вниз по деревянным ступенькам, вслед летит брань и содержимое помойного ведра: визгливые бабы всегда держат их под рукой для ребятни, для этих чертовых озорников, что без устали мельтешат под окнами, да еще лезут, паршивцы, в чужие дома.

— Казаки-разбойники! — командует Штепка. — Кто будет казаком?

Она знает, что быть казаком никто не захочет — пусть только попробует! Отвращение к казакам мы всосали вместе с материнским молоком, никто из нас пока не знает о них ничего дурного, но ненавидим мы их до глубины души. Когда кому-нибудь из нас приходится проходить мимо лениво поигрывающего дубинкой полицейского, мы помираем от непонятного страха. Уже давно остался позади этот символ государственной власти, а ненависть все подступает к горлу.

Эта ненависть, накопленная за долгие годы, выливается в демонстрации, шествия, голодные бунты. В детстве мне и в голову не приходило, что полицейский — человек, что он появился на свет так же, как все люди, и был когда-то ребенком: я считала, что их делают на фабрике, настолько безликими они мне казались.

Ненависть, унаследованная целыми поколениями. Даже в игре никто не желает быть полицейским, может, кто-нибудь и мечтает об этом втайне, но отлично знает, что совершит самое черное предательство.

Штепка умеет так ловко смошенничать, что при ее считалке мы всегда оказываемся разбойниками. Начинается сумасшедшая беготня, мы мчимся, петляем, задыхаемся, останавливаемся. Начинается потасовка, в ход идут зубы и ногти, камень — тоже наше оружие, я самая младшая,

но злобная, как хорек, а в драке между казаками и разбойниками правил не существует; иногда нас разнимают взрослые, но большей частью разбойники одолевают казаков, обращая их в постыдное бегство, я снабжаю Штепку камнями, а она не промахивается — настоящий снайпер.

Иногда мы играем в жмурки или в «штандер», никто не хочет быть немцем или австрийцем, французы и англичане — в чести. Игра заключается в том, что мы на бегу кидаем друг в друга твердый, грязный теннисный мяч. Если повезет, можно найти мяч возле теннисного корта, для мальчишек такой мяч дороже золота, а если нет настоящего — мы удовлетворяемся тряпичным, скрученным из материнских чулок.

Являюсь я домой мокрая, потная и грязная, исцарапанная, вся в ссадинах, шишках и синяках, мама заламывает руки, а папа смеется — он одобряет мою новую дружбу.

Иногда Штепка уводит меня к бойне, сквозь решетку ворот я вижу животных, которых гонят на убой, и мясников в заляпанных кровью куртках.

Мы обходим вагоны, из щелей тянет теплым запахом хлева, мы прутиком дразним свирепых венгерских хряков. Иногда двери приоткрыты, и в проеме появляется злобная морда с желтыми клыками, я пячусь, а Штепка, быстрым движением тронув ноздри животного, мгновенно отскакивает.

Мы бредем вдоль бесконечной вереницы вагонов, нам сладки ароматы деревни, столь редкие среди городского дыма и сажи, мы вдыхаем полной грудью запах навоза, и он кажется нам дуновением иного, вольного мира.

Здравствуй, теленок, сосущий мой грязный палец и подставляющий курчавую челку под ласкающую, грязную ладонь. С какой радостью я прижалась бы к тебе, если б можно было пошире раздвинуть щель между дверьми! Я вывела бы тебя на улицу, вымыла твою розовую слюнявую мордаху, и мы отправились бы с тобой на лужайку, где я увенчала бы тебя венком из одуванчиков.

Сцепщик поднял флажок, отгоняет меня, теленок мекает, я знаю, он уходит навсегда, а я не могу, не желаю верить, что он превратится в телячьи отбивные или гуляш. Это маленькое существо с печальными глазами не может иметь ничего общего с кроваво-алым узелком мое-

го деда Карела, не может превратиться в отвратительный бифштекс.

— Пошли! Пойдем за гараж!

Штепка нигде долго не задерживается, она тащит меня за собой. За недавно построенными гаражами — ничейная земля, не то луг, не то свалка. Среди хилой травки валяются тряпки, их побросали здесь нищие; тряпье кишит блохами и вшами, никто к нему не притрагивается. Стебли пупавки пытаются в своих зарослях укрыть битые горшки и изуродованные сита; резко и неприятно пахнет ромашкой. Ромашка пробила синюю кастрюлю, ветер раскачивает ее, и она ранит свои стебельки об острые края дырявого дна.

Мы рвем траву и цветы, подбрасываем в воздух, широко растопырив пальцы, и ловим тыльной стороной кисти. Сколько же вшей я здесь подцепила! Играем в камушки, я не очень-то ловкая, то и дело ушибаю руку об землю, обдираю пальцы, загоняю под ногти грязь.

Мы собираем, а иногда выкапываем черепки и осколки стекла, полируем их до блеска подолом; глядя через них, можно менять по своему вкусу мир, можно приглушить или усилить его сверкающие краски.

Дома у меня есть калейдоскоп, Штепка долго не выдерживает, но я могу сидеть часами, поворачивать трубку и глядеть, как стекляшки складываются в цветные узоры, рассыпаются, и вот перед глазами новая звездочка. У меня не укладывается в голове, как это простые черепки со свалки превращаются в разноцветное чудо, я тоскую, когда узоры рассыпаются. Одно неуловимое движение — и они исчезают, не успев запечатлеться в моей памяти, остаться в ней, прежде чем я смогла завладеть ими навсегда.

Штепка ведет меня к реке, мы идем по тропинке мимо высоких хлебов. В будке сидит вооруженный палкой сторож и враждебно взирает на нас. Зрелые колосья раскачиваются у самого моего лица, я боюсь к ним прикоснуться, а то долго ли до греха — сторож еще прибьет палкой, не притрагиваюсь даже к бутонам мака, хотя из них можно сделать куколку.

И вдруг перед нами в полной красе открывается величавая река, она несет свои спокойные воды, она красивее неба, красивее солнца, в свои глубины она вбирает весь мир. Я подлезаю под бетонную ограду, проскальзы-

ваю среди бурьяна, мне просто необходимо хотя бы ладошку опустить в эту воду, необходимо вдохнуть легкий влажный воздух.

Штепка вцепляется в мою руку, она боится за меня, но вскоре, позабыв обо мне, отпускает. Штепка и сама поддалась очарованию бегущих волн, воды, которой не страшны оковы моста и она широко разливается по открытой равнине.

Пока только начали засыпать рукав реки, еще только строится Либенский мост, и вода, необузданная, властная, кротко лижет теплыми волнами ноги человеческих детенышей. Мы разулись, очарованно разглядывая свои омываемые течением пальцы, получившие свободу, в них тычется мелкая рыбешка, подплывает пятно мазута или радужная масляная клякса, и вода уходит, а мы остаемся, прикованные к берегу. Прохладу заслоняет легкая, без боли, печаль.

Мы отдираем от платья шарики репейника, вытаскиваем из волос цепкие семена куколя, пуговки лопуха и приносим их в жертву реке. Она уносит их вдаль, нам пока еще неведомо, что вместе с ними вода уносит и отведенное нам на жизнь время.

Из-за Штепки я впервые познакомилась с костелом. Мои родственники, и с отцовской и с маминой стороны, в церковь не ходят. Штепкин папа — коммунист, но детей крестил. Возможно, это было уступкой кому-нибудь из родни, а может, он считал, что детей надо воспитывать в страхе божьем.

Не знаю, была ли верующей Штепка, но по воскресеньям она являлась к нам утром чисто вымытая, с бантом в светлых волосах и в лакированных туфельках. Подобное превращение в который раз вводило мою маму в заблуждение, и она со спокойной совестью доверяла меня Штепкиным заботам. Лакированные туфельки были у меня тоже, но праздничная эта обувь, несомненно, изобретение дьявола — на ней видна даже самая легкая пыль. То и дело приходилось балансировать на одной ноге и полировать блестящий носок туфли об икру другой ноги — в этом искусстве мы достигли подлинной виртуозности.

Мы вдвоем благопристойно вышагивали вдоль бесконечной ограды. Штепка, полагая, что я еще малое дитя, читала про себя хулиганские надписи на заборах и тумбах. Мне это неприятно: я так мечтала научиться читать

и писать и, если бы у меня оказался кусок мела, я нарисовала бы какую-нибудь простую картинку. Картинок на стене полным-полно всяческих — на любой высоте, любых размеров. Сквозь дырку от выпавшего сучка мы заглядывали на железнодорожные пути, наши отцы никогда не брали нас с собой в этот таинственный мир, нам полагалось ожидать их у входа за хлипкими мостками.

Мы проходим под виадуком, поезд обдает нас мглистыми клубами дыма, я с восторгом гляжу на дым, пока в глаз мне не попадает уголек. Штепка вытаскивает его чистым воскресным платком.

— Смотри вниз, смотри верх, поплачь, соринка сама выйдет, погоди, вот она в уголке. — Штепка уже не платком, а пальцем лезет мне в глаз.

Все в порядке, мы наклоняемся через перила моста, вокруг опор образуются буруны, Штепка силой отрывает меня от перил. Мы идем мимо танцплощадки возле пивной, двери после вчерашних танцев распахнуты настежь, пахнет уборной, пахнет пивом, мы, как всегда, хохочем над грубой и смешной надписью: «Кишки, кишочки, мочевые пузыри». Штепка покупает нам по толстому рожку сладкого святоянского хлеба. Мы жуем, выплевываем зернышки и пробираемся дальше по узким закоулкам. Здесь обычно сидят нищие, обнажив перед идущими в костел культи ног и рук, язвы и гнойные раны. Я до смерти боюсь этих людей, но старик с шарманкой, без устали играющий одну песенку, привлекает мое внимание — на его ящичке кружатся кавалеры и дамы. Папа нищим никогда не подает, он ненавидит их за приниженность и отводит глаза от изуродованных культей, красных от жары или от мороза.

— Человек может умереть, — говорит он жестко, — но попрошайничать не имеет права!

Я не возражаю, я тоже брезгую нищими, но и сочувствую им — когда я вырасту, буду каждый раз бросать в подставленную шапку целую крону.

У Штепки припасено двадцать геллеров для старичка с шарманкой, мы можем досыта наглядеться на танцующих человечков, веселая музыка завладевает мной, мои пальцы, руки, ноги начинают двигаться в такт.

— Пошли, уже пора.

Штепка дергает меня, и вот мы уже перед костелом. Я чувствую, как она вся подобралась.

Кучка ребятишек стоит у лестницы.

— Вы христианки?

— А как же, — отвечает Штепка и молниеносно отвешивает спросившему оплеуху.

— Гони конфету! — Оплеухи летят направо и налево по физиономиям остальных ребят. Моя сестрица умеет воспользоваться минутной растерянностью.

Голешовицкая ребятня из религии почерпнула лишь одно Христово поучение: если кто бросит в тебя камень, дай ему хлеба. Вот почему мальчишки лупят камнями большое распятие на окраине рабочего поселка, вот почему вспыхивают драки у костела.

Я никак не могу взять в толк, как это можно обменять конфету на пощечину, но я сую леденец за щеку, щека вздувается, а сестрица тащит меня под надежную охрану костела. Нас обволакивают полутьма, прохлада и дурманящий запах ладана из кадила.

— Перекрестись, — шепчет Штепка. — Господи, да она креститься не умеет!

Штепка опускает в святую воду руку по самый локоть и размазывает влагу по моей физиономии, потом крестится сама, ее лицо становится на миг серьезным, она ведет меня по проходу и усаживает на деревянную резную лавку. Я знаю лишь нашу комнату, мамины картинки из журнала, музыку шарманки или гром военного духового оркестра.

Меня поражает высота и огромность здания, свет приглушают цветные витражи, везде картины, фигуры, резьба, горящие свечи, водопады цветов, вышивки, кружева, яркие краски и блеск, тяжелый аромат ладана и елея, орган. Торжественные, свободно льющиеся звуки, словно порыв ветра, прижимают меня к скамье, завладевают мною, подхватывают и несут далеко отсюда, куда-то в неведомое. Я не понимаю, что это за человек в странной одежде, не понимаю его слов и движений, но он гармонирует с пространством и музыкой, со здешними запахами. Я отрываюсь от земли, костел превращается в корабль, мы плывем ввысь, возносимся на волнах в иной мир.

— Господи боже мой, — наклоняется ко мне Штепка, и я с трудом ее узнаю, смотрю на нее тупо — откуда она здесь взялась? Я покорно иду за ней на воздух, в лицо плещет вода, до меня долетает испуганный Штепкин голос.

В глаза бьет солнце, звенит трамвай, по Белькредской прогуливаются по-праздничному одетые люди.

— Опять тебе попадет, — вздыхает Штепка и пытается промыть мой покрасневший глаз, поправить измятый бант, обтереть липкий от леденца подбородок, привести в порядок мокрое платье, заляпанные грязью лакировки.

— Послюни еще, поплюй, — подставляет Штепка свой платочек и утирает меня, но во рту у меня полно сладкой слюны; когда мы подходим к дому, я уже вся покрыта сажей. Грязь так и липнет ко мне.

— Господи, что за вид? — ужасается мама. — Куда вас носило?

— В костел.

— В костел? Этого только не хватает, еще в костел ее будешь таскать! Разве ты не знаешь, что на нее непременно обвалится кафедра?

Я не знаю, что такое кафедра, но с тех пор не подхожу в костеле ни к чему, что может на меня обвалиться. А дома не говорю, где была.

Иногда я забредаю в костел одна. Мама, отправляя меня утром гулять, не подозревает, что я хожу к реке, добегаю до электростанции, где меня завораживает экскаватор, поглощающий кучи тлеющего угля. Я долго пялюсь на машину, не знающую усталости, и всякий раз, когда она сжимает челюсти, по коже у меня пробегает мороз. У меня такое чувство, будто это меня перегрызают пополам и выплевывают. Стоит понаблюдать за работой машины подольше, и меня охватывает оловянная усталость.

Я настолько осмелела, что забираюсь даже на окраину Стромовки, к конской тропе, весной подбираю горьковато-ароматные тополиные сережки, выискиваю в траве фиалки, позже, спрятавшись в зеленых кустах, жду, когда на дорожке появятся кони, кони с золотой шерстью и точеными ногами. Они легко несут всадника в черном, девушку в цилиндре с развевающейся вуалью, мне, наверное, просто кажется, что я стою в облаках едкого благоухания, а на самом-то деле — это я золотистый конь с точеными ногами в белых чулочках. Это я девушка в высоких сапожках и цилиндре с вуалью.

В костеле я примостилась у самого входа, костел почти пуст, так, всего несколько старушек. Я поспешно ополаскиваю лицо святой водой. Почему-то я считаю, что надо

быть чистой. Стою у самого выхода, готовая тут же выскочить вон, и не спускаю глаз с распятия.

Я люблю Христа, люблю, как любят большого, измученного человека. Мечтаю снять его несчастное тело с креста, в душе протягиваю к нему свои чумазые маленькие ручонки, вытаскиваю папиными клещами гвоздь за гвоздем, сбрасываю терновый венец. Я никак не могу без слез смотреть на капли крови, текущие из раны на боку, я отворачиваюсь, всхлипываю, снова разглядываю страдающее и смиренное лицо и не могу разгадать, что оно выражает.

Я никогда ни о чем не спрашиваю, я ломаю голову, почему люди не помогут мне, почему оставили его висеть здесь, обнаженного, истекающего кровью, и лишь бросают монетки в копилку у его ног. К чему ему деньги, если он мертв? Я чувствую, что он умер, и все-таки люблю его, быть может, он умер не навсегда? Меня томит желание пощекотать его голую пятку, вызвать улыбку на измученном лице.

Но огромное пространство давит меня, связывает по рукам и ногам, я робко жмусь к двери.

От этой любви меня излечивает пасха. Штепка ведет меня поглядеть на воскресение из мертвых.

Впервые я вижу плащаницу: под стеклом лежит желто-восковой Христос. Штепка шепотом сообщает, что он скоро оживет, я напряженно жду, и радость поднимается в моей душе. Из костела вереницей выходят люди, я плетусь следом, восторженно слушаю пение, священник вздымает вверх солнце, и люди падают на колени. Нет для меня страшнее испытания, чем опускаться на колени. Меня так никогда не наказывают, но я знаю, что многих детей ставят на горох и даже на терку. Я ни за что не встану на колени.

Я удираю, прячусь в опустевшем костеле и вдруг замираю — мой Христос по-прежнему висит на кресте! Я дотрагиваюсь до него, он неподвижен, не улыбается, он мертвый.

— Ищу ее, ищу, а она здесь, — шепчет Штепка.

— Ведь он не ожил!

— Кто?

— Христос!

— Ах, этот! Так ведь это статуя. И там, в гробу, тоже. Просто такой праздник: он ожил понарошку, как будто! Поняла?

Поняла. Понарошку — это совсем как понарошку — корица, понарошку — колбаса. Это я понимаю. Только я не знала, что взрослые тоже играют в такие игры.

Я возненавидела костел. Наверное, еще и потому, что во время одного прикостельного экзамена на звание христианки заработала шрам на голове. Леденцов от меня экзаменующий не получил, зато я пустила в ход зубы, и он чуть не остался без пальца. Видно, у меня не было врожденной склонности к христианству.

К голещовицким развлечениям, с которыми меня познакомила Штепка, относятся и два кинотеатра: «Коменяк» и «Домовина». В первый, хотя он и носит имя Яна Амоса Коменского[1], мы не ходили. Как-никак, мы — дети рабочих, а не каких-нибудь люмпенов. Там толклась шпана с нависшей на глаза челкой, пижоны с сигаретой, зажатой в уголке губ, и «жеребячьи девки» — так называли девиц, что паслись вечерами возле каруселей и на танцульках.

Я кино не любила, в первый же раз я насмерть перепугалась паровоза, мчащегося прямо на меня. Вызывали во мне ужас и комедии. Дети прыгали, хлопали в ладоши, топали ногами, подталкивали друг друга, хохотали во все горло, а я в этом шуме и гаме сидела тише воды ниже травы: мне было жаль кота Феликса, которого всегда кто-нибудь преследовал, мне было больно от всех этих ударов и пинков, я дрожала за бедного Чаплина, и, когда его постигали очередные неудачи, на глаза мои набегали слезы.

Девочку, готовую расшибиться в лепешку, лишь бы развеселить печальных, здесь, в кино, среди хохочущих, одолевала тоска. Мама была права: эта девочка — чокнутая.

Куда больше меня занимал кукольный театр. Интереснее всего был антракт, когда можно взобраться на сцену и самой прочитать наизусть стишок. Заработанная конфета казалась мне особенно сладкой. Впервые в жизни мной кто-то восхищался.

Сам спектакль не производил на меня особого впечатления, я просто не понимала, что играли куклы, искренне считая, что на сцене расхаживали живые люди с проволо-

---

[1] Коменский, Ян Амос (1592—1670) — прославленный чешский педагог и философ.

кой на голове. Содержание пьески ускользало от меня, я размышляла над тем, как такой человек спит в кровати, куда девается проволока, когда он моет голову, и как он надевает на себя шляпу.

— Тетя, как Ярча прекрасно выступает, — таяла от восторга Штепка. — Вы только придите поглядите на нее.

Маму уговорить не удалось, но папа согласился. Когда я вылезла на сцену и начала декламировать «лезет, лезет жук-могильщик», мои глаза случайно встретились с его серьезным взглядом, слова мигом выскочили из головы, и я в голос разрыдалась. Меня успокаивали, совали конфеты, но я заливалась слезами.

Как только мы переступили порог, мама сразу поняла, что стряслось.

— Ну что, декламировала?

— Еще как декламировала!

— Говорила я тебе, не жди от нее толку, — вздохнула мама.

Долгие годы, стоило только при мне произнести «лезет, лезет жук-могильщик», я свирепела до умопомрачнения.

РАЗОБЛАЧЕННАЯ ТАЙНА

Дедушка с маминой стороны умер еще до моего рождения, бабушка — когда я была совсем маленькой, но, несмотря на это, у меня все-таки были две бабушки и два дедушки. Эта загадка не давала мне покоя с тех пор, как я начала разбираться в таинстве чисел.

Еще загадочней было то обстоятельство, что бабушка всегда являлась к нам одна, дедушка тоже один, бабушка оставляла дома лишнего дедушку, а дедушка — сверхкомплектную бабушку. Разводы были делом редким, а в нашем кругу просто неслыханным, и меня долгое время угнетала эта малопристойная комбинация предков. Тайна раскрывалась постепенно, тут опять-таки не обошлось без Штепкиного участия, но перед чужими детьми мы никогда о запутанных семейных обстоятельствах не упоминали.

Мой дед с папиной стороны был сапожником и доморощенным философом, что предопределяло само его ремесло.

Редко на свет появляются люди, которых природа одаривает совершенной красотой. У деда лицо строго класси-

ческое, все в нем гармонично: форма головы, нос, высота лба, ровные зубы, красиво очерченные губы. Любому скульптору пришлось бы немало потрудиться, задумай он создать столь стройную фигуру, а ведь каждая мышца, каждый сустав, каждый палец на руках и ногах, красивые, округлой формы ногти — все это было заботливо создано природой.

Дедушкины серые глаза, казавшиеся синими, когда он был в добром расположении духа, и зелеными в минуты гнева, унаследовали все его дети, генов хватило еще и на внучат. Но никто не унаследовал таких совершенных пропорций, никто из его потомков не был столь идеален физически, гармония явно разладилась.

Я узнала дедушку, когда он уже вернулся с войны, но и тогда он мне очень нравился. Свою старенькую одежду он носил, словно королевскую мантию, все его существо дышало благородством и спокойствием. Лицо всегда освещалось внутренней улыбкой, дед никогда громко не смеялся, он лишь излучал хорошее настроение. В нем чувствовалась и детская непосредственность, и озорство, и вид у него был такой, будто он отлично знает истинную цену людям и тщетные усилия их вызывают в нем лишь смех.

Такое же счастливое, улыбчивое выражение было на его лице, когда много позже он лежал в гробу.

— Никогда он не знал никаких забот, — говаривала моя мама. Но это было отнюдь не так. С той поры как дед при первой встрече приветствовал маму знаменитой фразой «Наше вам с кисточкой», мама его терпеть не могла.

Меня же к нему привлекало именно его спокойствие. Его смирение перед жизнью.

Обычно он входил неслышной, пружинистой походкой, свежий, улыбающийся, оставался стоять (никогда не садился) и начинал шарить в карманах. Подарков он не приносил, но делил между нами все, что у него было: иногда наскребал мелочи едва на крону, иногда двадцать крон, а то и больше, и в таких случаях сам удивлялся.

— Оставь хоть немного себе, — просил деда отец, — ведь не можешь же ты ходить по улицам без единого геллера.

— А почему бы и нет?

— А что, если с тобой что-нибудь случится?

Дедушка улыбался еще шире.

— Ну что со мной может случиться?

Удивлялся он вполне искренне, и мне казалось, что дед сам вершит свою судьбу, что есть в нем какая-то удивительная сила и к нам он явился прямо из сказки. Неожиданно появился и неожиданно исчезнет.

Дедушка отрицал все блага цивилизации, никогда не ездил ни поездом, ни в трамвае, тщетно дядя Венда уговаривал его проехаться на автомобиле.

— Если я сказал «нет», значит, нет, — спокойно отвечал дедушка и по-прежнему ходил по Праге размеренным шагом.

До самой зимы он купался в реке, ему уже было семьдесят, когда он, разбив ледяную корку, плавал во Влтаве. Во все времена года дед носил одну и ту же одежду, зимой лишь поплотнее запахивал пиджак, летом снимал его и щеголял в жилетке. Перчатки и шарф он почитал излишней роскошью.

Дед никогда не хворал, лишь как-то раз пришел к нам в гости хромая, перевязанная нога была обута в тапочку.

— Вогнал гвоздь. Чуть заражение крови не случилось.

— Как такое могло произойти, папа, ведь не может же гвоздь пропороть подметку!

— Не может, если она цела, — озорно усмехался дед, — да только у меня подметка-то худая.

— Папа, — ужаснулся мой отец, — ты что, в дырявых башмаках ходишь? Ведь ты же сам сапожник!

Дед усмехнулся еще шире.

— Разве тебе, сынок, неизвестно, что сапожник сам всегда без сапог?

Впрочем, дедушка забросил свое ремесло еще до войны и работал на маленькой пробочной фабрике.

— Уж если еврей дурак, — критиковал дед со спокойной улыбкой своего работодателя, — так уж дурак круглый. Начинается война, а он продает! Знай себе продает, да еще радуется, что делает гешефт! Еще бы, ведь каждый разумный человек сейчас только покупает! А мой еще удивляется, что сидит в глубокой ж... со своим «дважды два».

Фабричка постепенно умирала, пока не обанкротилась окончательно, дед оставался там до последнего дня, а потом уже больше работы не искал. Может, получал пенсию, а может, его жена кое-что сумела прикопить, но

только дед ни от кого из детей решительно не брал ни копейки.

И зимой и летом он целыми днями где-то бродил: утром уходил, прихватив кусок хлеба, возвращался вечером, свежий, улыбающийся, пропахший сеном и хвоей. Гулял он по окружающим Прагу лесам, седая борода опускалась на грудь, он походил на отшельника, и дети прозвали его лешим. Никто его не боялся, его спокойное, смиренное лицо внушало людям доверие.

Через несколько лет, после того как ему исполнилось семьдесят, он, усевшись однажды на стул поудобнее, со спокойной улыбкой заявил, что путь его окончен. Врач не обнаружил никакой болезни, но дедушка твердил:

— Моя свеча догорела.

Он сидел, улыбался, взрослые дети приходили проведать его, на столе громоздились, росли пачки табаку, дед набивал трубку и лишь иногда произносил:

— Вот табачок мне оставлять жалко, а выкурить не успею.

Так и угас он с мудрой, по-детски озорной улыбкой.

Я не могла себе представить дедушку молодым. Но говорили, что был он гулякой, заядлым танцором, веселым, компанейским парнем, был не дурак выпить и частенько домой являлся под хмельком.

О своей первой жене, моей родной бабушке, он никогда не упоминал, никогда о ней не спрашивал, и я не могла представить себе, что между ними когда-нибудь было что-то общее. И все-таки в нем после развода, видимо, что-то перегорело, и он тихо угасал.

Когда я узнала бабушку, она была уже безобразно тучной, тяжело дышала и ее круглая физиономия с несколькими подбородками казалась серой от усталости, поседевшие волосы были кое-как свернуты в узелок под платком. В уродливые, жирные плечи врезались ремни короба: бабушка ходила по домам, предлагая бракованный товар — скупала за гроши негодные кастрюли и перепродавала их. Зарабатывала ерунду, да и вообще коммерческой хватки в ней не было, а каждый шаг давался с трудом.

Однажды она явилась вся в слезах, долго душераздирающе рыдала, и лишь позже нам удалось от нее добиться, что она присела отдохнуть на скамейку и какой-то человек подал ей монетку.

— Нет, вы только представьте, Ярушка, — все повторяла и повторяла она, и слезы текли по ее толстым щекам. — Вы только подумайте, я сижу, отдыхаю, а он мне пятьдесят геллеров сует!

Я никак не могла понять, почему из-за этого надо плакать, что тут ужасного, если тебе дают денежку, наоборот, для меня это был бы приятный сюрприз.

Бабушка плакала часто, и слезы ее меня не трогали, наверное, я чувствовала, что они у нее всегда наготове для определенных целей. Так оно и было: в конце концов мама доставала пятьдесят или сто крон, и бабушка решительно прятала бумажку.

Для своих визитов бабушка выбирала время, когда папа был на работе, и если, случайно задержавшись, сталкивалась с ним, то начинала поспешно собираться.

— Ну как ты, Павлик? — спрашивала она льстиво.

— Ничего, — хмуро отвечал папа, — носовой платок в кармане, под трамвай не попал.

От ребенка ничего не скроешь, особенно если людей в тесной квартирке набито как сельдей в бочке. Я живо помню, как однажды днем папа пришел домой белый как полотно, с зелеными от ярости глазами. Он был до того взволнован, что даже не мог есть.

— Ты ведь ей цену знаешь, — успокаивала его мама, — может, она и не виновата, может, она не совсем в себе.

— Я бы ее своими руками прикончил, — скрипел зубами отец, а я забилась поглубже под стол.

— Это же твоя мать!

— Какая мать? Разве она когда-нибудь была нам матерью? Мы росли, словно бурьян при дороге. Мать! Если бы не партия, я стал бы преступником! Мать! Еще что!

Я съежилась. Наверное, я не все поняла, но горькие папины слова засели в моей памяти. И я запомнила навсегда, что единственное непростительное преступление для женщины — это бросить своих детей, не заботиться о них. Такое никогда не простится.

Понять папин гнев было можно. Оказывается, бабушка накатала жалобу самому президенту, будто бедствует, хотя сын у нее — легионер. Жалобу переслали отцу на работу, и его призвали к ответу: как же так — не помогать родной матери!

Это была неправда: мама каждый месяц отдавала ей

из нашего бюджета треть, дядя Венда после первых же слез совал все имеющиеся при нем деньги, а тетя Лида, святой человек, вырвала бы для нее из груди собственное сердце.

От выклянченных денег бабушке перепадало мало, ее второй муж был человек пропащий, одно слово — паршивая овца в уважаемой и зажиточной пражской семье. Эти сведения дошли до меня, когда я была еще мала и очень удивлялась, как это можно взять в мужья паршивую овцу, но рассудила, что он, наверное, превращается в овцу, ведь так бывает в сказках. Я мечтала увидеть своего неродного деда, особенно когда он превращается в паршивую овцу. Бабушку я ненавидела до глубины души, мне отвратительно было в ней все: ее слащавый голос, чересчур правильная литературная речь, изысканные выражения (вместо «дура» или «балда» она, например, говорила «человек со странностями»), был отвратителен даже ореховый торт, который она всегда приносила. Ее визиты вызывали во мне ужас — вот она приближается, открыв объятия, и я знаю, что не смею убежать, что должна покориться и позволить прижать себя к колышущемуся студню грудей, стерпеть слюнявый поцелуй, ведь я хорошо воспитанная девочка, поэтому обслюнявленную щеку не вытираю, но едва не теряю сознания, так сильно во мне отвращение.

Иногда я угадываю, когда бабушка собирается уходить, и удираю в уборную. Запираюсь, и вытащить меня оттуда уже невозможно.

— Не заболела ли ты, Ярушка? — ласково спрашивает бабушка. — Мне пора уходить, иди, я тебя поцелую. Выходи, девочка! Может, тебе плохо?

— Сейчас, — отвечаю я, а сама дрожу от жалости и отвращения.

Иногда мне удается переждать, но чаще ей удается выманить меня. Я покоряюсь и потом тайком счищаю с себя следы ее прикосновений.

Самое страшное заключалось в том, что бедняжка бабка искренне меня любила.

— Ах, какая же я была красивая, Ярушка, до чего же хороша собой! Так прелестна, что меня называли ангелочек из Карлина[1]. А ты моя точная копия.

---

[1] Карлин — район в Праге.

Мне бы радоваться — бабушка первый человек, которому я нравлюсь, но я гляжу на ее подбородки, распухшие губы, глаза, заплывшие жиром, и по моей спине струится холодный пот.

Когда мама хочет побольнее уязвить и унизить меня, то называет ангелочком из Голешовиц. Горше оскорбления для меня нет.

Сейчас-то мне кажется, что мы были несправедливы к бабушке: плохой она не была, лишь жила не в свое время; некоторые люди рождаются раньше или позже, чем им положено, и не умеют приспособиться к иным временам.

Росла она без отца, в семье торговца, в сравнительно обеспеченном доме. Нарядная девочка, да к тому же полусирота, наверняка вызывала восхищение покупателей, а впрочем, почему бы не похвалить ребенка, особенно если тебе отпускают товары в долг? Пухленькую барышню к тому же «воспитывали», даже в старости она кое-что помнила из уроков французского.

Она была избалованна и непослушна, более того, под внешним спокойствием скрывалась неодолимая тяга к свободе и независимости — запретный плод для женщины минувшего века.

На неокрепших еще крыльях пустилась она в полет. Кто посмеет упрекнуть девушку в том, что ей не пошли впрок лавочные расчеты и она очертя голову бросилась в любовь, не спрашивая у избранника ни о возрасте, ни о служебном положении, даже не поинтересовавшись днем свадьбы? Столкнулись два страстных, необузданных богемских характера, их любовь превратилась в череду скандалов, расставаний, примирений и упрямых выходок. Быть может, по вздорности, а скорее по страстности натуры бабушка увлеклась игрой в лото. Этот невинный азарт, сделав свое губительное дело, поставил последнюю точку.

Более всего страдали дети. Мальчишки с утра до ночи болтались по Жижковским улицам и пустырям, девочка сидела одна в пустой холодной квартире, латала прорехи и стряпала нехитрую еду.

Бабушка своих детей обожала: ни разу не подняла на них руку, не повысила голоса, выиграв, накупала конфет, колбасы, игрушек, но, когда проигрывала, снимала с них последнее пальтишко. Девочке доставалось больше

всех, она никогда ничего не просила и никогда ничего не получала. Еду делили на три части, свою часть Лида прятала. На другой день снова делила ее на три части и снова прятала свою часть на худшие времена — так продолжалось до последней крошки. Мой отец, вспоминая свой мальчишеский неукротимый аппетит, до сих пор сожалел, что объедал сестру, но она все равно была неисправима.

В своей не материнской, а скорее обезьяньей любви бабушка не позволяла делать детям ни малейшего замечания: они могли ходить на голове, прогуливать уроки, не заглядывая в школу, безобразничать на поросших кустарником жижковских косогорах. Если являлся с жалобами учитель, она просто-напросто выпроваживала его, ведь ее дети были самыми лучшими в мире.

Мой папа закончил пятый класс с довольно-таки странными отметками, среди двоек и единиц блистала единственная пятерка по гимнастике. Папа никогда не прятал от меня этот позорный документ и объяснил, что он сильно помешал ему в жизни.

Конец учебе положил сам учитель: он, надо полагать, боялся своего ученика. Рослый парень, наделенный огромной физической силой, стал грозой для окружающих. Стоило кому-нибудь из подмастерий, как было принято в те времена, поднять руку для подзатыльника, как он уже лежал на земле. Как-то вспылив, отец швырнул тяжелый молот в мастера — к счастью, молот пролетел мимо.

Из школы его выкинули не только из-за того, что он гнул толстенные железные палки, словно проволоку. Его большие руки были на редкость умелыми: в первый же год обучения папа сумел выковать решетку для балкона, железные ворота и крохотный замок с ключиком.

Во время работы лицо его прояснялось, насупленные брови расходились, глаза голубели. Но упаси бог, дать ему приказание: он был совсем как норовистый конь, что прижимает уши и бьет задними копытами.

Дедушка понимал, что эту безалаберную жизнь необходимо изменить, навести в доме порядок, хотя бы ради детей. Время от времени он покупал новые одеяла, одежду или обувь, но бабушка вскоре все закладывала или продавала.

Дедушка разрешил вопрос истинно по-мужски. Он женился вторично и забрал к себе детей. Его новая жена была добрая, хозяйственная женщина и характер имела

мирный. Но было уже поздно, и дети сбежали обратно к родной матери.

Мой папа шутил, что мачеха выгнала его из дому своими кулинарными подвигами: она подавала к обеду булку, заваренную горячим молоком и посыпанную сахаром с корицей.

Но дети уже не могли привыкнуть к какому бы то ни было порядку, каким бы то ни было правилам, свобода казалась им дороже всего на свете. Дома их ожидал сюрприз: мать, решив не отставать от бывшего супруга, тоже обзавелась вторым мужем. И ребята бегали из дома в дом, раньше они хоть держались все вместе, но теперь пришло время разлук. Рухнула последняя крепость. Дед поторопился выдать замуж подросшую дочку за немолодого, положительного человека, опасаясь, как бы необыкновенная красота не завела ее на плохую дорожку. У моего папы, к счастью, оказался артистический талант, и знакомый подмастерье затащил его в любительский кружок. Здесь собиралась социал-демократическая молодежь, и буйный парень расходовал свою неукротимую энергию на сцене, на учебе, на вечерах, на собраниях.

Хуже обстояли дела с двенадцатилетним Вендой: он льнул к матери больше, чем остальные дети, и не мог примириться с новым отцом. Он рассказывал, как решил убить отчима и тщательно готовился к этой акции.

С ножом в руке он засел в кустах у дороги и стал ждать. Пришел он загодя, ожидание показалось долгим и томительным, день медленно угасал, солнце тонуло в кровавом закате, тучи окрасились пурпуром.

По дороге шли люди, только отчим где-то задержался, нож становился все тяжелее и тяжелее в детском потном кулаке.

И тут откуда-то вдруг возник незнакомый человек, странно нереальный в призрачном вечернем свете.

— Ты что тут делаешь, паренек?— ласково спросил он.

Мальчишка расплакался, поведал незнакомцу все свои беды, и, прежде чем тот успел ответить, сам понял, что путь зла привел бы его к гибели.

—Не знаю, чем бы эта затея кончилась для меня, если б вместо того незнакомца появился ее муж,— говаривал дядя.

Я поняла, что все это не вымысел, но разговаривал Венда вовсе не с незнакомым человеком, а с собственной

совестью, и скорее всего, дождавшись отчима, бросил бы нож.

Дядя Венда не смог простить бабушке того отчаявшегося мальчишки с ножом в руке. И это тоже было отнесено на ее счет. А ведь она совершила лишь то, что обычно дозволено мужчинам. Просто разрешила себе жить своими интересами, своими увлечениями, что для мужчин считается нормой поведения.

Дед обрел в новом браке покой, у него родилось еще трое детей, все были похожи друг на друга и на своих сводных братьев. Моя неродная бабушка стряпала в маленькой темной кухоньке. У меня буквально разбегались глаза, такие она готовила необыкновенные вещи: вот она толчет в ступке орехи, чтоб посыпать деруны, вот варит постный сахар. Когда она открывала духовку, детям приходилось выходить из кухни, такая там была теснота. Мне у них очень нравилось, и теплый постный сахар казался ужасно вкусным.

Неродного деда — паршивую овцу — я видела всего один раз. Мне было лет десять, когда нам сообщили, что бабушку разбил паралич. Она лежала в постели, тщетно пытаясь вымолвить что-то непослушными губами. Ее муж, стоя на коленях, мыл пол. Не сказав ни слова, он передвинул для нас стул на сухое место. Избегая смотреть гостям в лицо, он робко пятился к дверям, похожий на таракана, который ищет щелку, чтоб поскорее скрыться с глаз. Кончив мыть пол, он выкрутил тряпку, вынес ведро и уже не вернулся. Никогда. Больше бабушка его не видела. О ней можно сказать: свою жизнь проиграла в лото, а жизнь своих детей поставила на карту.

НАВЯЗАННАЯ ДРУЖБА

Мама была недовольна моей дружбой со Штепкой, но, желая избежать раздоров в семье, вслух этого не говорила. Она искала замену и нашла ее. Неподалеку жила ее бывшая соученица, у которой была девочка моих лет.

— Станете подружками,— рассудили наши мамы, хотя мы неприязненно поглядывали друг на друга,— обеим скоро в школу — будет по крайней мере повеселей.

Упоминание о школе особого веселья у нас не вызвало, но общность судьбы немного сблизила. Неприязнь в наших глазах сменилась любопытством.

Ольга мне нравилась, она была темноволосая и темноглазая. Мамино восхищение братишкой невольно навело меня на мысль, что черные волосы — признак высшего развития человеческих индивидуумов.

— Представь, она у меня стала заикаться,— жаловалась маме бывшая ее соученица,— вот уже несколько месяцев ни слова нормально не скажет, и ни с того ни с сего. Вот я и думаю — тебя, девочка, как зовут? Ага, Ярушка, так же как маму. Знаешь, что? Ты за Ольгой все повторяй, ладно?

Ольгино лицо ничего не выражало.

— Ну, поиграйте в саду. А ты, Ярушка, не забывай!

Я не забывала, и мы прекрасно играли. Обе мы тихие и старательные и хорошо знали, о чем целый день хлопочут наши мамы, знали все их заботы.

Мы играем в магазин. Палисадник дает нам для игры массу возможностей: песок — мука, известка — сахар, обломки черепицы — пряники, мелко растертый кирпич — корица, трава и цветы — овощи, хуже всего приходится дождевым червям. Это у нас колбаса, мы режем червяков обломком черепицы на мелкие кусочки.

— С-с—сто гра-аммов, — требует Ольга-покупательница.

— С-с — сто гра-аммов? —повторяю я — продавщица.

— За-за — заверните!— велит Ольга.

— За-за —завернуть?— Я повторяю за ней, как велела ее мама, и заворачиваю разрезанного червяка в листок.

А потом мы стряпаем своим мужьям и детям обед — они, как и положено, ужасно любят кнедлики.

Мы накопали кучку глины, раздавили камушек, но где взять необходимую жидкость?

— На-на — писаем?— предлагает Ольга.

— На-на — писаем,— соглашаюсь я.

Тесто для кнедликов готово, мы лепим кнедлики, булки и ка-ка — калачи.

Клянусь, этот, я бы сказала, жестокий метод вскоре излечил Ольгу — может, это было у нее возрастное; вскоре она уже стала говорить вполне нормально, но, сдается мне, затаила ко мне ненависть.

Мы были в преотличных отношениях, Ольга любила хвалиться, а мне бы только кем-нибудь восхищаться.

— Захочу и влезу на эту акацию, на самую макушку.

— Ну влезь.

— А я не хочу.

Я пожимала плечами. Что ж, не хочет, так не хочет, ничего не поделаешь.

— Захочу и перепрыгну через ваш дом.

— Ну перепрыгни.

— А я не хочу!

Я не настаивала, я свято ей верила, а когда оставалась одна, пыталась забраться на дерево или перепрыгнуть через дом. Все мои попытки оканчивались неудачей, а мое восхищение Ольгой еще более возрастало.

Я торчала в нашем палисаднике и с завистью смотрела, как умытая и нарядная Ольга вышагивает по дороге и прижимает к губам свежевыглаженный носовой платочек. Платочек казался мне верхом элегантности, я смотрела ей вслед и мечтала о таком же абсолютно чистом платочке, еще теплом после глаженья, который я тоже смогу прижимать к губам.

— Опять чистый платок,— сердилась мама,— один раз сморкнется, а мать с утра до ночи гни спину у корыта!

Ольга плывет по поселку, белая лебедь с черным хохолком, я завистливо прячусь в кустах. Мне так нужен свежевыглаженный платочек, так нужен!

— Мама, у меня зуб болит.

— Зуб? Ну что там у тебя опять? Какой? Да разинь ты свою пасть!

Мама лезет мне в рот, палец ее пахнет чесноком и майораном, запах картофельной похлебки не берет никакое мыло, он навечно въелся в кожу.

— Придется идти с тобой к зубному! Пускай папа идет — ведь обязательно орать будешь!

Ничего не получилось — с мамой не справиться. Я забираюсь в беседку, зависть и злость улетучиваются. Передо мной раскинула ветви черешня с сочной и зеленой листвой, темно-розовые ягодки висят, покачиваясь на тонком черенке; все они разной величины — от самой маленькой до самой крупной. Ягоды — сердечки теплые, живые, кому они предназначены? Может быть, птичкам или гномикам, а может, котятам с шелковистой шерсткой?

— Пойдем к нам, хочешь?

Мне не очень хочется, но возражать я не умею. Ольга тащит меня через весь поселок. Мы минуем длинный дом, наверное, здесь когда-то были торговые ряды, а теперь в

этом низком здании поселили вдов. Они свято охраняют свой покой и в ответ на уличный шум поливают тех, кто осмеливается подойти поближе, бранью и помоями. Мы обходим опасную зону стороной, Ольга все еще выступает с прижатым к губам платочком.

Если б я шла со Штепкой, нас уже облепила бы целая ватага ребят, но Ольгино высокомерие создает вокруг нас пустоту, нас просто никто не замечает.

Поднимаемся по деревянной лестнице. Верхние квартиры во время сильных дождей заливает с крыши, нижние — затапливает снизу. Верхним досталась в собственное пользование крохотная передняя, зато им приходится спускаться вниз за водой и по другим неотложным нуждам.

Ольга тащит ведро, на нее вдруг накатывает приступ чистоплотности. Она наливает полный таз (забрызгала лестницу, прихожую, кухню), хватает щетку и оттирает меня мылом, порошком, вонючим дегтем.

Но моя кожа белей не становится. От холодной воды и щетки она становится красной. Ольга все намыливает и намыливает меня. Хуже всего дело обстоит с темной родинкой на ладошке: тут старания Ольги напрасны, коричневое пятнышко не смывается.

Я отполирована до блеска, вся съежилась. И Ольге это занятие уже надоело.

— Так еще ничего,— замечает она благосклонно,— возьми мой платочек.

Она протягивает мне свой наглаженный платочек, я счастлива, я прижимаю его к лицу. Но счастье длится недолго. Ольга усаживается, открывает с важным видом книгу, переворачивает листок за листком и читает. Читает! Водит пальцем по строчкам и читает. Я еще не знаю ни одной буквы, я вконец раздавлена.

— Это букварь, — хвалится Ольга. — Вот господин президент, а вот это — «а». Захочу, прочту всю книгу от начала до конца.

Пусть она лучше не хочет. Сердце у меня обрывается. Я возвращаю платочек и мчусь домой. В отчаянии я делюсь своим горем с мамой.

— Умеет читать? Весь букварь? Видишь, а ты ничего не умеешь. Ты, Павел, тоже хорош, целый год на ребенка и не глянешь. Ей вот-вот в школу, а она ничего не знает. Ольга уже читать умеет.

— Какая еще Ольга?

— Ну вот, он спрашивает, какая Ольга! Так-то ты своей семьей интересуешься?

Папа взялся подготовить меня к школе. Сам он в школу ходил недолго, и ученье представлялось ему делом несложным. Он купил тетрадь, на одной линейке написал маленькое «а», на другой — большое «А», на третьей — маленькое «б», на четвертой — большое «Б», пока не исчерпал всего алфавита.

— Садись и пиши!

Папа заточил карандаш, я вцепилась в карандаш всей пятерней.

— Как ты карандаш держишь? Это же не чурка! Черт побери, ну чего ты вцепилась, держи свободней, он от тебя не убежит!

Крак! Только я изобразила первого уродца, как кончик грифеля отскочил под стол.

— Зачем ты так сильно нажимаешь? Это же карандаш, а не лопата! Ты ведь не грядки копаешь! Не реви, не то шлепну разок-другой, нечего зря нюни распускать!

Карандаш снова отточен и втиснут в мою потную ладошку.

— Да подними ты голову! Ты что, носом писать собралась, что ли? Господи боже мой, и это у нее называется «а»! Ты что, не видишь, как надо «а» писать?

Ах, какие уродцы, какие кривые каракули появляются на белый свет из-под моего карандаша. Как мало похожи они на оригинал, как ужасно сложны все эти полукружья и крючочки.

Через несколько вечеров, когда то и дело ломались кончики карандашей, звенели оплеухи и злые слова и лились горькие слезы, папа сдался. Моего большого «Е» он уже не смог вынести.

В один угол полетел карандаш, в другой — разодранная пополам тетрадь.

— Я же тебе давно толкую, что она — круглая идиотка,— успокаивает его мама,— а впрочем, для девчонки это, может, и не так уж страшно!

Итак, я пошла в школу, не обремененная знаниями и не умея написать ни одной буковки, ни одной цифры. А к рождеству я уже могла прочесть газету. Ольга вопреки своему хвастовству далеко отставала от меня, и мое восхищение ею поблекло. А в один прекрасный день навязан-

ная нам силком дружба и вовсе кончилась. В школе мы сидели рядом и, как того хотели наши мамы, вместе возвращались домой. Я тащилась медленно, мне необходимо было осмотреть по дороге кучу вещей, Ольга некоторое время держалась рядом, но потом ей это надоедало, и она убегала одна. Пускай! Я не торопилась; подошла к дому, и ноги мои приросли к земле!

Я незаметно ощупываю нос, ничего особенного не обнаруживаю, но все замедляю и замедляю шаги. Знаю, что меня ждет ежедневный ритуал — вот уже мне навстречу выходит мама, вот она уже уставилась на мою курносую кнопку, уже прикасается к носу пальцем:

— Ну что? Забыла лямки? Да? И о чем ты думаешь?

Как меня мучит мамина прозорливость. Она все знает, ничто не остается для нее сокрытым и утаенным, притронется к моему носу и сразу узнает, что я не сумела нарисовать забор, раскрошила рогалик воробьям, выменяла пуговицу на сласти, весь завтрак отдала Либе, во время уроков уронила на пол пенал, как будто все грехи, все до одного, тайными письменами начертаны на кончике моего носа.

Однажды мама где-то задержалась, видимо выскочила за покупками, двери были заперты. Возле дверей стояла Ольга, только что обогнавшая меня.

— Никого нету,— сообщила она торжествующим тоном.

Я не поверила. Такого еще никогда не случалось. Я дергала дверную ручку, колотила в дверь ногами и наконец со злостью облегчила душу:

— Ну и дура же у нас мама!

И тут же, пожалев о необдуманно вырвавшихся словах, я готова была взять их обратно. Но было уже поздно. Ольга лишь зловеще ухмыльнулась и пошла прочь.

Я ждала перед запертой дверью, сидела на лавочке в палисаднике, и мир казался мне пустыней. Еще издалека я увидела маму, кинулась к ней, но мама с мрачным видом, даже не дотронувшись до моего носа, принялась меня отчитывать:

— Ты что сказала? Отвечай, что ты сказала?

И тут мне все открылось. Мама предала меня. Вовсе она не была всезнающей и всевидящей — она просто выслушивала ябеду Ольгу, а потом выходила мне навстречу, дотрагивалась до носа, а я-то ей верила!

Стыд и отвращение обволокли тьмой мою детскую душу. Не стану я просить прощения, я уже совсем забыла свои необдуманные слова, меня огнем жжет мамино предательство, и я пристально смотрю на нее с недетским презрением.

Мама знает, что ответа не добьется, она выкладывает последний козырь.

— Все будет сказано отцу!

Обычно она только угрожала, но на сей раз угрозу выполнила.

Я терпеть не могу, когда папа читает мне нотации, когда буравит меня своими стальными глазами.

— Это правда, что ты обозвала маму грубыми словами?

Я пожимаю плечами. Мне и самой тяжело, что с языка сорвалась невзначай такая грубость.

—Откуда ты об этом узнала? Ты что, сама слышала?— обращается отец к маме.

— Это Ольга бегает на меня жаловаться,— выдавливаю я,— каждый раз обгоняет и ябедничает.

Отец хмурится.

— Мама желает тебе добра,— говорит он не слишком убежденно,— но ябед я не терплю, с ябедами я никогда дружбы не водил и не вожу.

— Заступаешься?

Казалось бы, дело на этом закончилось. Но я так и не смогла простить маме предательства, меня угнетало, что она объединилась против меня с чужой девочкой. Мне было не понять причин их союза, но разочарование мучило меня, и я тяжело переживала случившееся.

Поначалу осторожно, потом со все возрастающим искусством я закидывала маму враньем и вымыслами. И она неизменно попадалась на крючок. Мой нос теперь уже не выдавал меня. Я научилась врать, дерзко глядя маме прямо в глаза. В голове прыгали злобные чертики, они хлопали в ладоши, радовались моей победе и подсказывали все новые и новые выдумки.

Ольга перестала для меня существовать. Она могла сколько угодно прохаживаться мимо нашего садика, прижимая к лицу наглаженный платочек, она была для меня просто пустое место.

— Захочу, буду учиться лучше тебя,— пыталась она навязать мне былую дружбу. Но я не попадалась на провокацию. И на все ее попытки упорно молчала.

А ВДРУГ Я СТАНУ АРТИСТКОЙ?

В школу я ходила неохотно, угрюмое здание нагоняло страх. Коридоры освещались зловещими газовыми горелками, в классы уже провели электричество, и огромные матовые колокола угрожающе висели над нашими головами. Пол был темный, пропитанный чем-то маслянистым, стены — серые, парты — старые, сплошь изрезанные, все в кляксах. Сзади на вешалке висела наша одежка; грязную, промокшую обувь мы не снимали.

Когда печка в коридоре накалялась, от нашей одежды поднимался пар и становилось жарко до дурноты. Проветривали класс лишь на переменках, нижние стекла замазаны белой краской, чтобы улица нас не отвлекала. Бесконечное повторение пройденного доводило меня до какого-то сомнамбулического состояния, уголком сознания я улавливала происходящее в классе, а в голове роились фантазии.

В классе жило особое зловоние, пахло всем: и пылью, и влажной одеждой, и чернилами, и старой бумагой, и жиром.

Здесь учились дети из рабочего поселка и из новых красных домов; два этих мира, в общем, так и не слились до самого окончания школы; случаев взаимопроникновения почти не было. Я постоянно перебегала из лагеря в лагерь, играла с ободрашкой так же хорошо, как и с разодетой первой ученицей. Однокашницы занимали меня, как занимали мухи и жучки, я охотно проникала в их жизнь и в их семьи.

Я любила всех, ужасала меня лишь одна девочка, которая с самого начала настойчиво искала предлога приласкаться ко мне. Я росла среди мальчишек, и ее девчачья потребность вечно кого-нибудь гладить и целовать казалась мне противоестественной. Когда она бросалась ко мне, раскрыв объятия, я задыхалась от отвращения, пятилась к стене, а она прижимала меня к пальто на вешалке, пытаясь поцеловать. Я бешено сопротивлялась и, в ужасе вырвавшись, кидалась прочь. Я избегала ее, обходила за версту, пока она не нашла себе новой жертвы.

Наша учительница была молодая и веселая и к своей профессии относилась не слишком серьезно. Она только что вышла замуж и ушла от нас еще до окончания учебного года, начав раздаваться как на дрожжах. Возможно,

она дала нам мало знаний, но ее приветливое пухленькое личико с двойным подбородком осветило мои первые школьные шаги. Я училась со сказочной легкостью. С каждым днем я выравнивалась, распрямлялась, словно помятая трава, помятая вечными мамиными упреками и замечаниями.

Я далеко обогнала остальных детей, ведь я отлично знала родной язык! Папа часто декламировал стихи, мама на свой лад пела целые баллады из «Букета» Эрбена[1], рассказывала и читала нам сказки.

«Мутры» моих соучениц все еще «пуцовали» башмаки «шувиксом». «Фатры-айзнбоняки» работали «на верштате с ферцайком» и тому подобное[2].

Большинство детей лишь в школе услыхали настоящий литературный чешский язык, они по слогам произносили слова, значения которых не знали. Они привыкли к искаженному, испорченному языку и часто не понимали даже простейших фраз. Так что, можно сказать, они учились читать как бы на неродном языке.

Наши только дивились, что я приношу домой пятерки и учусь играючи. Но в классе я не была первой: природа обделила меня тщеславием, я не желала выделяться, мне это было даже неприятно, в толпе я чувствовала себя куда спокойней.

Умение читать перевернуло все мое существование. Реальный мир утратил смысл, меня ослепил мир букв. Я уже больше не играла, не наблюдала, не жила, я стала читать, только читать и читать. Это было сродни одержимости, я читала все подряд: плакаты, бесстыдные надписи на заборах, рекламу, книги, газеты, которыми мама застилала вымытый пол, нарезанную бумагу в уборной, счета и папины шахматные партии.

Ко мне в наш палисадник тянулись девочки, их привлекали мои игрушки. Когда у тети Тончи и тети Труды

---

[1] Эрбен, Карел Яромир (1811—1870) — известный чешский поэт, славист, сторонник славянского единства, много сделавший для развития чешско-русских связей. «Букет» — единственный его поэтический сборник, в поэзии Эрбен обращался к фольклору, главным образом чешскому.

[2] Искаженные немецкие слова, засорявшие чешский разговорный язык. Соответственно от слов: Mutter — мать, putzen — чистить, Schuhwichse — крем для обуви, Vater — отец, Eisenbahn — железная дорога, Werkstatt — мастерская, цех, Verzeichnung — *здесь:* чертеж.

родились мальчики, все их девичьи игрушки постепенно перекочевали ко мне. У меня была плита, самая разнообразная посуда, коляска с занавесочками и одеяльцами и несколько кукол.

Мама не могла без слез смотреть на моего голыша Павлика, и в первое же рождество на новой квартире я получила в подарок Пепика. Эту большую куклу я невзлюбила, папа хотел показать нам, что она не бьется, и когда протянул мне ее под елкой, то нарочно уронил на пол. Потом нас обоих собирали по кускам, Пепика и меня. Возможно, именно поэтому я невзлюбила эту куклу в мальчишеском костюмчике. От тети Труды ко мне перешла красивая фарфоровая куколка с закрывающимися глазами и настоящими волосами. Но волосы я ей обкромсала, а потом и вовсе содрала паричок: меня заинтересовал механизм, скрытый в ее голове. Обезображенную куклу мама отдала в починку, сшила ей платье и пальто из синего шелка, с красной отделкой, соорудила шляпку и купила туфельки. Эту куклу звали Барышня.

И еще была у меня большая красавица кукла в пелеринке с бомбошками. Эта — была военным трофеем: ее вместе с медведем Медей купили за гроши во время инфляции в Германии. С этой роскошной куклой играть мне не разрешалось, она гордо восседала на комоде.

Когда ремонтировали наши дома и пристраивали козырьки над лестницей, ведущей в погреб, который вечно затопляло, кто-то польстился на ее красивое личико и со строительных лесов стащил куклу.

Мама потом долго упрекала себя, зачем не позволяла мне играть с ней. Кукла сохранилась лишь на фотографии, эта фотография дорога нам всем. Это единственная фотография, сделанная в то время, когда братишка был еще здоров. Он улыбается, рядом с ним сидит Медя. В отличие от меня братишке с Медей играть разрешалось.

Обряд фотографирования я помню прекрасно, к нему шла тщательная и длительная подготовка, мне было велено умыться, причесаться, надеть воскресное платье и взять в руки самую лучшую игрушку. Фотограф поставил нас в ряд, потом накрылся черной тряпкой, вылез, что-то подправил, пообещал, что вылетит птичка, сказал, чтоб смотрели в черную дырку и не шевелились.

Как только щелкнул затвор, я моргнула. Птичка не вылетела. Мама на меня накричала, а фотограф вставил

новую пластинку, и, конечно, в критический момент я опять моргнула.

— Вам придется еще платить, — сказал фотограф, но мама отказалась. Она утешала себя мыслью, что, может, я моргнула чуть раньше или чуть позже, чем раздался щелчок.

— Ведь только и есть что красивые глаза, — вздыхала мама, глядя потом на фотографию,— и то она зажмурилась.

Родственники и знакомые восхищались Павликом — «прекрасно получился, совсем как живой, а на куклу, на куклу-то поглядите! Замечательно личико вышло, до чего же красивая кукла».

Обо мне — ни звука. Из вежливости.

Поэтому я к немецкой кукле равнодушна, мне и играть-то с ней вовсе неохота. А теперь меня перестали интересовать и остальные игрушки, я читаю, а подружки играют. «Можно мне ее взять?» — спрашивает кто-нибудь, и я, чтобы отвязаться, киваю. «Можно мне эту взять насовсем?» — просит другая, я опять киваю, пусть берут, лишь бы поскорее ушли, они мне мешают.

Мама ругает меня за безалаберность, а сама выбирает из моих игрушек, что считает нужным, и увозит. Они с папой ездят к Павлику.

Я не могу представить себе братишку в странном городе, называющемся Луже-Кошумберк, туда ездят поездом и автобусом, мне он кажется страшно далеким. Всякий город, куда нельзя добраться поездом, мне заранее кажется подозрительным. Павлик растворяется в неизвестности, его образ гаснет в моем сознании.

Говорят, будто живет он в большом доме, где одни только калеки, и всех посетителей они называют «мама» и «папа». Они могут смотреть в сад, знают белок и птиц, но никогда не видели ни собаки, ни кошки. Добрый пан директор ходит между постельками, подставляет детям карман с орехами и смеется, если ребятишки потихоньку их таскают.

Мама возит в Луже-Кошумберк целую сумку пышек, конфет, игрушек, одаривает чужих детей, особенно тех, которые кричат ей «мама»: здесь многих вообще никто никогда не навещает.

Я посылаю им свои игрушки вроде бы охотно, но обида растет, мне представляется, что мама предает меня не

только ради братишки, но и ради совсем чужих детей, тех, кого я в жизни не увижу. Игрушки, что она забирает из моей коробки, становятся мне особенно дороги и нужны.

Однажды вечером, перед самым их отъездом, тетя Труда принесла большую, на шарнирах, куклу Лиду. У нее были косы из настоящих волос и богатое приданое — белье, платьица. На каждой вещице вышита монограмма.

— Рядом с Павликом лежит девочка, она совсем не может ходить. У этой девочки нет ни мамы, ни папы. Знаешь, как бы она обрадовалась кукле? Ты ведь все равно в игрушки не играешь, может, пошлешь свою куклу той девочке?

В ответ на этот вопрос — впрочем, больше похожий на приказ — я кивнула головой, но огорчилась и опечалилась из-за куклы, как из-за умершего мальчика Фаноушека. Мне было еще обиднее оттого, что я не могла познакомиться с этой девочкой. Ведь куклу я ни одного разочка не переодела в новое платье, ни разу не расплела ей косичек, не завязала бант, не перебрала приданое, а ее уже отнимают. Короче, утратила, еще не обретя.

В тот вечер я плакала навзрыд. Соседка, что жила наверху, проснулась. Спустилась ко мне.

— Что с тобой? Открой, это я! Случилось что-нибудь? Может, ты боишься?

Я притихла. Босиком прошлепала к дверям.

— Нет, не боюсь, мне просто сон приснился.

— Ну спи! Может, взять тебя к нам? Или с тобой остаться?

— Нет, я не боюсь, я спать буду.

Я вернулась в свою постель и продолжала плакать, приглушая рыданья. Меня охватила смертельная тоска, ветви старой акации тянули к занавескам свои когти, будто собираясь меня задушить, а мама с папой исчезли где-то в неизвестности и забрали у меня куклу Лиду, которую я не успела даже понянчить.

В воскресенье я бегала со Штепкой, я могла бы у них переночевать, но не любила спать с кем-то в одной постели, да и дядя пугал меня гораздо больше, чем одиночество.

Родители возвращались лишь к вечеру, папа бывал необычно разговорчив, а мама странно опустошена. Она бессильно опускалась на стул, словно из тела ее вынули все кости, руки безжизненно повисали; каждое движение

давалось с огромным трудом, усталость держалась по нескольку дней. Она молча вперяла взгляд в пустоту, а если у нее вдруг начинала капать из носу кровь, она даже не старалась остановить ее, как это делала раньше, а только наклонялась над ведром, словно желая, чтобы вместе с кровью вытекла из нее и сама жизнь. Как только я пыталась приблизиться к ней, она злобно отгоняла меня.

— Отстань, дай мне покой! — шипела она враждебно.

А я про себя огрызалась: «Покоев у нас нету, кухню — не отдам» — и утыкала нос в книгу.

Оторвать меня от чтения могла лишь музыка. Когда появлялся шарманщик, дети выскакивали из домишек, из палисадников, и я была первой среди танцующих. Ритм пьянил меня, я вертелась, кружилась, подпрыгивала. Ноги мои так и ходили сами собой.

А если на Делницкой улице раздавались звуки военного марша, я стрелой вылетала на улицу и могла бы шагать следом за солдатами хоть на край света. Забыв обо всем, я подчас оказывалась далеко от дома, в незнакомых местах. Но только подует ветерок, я, словно вылупившаяся из яйца черепашка, почуяв воду, находила, следуя изгибам реки, дорогу домой.

В хорошую погоду в соседних палисадниках заводили граммофон, репертуар был невелик, да и граммофон хрипел. Я слушала с восторгом и быстро запомнила слова. Однажды я пропела маме: «Когда закурю, тебя уложу, тебя полюблю...» Она отвесила мне такую затрещину, что навсегда вбила слова в мою память, они засели там словно гвозди.

Папа относился к шлягерам снисходительней, как-то он повел меня в театр. Из кукольного театра я сразу попала в Национальный. Его размеры и простор поразили меня еще сильнее, чем костел, меня охватили восторг и страх. Мы сидели в первом ряду второго яруса, и я не осмеливалась положить на барьер руку, опасаясь, как бы не сверзиться с этой высоты.

Папа билета мне не покупал, я сидела у него на коленях и с замиранием сердца ждала, что вот-вот этот красивый балкон рухнет вниз вместе с нами.

И все же я радовалась, что мы сидим не внизу, под гигантской люстрой. Я не сводила очарованных глаз с этого сверкающего золотом чуда и ждала, когда оно отор-

ется и поплывет по воздуху, это напряженное ожидание было мне приятно: с большим удовольствием полюбовалась бы я катастрофой. В полном неведенье насчет моих фантазий, папа объяснил мне, что есть особый железный занавес — на случай пожара,— и я с нетерпением ждала, когда же наконец театр начнет гореть.

— Что написано над занавесом, там, наверху, сумеешь прочесть?

Я напрягаю зрение, буквы совсем не такие, как в книжках, но я не сдаюсь и медленно, громко читаю: «Народ — себе»[1]. Вокруг смеются.

— Народ — себе!— с удивлением повторяет папа.— Ну, дочка, богатство народу не грозит.

Стало темно, грянула музыка. Страх прошел. Просто его никогда и не было. Когда на сцене загорелись огни, я забыла, что сижу над пропастью, и сказка началась.

Папа сидит, я стою перед папой и, если б он не обнимал меня своими сильными руками, наверное, шагнула бы навстречу танцорам, моя душа трепещет и вьется над сценой, словно ночная бабочка с опаленными крылышками.

Мы молча возвращаемся домой, во мне все еще звучит музыка, я иду на пальчиках — ведь я королева кукол, я ожившая кукла, я взлетаю вверх, и юбочка моя красиво колышется. Дома со мной нет сладу, я либо утыкаюсь в книгу, либо бегаю на цыпочках, изнемогаю от упражнений босиком или в тапочках, лишь бы достичь балетной легкости, все сама, без чьей бы то ни было помощи или совета.

— Делом заниматься — так тебя нету,— бранит меня мама,— одни только глупости на уме, бесится и бесится с утра до ночи.

Мама намекает на мою черствость и бездушие, ей кажутся постыдными мои постоянные танцы, ведь братишка лежит без движения. Но я живу минутой, расстояние унесло Павлика из моей души.

Мои танцевальные успехи натолкнули Штепку на мысль устроить представление и заработать кучу денег. Она вложила в это предприятие целую крону, истратив

---

[1] Национальный театр в Праге, построенный на средства, собранные в самых широких слоях общества, был открыт в 1881 году.

ее на цветную бумагу, и соорудила две розовые юбочки. Осталось еще на два бумажных банта. Штепка основательно все продумала, зрители будут сидеть на лестнице, что ведет в погреб, а мы будем выступать на маленькой площадке перед входом. Плата за билет — двадцать геллеров.

И впрямь публика собралась — реклама была основательная, но денег ни у кого не оказалось. Все хотели пройти по контрамаркам. Зато зрители присоединились к труппе, и вскоре сцена уже не отличалась от зала, а от юбочек остались одни лишь лохмотья. Розовые бабочки разлетелись по всему поселку, и наш бенефис окончился крахом.

Папа продолжал водить меня в театр, все больше и больше очаровывала меня сцена. Я повидала много балетов и опер, но больше всего меня потрясла сказка Зейера[1] «Радуз и Магулена». Папа принес текст пьесы, и вот на долгие часы я становлюсь Магуленой, превращенной в дерево злой принцессой Руной. Мой ли природный нрав или талант актрисы Гюбнеровой сыграл свою роль, но я отдавала предпочтение злой принцессе Руне и в споре героинь была на ее стороне, жалела ее, привязанную за волосы к скале. Мне очень нравилась Русалка с ее серебряным голоском, хотя, конечно, значительно сильнее вдохновлял Водяной — по-моему, он пел куда лучше.

Огорчало меня, что папа никогда не покупал мне билета, и билетерша сердилась на нас: «она ведь уже большая». Я дрожала от страха, что меня выведут из зала, но этого ни разу не случилось. Папа покупал билеты по дешевке у рабочего сцены.

То ли от него, то ли от кого другого из знакомых папа узнал, что театр ищет маленькую худенькую девочку для какой-то пьесы. Роль была самая простая, ребенок вылезает из кроватки, танцует на пальчиках и бежит к матери. Может быть, произносит несколько слов. Самое главное — чтобы девочка не сбросила одеяло на пол. Уж не помню, как это случилось, но меня пригласили на пробу.

— Увидишь, она опять что-нибудь натворит, — уверяла мама отца, сдерживая порывы моего вдохновения.

Зейер, Юлиус (1841—1901) — чешский писатель, в своем творчестве обращался к мифам, легендам и сказкам разных народов. Из пьес наиболее известна сказка «Радуз и Магулена», музыка к ней написана Йозефом Суком.

— Почему? Ведь это же совсем просто.

— Для тебя просто. Но она будет дрожать от страха. Помнишь, как она стихи читала? Ну, Ярча, если тебя возьмут, я куплю тебе большого голыша!

Куклы меня не слишком интересовали, но большой голыш казался мне всамделишным ребеночком, я давно молча и тайно о нем мечтала, не раз ходила к витрине на Белькредке, где восседал пупс в рекламном приданом для новорожденных. Меня удивило, как это мама догадалась о моей великой мечте, казавшейся мне несбыточной, — ведь я о ней и словом не обмолвилась.

Вечером, перед пробой, мне привиделся странный сон. Будто бы в нашей комнате множество ниш, каждая закрыта зеленой занавеской. За всеми занавесками — большие голыши, а я перехожу от ниши к нише, откидываю одну занавеску за другой — протягиваю к ним руки, но куклы исчезают.

— Это хорошее предзнаменование, — сказала мама, когда я рассказала ей свой сон, — зеленый цвет — цвет надежды.

— Главное — не бояться! — подхватил папа.

Мы долго ждали, сидя в не слишком приятной атмосфере артистической уборной. Там немного пахло школой, да и тишина стояла школьная. Детей собралось порядочно, и родители поглядывали друг на друга недружелюбно, а мы бросали друг на друга испытующие взгляды.

— Ну, можешь начинать, — пригласил нас ласковый господин.

Но в этот миг в уборную ворвалась женщина с завитой мелкими кудряшками девочкой.

— Мы немного запоздали, — начала она непринужденно, — зато нашу не нужно пробовать, мама сама ее проверила.

Господин поднял брови.

— Она ведь дочь артистки!

— Да, но девочка слишком большая да и полновата, а господин режиссер...

— С ним мы сами договоримся. Господин директор обещал...

Ласковый господин привел режиссера. Вид у того был взъерошенный, недовольный.

— Поймите, она не подходит! Для этой роли нужен другой тип!

— Ах, тип! Значит, она для вас неподходящий тип? Но господин директор обещал!

— Как она одета? У тебя балетки с собой, а?

— Нет, но эта девочка ей одолжит!

Энергичная дама выхватила у меня тапочки, вцепилась в режиссера, который скривился, словно у него болели зубы, и они исчезли.

Вскоре вернулся ласковый господин. Он сунул мне мои туфли и виновато сказал:

— Они ей малы. Но все равно можете возвращаться домой. Спасибо всем, но вы нам больше не нужны.

И мы пошли. Мне не было жалко ни голыша, до которого, казалось, уже рукой подать, ни того, что я не буду выступать на сцене, но казалось страшной несправедливостью, что меня даже не посмотрели, лишили возможности показать себя. Лучше уж провалиться, чем быть обманутой.

Мы с папой долго шли молча. Только железки в его ортопедическом башмаке жалобно скрипели.

— Да, дочка, — произнес наконец папа, — такова жизнь.

Я поняла, что тепло его руки в случае нужды не спасет меня. И радовалась, что он не плетет чепуху. Я не ответила. Да и зачем?

Мы шли вдоль реки, я наклонилась, с плотины, пенясь, падала вода, и папа начал тихонечко декламировать:

Безбрежно море, лоно вод
в круженье и движенье.
И смерть одной волны дает
другой волне рожденье [1].

БЕЗ МАМЫ

Для меня осталось тайной, почему наша добрая учительница все толстеет и толстеет. И вот однажды на ее месте появилось брюзгливое седовласое тощее существо. Новая учительница беспрерывно вертелась на месте, барабанила пальцами по столу, стучала указкой, вызывала и сажала на место, ставила единицу за единицей, прежде чем ученица успевала понять ее быстро и косноязычно заданные вопросы.

---

[1] Перевод И. Александровой.

— Я вижу, что прежняя учительница вас ничему не научила. Ну чем вы только, скажите на милость, здесь целый год занимались? Хоть кто-нибудь из вас умеет читать? Кто лучше всех читает?

Девочки единодушно назвали меня.

Я начала раздельно, громко и четко.

— И это вы называете чтением? Так читает улитка или черепаха. Читать надо, как бичом хлопать.

Пристыженная, я села на место. Так я получила свой первый кол.

Едва волоча ноги, я плелась из школы домой.

— Мама пошла на рентген, — крикнула мне соседка сверху. — Она вот-вот вернется. Может, к нам зайдешь?

— Нет.

— Давай сюда портфель.

Счастье, что мамы нету дома, у меня не было ни малейшего желания говорить с ней.

— Есть хочешь?

— Нет.

Вскоре пришел папа. Он работал неподалеку и приходил обедать домой. Но плита была холодная. Папа отрезал себе хлеба; стряпней он никогда не занимался, считая это не мужским делом.

— Там, скорее всего, народу много, — сказал он спокойно, — или она пошла оттуда через Вацлавскую и разглядывает витрины.

Еще никогда не случалось, чтобы мама не приготовила обеда. Папа снова ушел на работу, а я притулилась в уголке. На улице было тепло, но от сырых стен шел холод, и, если не топилась плита, кухня была промозглой. Уют ее исчезал, на стенах проступала зеленая плесень, у плинтусов она казалась особенно зловещей.

Мама запрещает мне играть с зеркалом, воспользовавшись ее отсутствием, я снимаю зеркало со стены и пытаюсь запечатлеть в его блестящей поверхности различные предметы. Никто меня не ругает, и я успею наиграться досыта. В зеркале отражается часть потолка, он белый. Это снежная равнина, без конца и края, я бреду вдаль, и снег холодит мне ноги. Зеркало метнулось в моих руках, белая равнина превращается в пенистую воду, меня качают и баюкают волны моря.

Наклоняюсь над белой плоскостью, впиваюсь глазами в эту неоглядную пустыню, поворачиваю зеркало из сторо-

ны в сторону, к горлу подступает дурнота, мне становится страшно, на меня пахнуло чем-то далеким, чем-то нездешним.

Быстро ловлю блестящей поверхностью солнышко, бросаю веселых зайчиков на стены, на потолок; золотой кружочек скачет по нарисованным яблокам и грушам, расцвечивает краски, оживляет их, но страх и ужас во мне все растут.

Положение немного спасает злость, что мамы до сих пор нет, что она где-то бродит по Праге, глазеет на витрины, а меня оставила одну, а у меня от голода в животе бурчит, я назло достаю книжки, которые «не для меня», складываю слова, пробираюсь в другую страну, в иной мир, я пролезаю туда сквозь узкую щелку, вот я просунула голову сквозь прутья и теперь — ни туда, ни сюда, я хватаюсь за виски, из пропасти, курясь, поднимается печаль.

— Мама! Мамочка, где ты?

Кто-то стучится в окно. Штепка. Она вытаскивает меня из комнаты, как улитку из ее домика, но я к своему дому приросла, мне больно.

— Мама уже вернулась?

Штепка, наверное, встретила моего папу, и он послал ее за мной.

— Пошли к нам, а?

— А дядя на работе?

— Где же еще?

Дело в том, что отца Штепки я боюсь. Он ни разу меня ничем не обидел, но дома он ходит в кальсонах или в трусах, сосет угасшую трубку и требует тишины. Тетю душат невысказанные вслух слова: у меня такое ощущение, будто она вот-вот разорвется, я воочию вижу, как в ней слова громоздятся друг на друга.

У нас дома папа и мама равноправны, а тетя подчинена мужу, что кажется мне постыдным, я считаю это ненормальным, да и неприличным.

— Твой зятек, — после каждого посещения возмущается мама, — коммунист, а дома ведет себя как феодал: «Сиди тихо и занимайся хозяйством и детьми». Он и на меня рад бы прикрикнуть!

— Она сама виновата, всегда была такая, на ней любой может ездить, она и слова не скажет.

Тетя на мужа никогда не жалуется, наоборот, еще за-

ступается. Он, женившись уже немолодым (и потому, успев взять от жизни свое), сидит сиднем дома, не тратит лишнего гроша, а только любуется своими детьми. Любит их обезьяньей любовью, никогда не бранит, все их грехи и грешки сваливает на тетю.

— Это ты виновата, — ворчит дядя, — ты мать и обязана воспитывать их как следует.

Я обходила дядю за сто верст, в детстве я не обменялась с ним ни единым словом и даже здоровалась с ним с трудом, собрав все свои силы. Ни за что на свете я не зашла бы к ним, когда он был дома, но маме иногда взбредало в голову послать меня в воскресенье что-нибудь им передать или попросить соли, уксуса. Если мне открывал кто-нибудь другой, я, не отходя от дверей, шепотом выговаривала свою просьбу и опрометью кидалась прочь. Если же выходил сам дядя в вечных кальсонах, то, пробурчав: «Ребят нету дома», он перед самым моим носом захлопывал дверь. Подозреваю, он даже не знал, что я им родственница.

Позже на железной дороге ввели укороченный рабочий день, и дядя стал являться домой четверть третьего. Штепке не удалось бы затащить меня к ним даже на аркане. Орлиный нос, угасшая трубка и желтые пятки, выглядывающие из-под кальсон с развязанными шнурками, — все бросало меня в дрожь. Но дети, все трое, отца обожали, и это было одной из необъяснимых тайн нашего маленького мира.

Сейчас я иду вслед за Штепкой, воздух — чист. Тетя обычно после обеда садится почитать: книги она берет в библиотеке на три абонемента сразу, притаскивает целую кипу захватанных книг в серых переплетах и погружается в иную жизнь. Больше других ей по вкусу книги Ружены Свободовой[1]. Лишь позже я сделала вывод, что супружеское иго угнетало ее сильнее, нежели она сама себе в этом признавалась.

Тетя оставляет книги и тащит на стол все, что есть в доме, бежит в лавку и кормит меня булками, шоколадом, анчоусами. Как-то я сказала, что люблю кровяную колбасу, тетя не поленилась и помчалась на самую дальнюю улицу — Летнюю.

[1] Свободова, Ружена (1868—1920) — чешская писательница, одна из первых представителей чешского литературного импрессионизма. Много писала о детях и для детей.

— В Голешовицах нигде не было, девочка, будешь холодную или поджарить?

Когда я подросла и стала поумнее, то опасалась высказать при тете малейшее желание: она готова была продать единственные свои туфли и босиком кинуться за какой-нибудь чепухой. И не только для меня, для кого угодно. Если б она не боялась мужа, ее давно бы раздели и разули.

Тетя накормила меня вкусными вещами, но я успокоилась лишь на короткое время, во мне опять проснулся страх. Это был самый мрачный из всех видов страха — ужас перед ничем, перед неизвестным, но вездесущим, что опутывает человека изнутри и снаружи своей паутиной.

— Мама уже наверняка дома, — пыталась успокоить меня Штепка, — я пойду с тобой, хочешь?

Я с благодарностью приняла ее предложение, томясь в тоске и ужасе перед страшной минутой, когда мой путь преградят запертые двери.

— Мама еще не вернулась! — крикнула соседка. — Она где-то задержалась!

Соседка проводила все дни на подоконнике, подложив под пухлые локти подушечку.

— Хочешь, пойдем встречать маму? — сказала Штепка.

У нас не было заведено ездить на трамваях, расстояние от Виноградов до Голешовиц нам не казалось непреодолимым, ведь идти пешком — радость для глаз, витрина за витриной, на Вацлавской площади, на Пржикопах, на Поржичи! А ноги болят — так это пустяки, когда же доберешься до Главкова моста, то уже просто грешно тратить крону двадцать за такой маленький кусочек.

Мы со Штепкой ходим от распятия с разбитой статуей Христа до виадука и обратно, напряженно вглядываемся вдаль. Пешеходов здесь немного. Мы ждем, бредем вдоль рельсов, здесь, как обычно, маневрируют поезда. Штепка шутит с каким-то знакомым, тот сжимает флажок, ее смех мне неприятен, куда созвучнее моему настроению протяжное мычанье коров, я заглядываю в промежутки между вагонами, может быть, мама уже стоит на той стороне, а мы не можем туда перебраться.

Вагоны уходят, запах навоза перешибает сладковатое зловоние крови и гниения, мы проходим мимо боен, и я

жду, что вот-вот появится мамина фигура, мама ходит быстро, чуть наклонившись вперед, и смотрит в землю, как будто что-то потеряла. Паровоз, жалобно взвыв, выпускает пар. Тоскливый звук полоснул меня по сердцу. Мы возвращаемся, я гляжу через плечо: у танцовщицы на плакате подрисованы усы, Штепка подняла с земли палку и ведет ею по забору, возчик поит лошадь, у клячи вылезают ребра, а на боках следы кнута, жестяной Христос печально свесил на грудь голову, с неизбывной тоской мычит стадо овец, которых гонят на убой, кучка детей выкрикивает «Гонза, вставай». Штепка останавливается, скачет по начерченным на дороге классикам, толкает носком туфли черепок, а я с трудом волочу ноги, меня пожирает страх.

— Уже идет... — кричит Штепка, я напряженно всматриваюсь, и тогда она со смехом добавляет — ...если где-то не остановилась...

Я с трудом заставляю себя засмеяться вслед за ней, но все во мне сжимается, мы бредем к виадуку, потом обратно, ходим взад и вперед, и я все время оглядываюсь — Штепка без конца повторяет свою шутку. Я каждый раз попадаюсь на крючок, во мне вскипает радость, но тут же горло сжимает тоска, еще сильнее мучит отчаяние.

Я начинаю ненавидеть Штепку, меня раздражает ее беззаботность, мне так хочется, чтоб она ушла, и вместе с тем страшно остаться одной.

— Считай до трех, третьей будет мама. Обязательно, вот увидишь, — утешает меня Штепка.

Раз сто, а может быть, тысячу я считаю до трех, но ни один третий — не мама, и ничуть на нее не похож, я уже совсем одурела от страха.

— Давай поедим, — предлагает Штепка, — может, мама уже дома, может, она на трамвае приехала.

Я знаю, что дома ее нету, знаю, что она в опасности, знаю это наверняка, мне кажется, что я предам ее, если сейчас уйду, и, наоборот, помогаю ей, раз жду и неустанно зову про себя.

Штепка побежала за едой, небо из синего стало фиолетовым, дети расходятся по домам, то из одного, то из другого окна их окликают мамы. Кусок не лезет мне в горло, а Штепка съедает свой хлеб с волчьим аппетитом и тащит меня за руку.

Папа дома, но мама исчезла, как сквозь землю провалилась.

— Скорее всего, бродит по Летной, — рассуждает папа. — Ты же ее знаешь!

Он неуверенно сыплет в маленькую мерку кофе, а в большую цикорий, в кухне его руки теряют всю свою ловкость, зернышки раскатились по полу, мельница кажется до смешного маленькой. Она уже не веселый будильничек, она жалобно скрежещет и бередит мне душу.

Огонь тоже враждебен, он зловеще потрескивает в печи, а вода в смятении булькает на плите, я пытаюсь понять, что она хочет поведать мне, но вода только шипит как змея, я задыхаюсь от страха и выскакиваю на улицу.

Штепка терпеливо ходит со мной, она больше не шутит, держит меня за руку. Фонарщик шестом зажег фонари, а дым от паровоза превратился в искры, они сыплются с виадука алыми снопами и, разлетаясь в разные стороны, одиноко гаснут в темноте каждая сама по себе.

— Идет! Взаправду! По-настоящему!

Я останавливаюсь. Это моя мама! Это она и не она. Испуганная и чужая, она стоит рядом, но она — далеко.

— Мамочка? Где ты была так долго?

Она не отвечает. Может, не слышит, может, пытается вспомнить.

Штепка поворачивает к дому, я оглядываюсь. Я боюсь остаться наедине с мамой, нас разделяет непреодолимое расстояние. Я приглядываюсь к теням, которые то обгоняют нас, то идут позади, они не поспевают вслед за нами, но потом, обогнав, снова бегут впереди, становятся то длиннее, то короче, и на меня накатывает новая волна страха.

Это мы идем или наши тени? Это на самом деле мы, живые, настоящие, или наша тень? Я боюсь, что моя рука пройдет сквозь пустоту, если я дотронусь до мамы.

— Что случилось? — спросил папа. — Ты где так долго была?

— Где я могла быть? — ответила мама зло, таким тоном, будто в чем-то обвиняла нас. — На рентгене. — И, словно желая наказать за какую-то несуществующую нашу вину, вызывающе добавила: — У меня затемнение в верхушках легких.

Лишь много позже мама поделилась со мной, что, узнав диагноз, она решила наложить на себя руки. Долго

бродила по берегу Влтавы, но так и не отважилась броситься в воду, а я в отместку никогда не проговорилась ей о том, какую муку вытерпела моя детская душа, пока я ждала ее возвращения.

У папы на работе — на железной дороге — были свои врачи и амбулатория на Виноградах, свои медицинские учреждения. Мама собиралась в санаторий, в Татры; доктор устроил все очень быстро.

— Что делать с девчонкой? — беспокоилась мама. — Не оставлять же ее на целое лето в Праге?

А так как все наши дела решались на большом семейном совете, то именно там появилась гениальная идея. Муж тети Труды был когда-то скаутом и в последнюю минуту устроил меня в скаутский лагерь.

Мне еще не было семи, и вожатый поддался на уговоры при условии, что поедет и Лидунка тоже и будет за мной приглядывать. Но сначала он пожелал меня испытать и взял с отрядом на экскурсию. Я уже привыкла ходить с папой на далекие прогулки и в походы и не нуждалась в особом внимании.

Нельзя было и придумать лучших условий для экзамена: хлынул дождь, очень скоро перешедший в ливень, все вымокли до нитки, но мне это было по душе. Мама давно бы загнала меня домой, а сейчас нам приходилось идти все дальше и дальше, лило и с неба и с деревьев, я нарочно хваталась за ветки, чтоб меня всю окатило водой, вода мчалась по тропинкам, канавкам и выбоинам, земля ускользала из-под ног.

Мы подошли к бурному горному потоку, на другом берегу стояли две девушки. Неожиданно разверзшиеся хляби небесные отрезали их от дома. Старшие скауты с энтузиазмом, упираясь ногами в камни, перенесли бедняжек, я перетащила их сумки.

— Когда тебе выдадут галстук, ты тоже завяжешь его узелком, — сказал вожатый, — каждый день ты должна совершить хотя бы один хороший поступок.

Я обомлела. Ведь не каждый же день мне выпадет случай переносить сумки через мчащийся горный поток? А что, если дождь прекратится?

— Тебе не холодно? — беспокоился вожатый и тут же под деревом натянул на мои мокрые ноги свои носки, достав их из походного мешка. Потом снял с себя куртку и отдал мне свою сухую рубаху.

Когда меня возвратили маме, вид у меня был великолепный: волосы лохматые, на ногах мужские носки выше колен и зеленая, почти до земли рубаха. Но я весело пела: «Ура, ура, чудесный был поход, вода нам не страшна, ура, ура, ура!»

Экзамен сдан, путь в скаутский лагерь открыт.

Мы уезжали почти одновременно, мама и я. Любопытство смягчило горечь разлуки: я ведь поездом буду ехать, долго-долго, почти до самой границы, я отправлюсь в Бланско, в Южную Чехию.

Мне нужна фотография, ибо в дорогу мне выдадут удостоверение личности, свое собственное. Это обстоятельство чрезвычайно мне льстит. Слова «удостоверение личности» в моих глазах подтверждают, что я уже совсем взрослая, они открывают мне дорогу во все концы света. Плохо обстоит дело с фотографиями, пока что у меня их всего две, на одной я лежу голышом на медвежьей шкуре, на другой — мы все с братцем, с медведем Медей и немецкой куклой — это та самая, где глаза у меня закрыты.

Нас ждет полный треволнений путь к фотографу. Я должна восемь раз умыться, девять раз причесаться и надеть самое лучшее платье.

— Только попробуй моргнуть, — всю дорогу шипит мама, — да смотри не оттопыривай губы, и так на обезьяну похожа. Улыбайся! Понимаешь? Да не хохочи, не вздумай выставлять свои беличьи зубы. Глаза разинь.

Я семеню возле мамы, фотографироваться кажется мне самой страшной вещью на свете, я пытаюсь не моргать, но как-то само собой моргается; я вовсе не собираюсь — и хлоп, хлоп, и снова хлоп — хлопаю глазами.

— Ну вот, пришли. Постой, дай причешу немножко. И знай, если не улыбнешься, получишь такую затрещину, что навеки вечные запомнишь!

На фотографии я все-таки не улыбаюсь, я похожа на печальную обезьянку с вытаращенными глазами. Зато я не моргнула.

К школьной юбке в складку я получила зеленую скаутскую блузу, галстук (это на случай добрых поступков), ботинки на шнурках и рюкзак. Лидунка была экипирована точно так же, только рюкзак у нее был побольше. К роли моей опекунши она относилась всерьез, глаз с меня не спускала.

В лагере нас ожидал сюрприз. Не только город и окре-

стности были полностью немецкими, но и среди скаутов — нас, чехов, считая меня и Лидунку, было всего пятеро. Я не понимала ни слова. Лидунка училась в пятом классе, одно время занималась частным образом немецким, но тоже объяснялась по-немецки через пень колоду.

Мальчики разбили палатки в лесу, нас вместе с большими девочками разместили в школе, на соломенных матрацах. В лагере я была самой маленькой.

Первая ночь была полна страхов. Никто из взрослых не в состоянии понять, как должна чувствовать себя семилетняя девочка, оторванная от родителей, попавшая в чужую среду и не понимающая ни слова. Я улеглась на свой матрасик и тут же душераздирающе разрыдалась. Немки, все как одна с косами, еще ухудшили дело: желая меня успокоить, они целовали меня, гладили, тащили к себе на матрац, а я сопротивлялась, отбивалась, ласки чужих были мне неприятны, и я орала еще громче. Девочки решили, что меня обидела Лидунка, и залопотали о чем-то по-немецки, о чем, она не поняла, ей понятнее были жесты, а не слова, и она разревелась тоже.

Днем я отвлекалась, понемногу привыкала, но в самые неподходящие минуты на меня нападала хандра, и успокоить меня было невозможно. Попадало за меня Лидунке, и я стала любимицей лагеря.

До Гитлера было еще далеко, и немцы приняли меня дружелюбно. Но какое это имело значение, если мы не могли договориться? На кухне помогал старичок с белыми усами. Прежде чем дать звонок к трапезе, он звал к себе нас, чехов, и совал булку или ломоть хлеба с маслом. Он охотно брал меня с собой за покупками.

— Садись, чешка, поехали, — говорил он ласково и подсаживал меня на свою тележку. Старая, седая лошадка мне нравилась. На обратном пути я сидела с удобствами, на теплых буханках. Дед давал мне какое-нибудь лакомство и приговаривал:

— Получай, чешка, ешь, да смотри не проболтайся!

Немцы прозвали меня «Беньямин», я не знала, что это значит, и к прозвищу относилась с недоверием.

Так же плохо, как по ночам, приходилось мне и за едой. Моя худоба, мой «вес мухи» вызывали у кухарки страстное желание накормить меня до отвала, она шлепала в мой котелок двойную порцию, так что я с трудом удерживала его в руке. Я ковырялась в не слишком ап-

петитном вареве, проделывала ложкой коридоры и нагромождала горки, разводила в углублениях лужицы из подливки. Свои котелки мы ходили мыть к колодцу, и я быстро сообразила, что можно вымыть и полный котелок. Сколько картошки, чечевицы и кнедликов нашли свой конец в колодезной воде!

Солнышко не оставляло следов на моей бумажно-белой коже, видимо, я не стоила его внимания, унесенная водой еда была не в силах увеличить мой вес, и старший вожатый приходил в отчаяние. Я попала сюда по его рекомендации, выдержав испытание во время дождя, и вдруг не прибавила ни грамма и была худущая — того и гляди ветром сдует. Он велел увеличить мне порцию, и после каждой еды давать еще пол-литра какао. Вода в колодце между обедом и ужином не успевала отстояться.

Для Лидунки каникулы превратились в сущий ад: моя тоска по дому принимала самые разнообразные формы. Иногда я ни с того ни с сего начинала реветь, то приходила в ярость, то на меня накатывали капризы. Я понимала, что большинство на моей стороне, и умело этим пользовалась.

Один раз на прогулке я встала столбом и наотрез отказалась сделать хоть шаг. Я упиралась, как последний осел, и Лидунке не оставалось ничего иного, как тащить меня на руках. Она едва передвигала ноги, мы отстали от ребят, а тут еще дорогу нам преградил ручей. Она умоляла меня перебраться через воду по камешкам, но только ставила на ноги, как я валилась мешком на землю. Конечно, ухитряясь при этом не ушибиться.

И тогда сестричка, окончательно придя в отчаяние, обхватила меня покрепче и вместе со мной прыгнула в ручей на ближайший камень, раздался громкий всплеск, я очутилась внизу, а Лидунка — на мне.

Был холодный, ветреный день, я вымокла до нитки, а Лидунка — слегка, что свидетельствовало против нее. К счастью, я не понимала всех тех слов, которыми ее поливали старшие девочки. А потом мы с Лидункой ревели хором.

Однажды вечером я проснулась от криков: немки размахивали руками и громко ссорились, одна тащила меня с кровати, а Лидунка заталкивала на место и укрывала одеялом.

— Они хотят, чтоб ты шла с ними, а ты лучше спи, они будут сжигать Яна Гуса. Все равно ты ничего не поймешь.

Я взвилась стрелой, в мгновение ока кое-как зашнуровала ботинки, замотала шнурки и через секунду была готова.

— Яна Гуса сожгли за правду, — коротко объясняла мне по дороге Лидунка, — кроме того, он придумал в нашем алфавите черточки и крючочки над буквами.

Мы добрались до леса, уселись вокруг большого костра, и вожатый мальчиков зажег его от факела. Огонь взметнулся в темноте, это было красиво, пламя поднималось вверх, дрова трещали, скауты пели. Я не понимала слов, но мелодия была грустная, я огляделась вокруг, всюду было темно, стонали деревья, и звезды опускались на их макушки, костер стал ниже, то и дело взлетали сонмы искр, кто-то подтолкнул горящие поленья и подбросил веток, они вспыхнули и стерли звезды.

И тут я вдруг заметила в огне пылающую фигуру, языки пламени то ложились к ее ногам, то венчали алыми розами.

Я долго настаивала потом, что собственными глазами видела, как немцы сжигали Яна Гуса за правду и за новое правописание. Папа призвал на помощь Лидунку, она доказывала, что горели одни лишь дрова, я, однако, отказывалась ей верить и твердила свое: в пламени стоял человек, и звезды над ним погасли.

Я полюбила отрядные костры, мне нравилось, что невзрачные, сухие ветви расцветают алыми цветами, свежие листья превращаются в едкий дым и за рубежами света стоит чернильная темень. Мне нравились искры, эти беспокойные светлячки, что взлетали и прятались в траве. И еще я любила скрипача, он стоял в отдалении, по его серьезному, сосредоточенному лицу пробегали отблески огня. Он играл, прижимая к себе инструмент, и под его смычком пели птицы и разгорались звезды. Он играл подолгу, и я мечтала, чтоб он играл вечно, без начала и без конца. Огонь угасал, лицо скрипача бледнело, светилось во тьме лунным светом. Я любила его всей душой, исходила слезами, от меня осталось одно лишь бьющееся сердечко, и по нему скользил смычок.

Я не отождествляла скрипача ни с кем из скаутов, с теми, кто перепрыгивал через канат, набивал себе брюхо

хлебом и вырезал мне из дощечек лошадок. Играющий на скрипке призрак поднимался из огня и угасал с последними искрами.

Неподалеку от школы, нашего временного дома, стоял заброшенный домишко. Двор густо порос бурьяном, стекла в окнах были забраны досками. Все сторонились этого домика, лишь меня он привлекал своей тайной.

— Это убежище греха, чешка, — поучал меня мой друг дед, — там живут брат с сестрой.

Я удобно сидела на свежих буханках, и дедушкины сердитые слова казались мне странными. Почему брат не может жить с сестрой? Как бы мне хотелось жить вместе с моим братишкой!

Таинственное убежище непонятного греха влекло теперь меня еще сильнее; однажды мне удалось ускользнуть из-под Лидункиной опеки, я подкралась к самому забору, пробралась между кустов. На дворе буйствовал плевел, в крапиве валялась ржавая лопата, бегали куры-голошейки (они показались мне безобразными, как сам грех), и почти на расстоянии моей вытянутой руки висели на высоком зеленом стебле густые белые, зловещие и манящие цветы. Я было протянула к ним руку. И вдруг заскрипел чей-то голос, запричитала старушка, из хатенки выскочил дед с ружьем в руках, я бросилась наутек, выстрел прогремел намного позже.

Сказочные белые цветы я запомнила с такой точностью, что много позже смогла определить — это был ядовитый дурман, так называемый девичий огурец.

Я обжилась в лагере и привыкла к немецкому языку, научилась поговоркам, отдельным фразам, родной дом стал таким же далеким, как братец, он расплылся в моем сознании, я уже не так тосковала.

Но каникулы подходили к концу, я возвратилась в Прагу и перешла из-под спокойной Лидункиной опеки прямо в Штепкину дикую компанию.

— Хочешь поехать к маме? — огорошил меня вопросом отец. — Как ты на это смотришь?

И мы отправились в Татры, в те далекие горы, где Магулена встретила своего Радуза. К нам присоединилась соседка: она не отваживалась пуститься в такой далекий путь одна с детьми.

Девочек Байновых я знала по больнице. Пожалуй, только железные дороги заботились о семьях своих со-

трудников, когда кто-нибудь заболевал туберкулезом. Нас просвечивали, втирали в руку стеклянной палочкой какую-то массу, давали пить рыбий жир и известь, рекомендовали хорошее питание и свежий воздух. Воздух в Голешовицах был насыщен дымом всевозможных оттенков и зловонием с боен, вонью сжигаемых костей, доносившейся с Кутинки, где обрабатывали рыбу, паровозной копотью и гарью от многочисленных фабрик и мастерских. Под хорошим питанием подразумевалось питание калорийное. Школьный коридор встречал нас цветным плакатом, призывающим питаться похлебкой, заправленной мукой, что значительно полезнее, чем бульон с яйцом, и кнедликами вместо непитательного мяса. Хозяйство рекомендовалось вести в соответствии с лозунгом «Похлебку съедай, на мясо поглядывай», что вполне отвечало материальным возможностям трудящихся.

Врачам уже было известно, что туберкулез заразен, но люди все еще считали, что он передается по наследству. Ведь от туберкулеза вымирали целые семьи. У моей соученицы сначала умерла мама, потом мачеха, и лишь когда заболели дети от первого и второго браков, стали искать источник инфекции. Оказалось, что ее разносчиком был отец, который ходил, как и все, на работу и вовсе не чувствовал себя больным.

Когда я уже училась в школе, Лига борьбы с туберкулезом начала создавать сеть диспансеров и брать детей на учет. Дальше забот, возложенных на учителей, дело почти не шло, беднота верила больше в судьбу, чем в бактерии.

Мы, девчонки со Сметанки, составляли особый клан: нас словно бы породнила болезнь, и мы никогда никому не рассказывали, что нас обязали проходить осмотр. Туберкулез казался нам чем-то неприличным, что следовало держать в тайне.

Не знаю, что меня больше радовало, встреча с мамой или путешествие в поезде. Маму я любила, но поезда приводили меня в восторг, и, чем больше было толчеи, тем больше мне там нравилось.

Скорый поезд был почти пустым, мы заняли целое купе, вещи папа сложил в сетку, девчонки Байновы завладели одним из окон, я — вторым. Мы выехали затемно, и я заранее радовалась, что буду смотреть на летящие иск-

ры, целую длинную ночь наблюдать за прекрасными, яркими светлячками.

— Послушайте, дети, если к нам кто-нибудь подсядет, начинайте реветь, иначе не выспитесь.

Мы приняли папино предложение с восторгом и, только кто-нибудь собирался разместиться в нашем купе, поднимали дикий рев, капризничали и даже подвывали. Пассажиры тут же подхватывали свой багаж и исчезали.

Еще в лагере я поняла, что при моих зубах, с неправильным прикусом, отлично можно изображать обезьяну, правда если помочь себе языком.

В зоопарке, в Гребовке, я насмотрелась на обезьянок, на их прыжки и забавные проделки. Девочки Байновы покатывались со смеху, и даже их печальная мама не могла удержаться от улыбки.

Поезд нес нас сквозь ночь, дети уснули, задремали и взрослые, одна лишь я боролась со сном, следила за убегающим пейзажем, то темным, то освещенным окошками деревень. Мы едем быстро, и луна мчится вместе с нами, искры летят, превращаясь в розовые ленточки, змейки кружатся вдоль окна, мне хочется схватить хоть одну, но окошко закрыто. А может, это вовсе не лента и не змейка, может, это таинственные письмена, что составляют одну бесконечную фразу? Ах, сумей я прочесть ее, я познала б тайны всего мира.

Папа заметил, что кто-то стоит в проходе, и, хотя сам учил нас отпугивать пассажиров, теперь вышел в коридор и позвал незнакомца в купе. Незнакомец садится под синюю лампу, прикрывает лицо воротником пальто, а папа стоит в коридоре, окутанный дымом сигареты.

И вдруг за окном белый день, мы чувствуем себя разбитыми, деревянные скамейки здорово намяли бока, мы пьем чай из термоса, достаем еду из свертков, кое-как ополаскиваем лица.

От станции до санатория восемь километров. Пассажиров ожидает коляска.

— В Татранскую Котлину?

— Ага, пан мой, — кивает возничий, и мы в мгновение ока взбираемся в экипаж и рассаживаемся на сиденьях. Я еще никогда не ездила в коляске, только однажды вместе со Штепкой мы прицепились к задку телеги, но у меня скоро затекли руки, и я свалилась на мостовую.

— Сколько возьмете? — осторожно спрашивает тетя Байнова.

Возница просит восемьдесят крон, он, видимо, ждет, что она станет торговаться, но тетя Байнова, услыхав такую сумму, с возгласом «Иисус-Мария» спускает ногу с подножки.

— Ну, дети, слезайте, — командует папа, — тут недалеко, два часа, и мы на месте.

Мне до смерти неохота покидать кожаное сиденье. Я с грустью вдыхаю резкий запах лошадиного пота, спускаюсь вниз, я чувствую себя страшно усталой, ноги болят, и я еще долго шагаю с оскорбленной физиономией.

— А знаете, что надо делать, если встретишь медведя? — заводит разговор отец.

— Забраться на дерево!

— Бежать!

— Что вы, девочки, что вы! Надо прикинуться мертвым, лежать не дыша. Медведи мертвых не трогают.

Мы идем по дремучему лесу, к усталости прибавляется страх. С медведями я знакома по Оленьему рву, они выглядят миролюбивыми, кивают головой, клянчат лакомства, сложив лапы, но их маленькие глазки полны коварства. Недаром решетки и канавы отделяют их от людей, я даже знаю, что медведь способен оторвать руку, которая доверчиво протягивает ему конфетку.

А здесь медведи живут на свободе. Я внимательно вслушиваюсь в каждый звук, в треск ветки, шум ветра, крик птицы.

Позже подружкам в школе я буду рассказывать, как в Татрах на меня напал медведь, как обнюхивал и сопел в лицо, но я прикинулась мертвой и тем спасла себе жизнь. И действительно, я пережила свой вымысел: мы шли более часа, лес становился все гуще, мы устало плелись по корням и камням, и вдруг в кустах послышалось громкое рычание.

В ту же секунду я неподвижно лежала на земле. Кусты зашумели, рычание усилилось, однако любопытство оказалось сильнее — мне так хотелось взглянуть на чудовище, прежде чем оно сожрет меня, но в листве блеснуло острие то ли трости, то ли зонтика, и на божий свет вышел дядя Байн. Мама за ним не смогла угнаться и ожидала нас поближе к санаторию.

Она издали улыбалась нам, но, когда я подошла к ней, улыбка тут же исчезла.

— Что за вид у девчонки! Кожа да кости, а зеленая, как жаба! Хоть из дому не уезжай!

По сравнению с больными, проводившими дни и ночи на свежем горном воздухе, чьи щеки окрашивала румянцем легкая лихорадка, моя бледность действительно казалась болезненной. А когда я закашлялась, на меня стали сочувственно оглядываться даже самые тяжелые чахоточные.

— Что это она перхает, как овца, — ужаснулась мама, — уж не коклюш ли?

Кашель я подхватила в лагере и «перхала» до следующего лета, несмотря на все домашние и врачебные средства.

Мама жила в комнате вместе с очень красивой девушкой. Ей было всего восемнадцать, и была она хороша как мечта. Щечки — лепестки розы, глаза синие, как горные озера. Она, видимо, заметив мое восхищение, погладила меня по волосам и улыбнулась. Блеснули великолепные зубы.

— Что бы тебе подарить, малышка? У меня такая радость, представь, я еду домой!

Она отыскала у себя тарелочку из толстого стекла.

— Возьми на память.

Я выбежала из комнаты. Мама отобрала у меня тарелочку и вымыла под краном.

— У нее каверна с кулак величиной, — говорила она отцу, — я сама видала на рентгене, бедная девочка.

Я не знала, что значит каверна, но поняла, что девушка обречена. Меня охватила смертельная тоска. Я держала в руках мокрую стеклянную тарелку; через открытое окно слышался смех девушки.

Смерть, прекрасная смерть, пришла к ней через несколько дней, в родной деревне, когда милый во время танцев сжимал ее в своих объятиях. Горлом хлынула кровь. Мама узнала об этом из письма несчастного парня.

Стеклянная тарелочка много раз падала на пол, но так и не разбилась.

Мама вскоре поправилась, затемнение в легких исчезло, но постоянная усталость не оставляла ее. Она еще долго переписывалась с подругами по санаторию, посыла-

ла всем приветы. Ее любили. Мама умела поддерживать с людьми отношения, сразу располагала к себе.

Года через три к нам пришла женщина с девочкой. Мы жили уже в другой квартире. Лестницу на второй этаж она одолела с трудом, долго не могла вымолвить ни слова и, сидя на стуле, тяжело дышала.

А потом попросила меня выйти с девочкой на улицу.

Девочка жила в домике путевого обходчика на железной дороге. Городские улицы ее пугали, она жалась к стенам домов и боязливо озиралась вокруг.

Когда гости ушли, мама долго сидела погруженная в тяжелую думу.

Чужая женщина пришла просить, чтобы мама оставила девочку у нас: она не доверяла своему мужу.

— Что я могу сделать? — мучилась мама. — Я сама едва на ногах держусь, да тут еще Павлик! Она, бедняжка, еле дышит, из самых Тухомержиц ко мне притащилась! С какой радостью я помогла бы ей, но куда я денусь еще с одним ребенком?

Женщина хотела уйти, пока я с девочкой гуляла. Все последнее время она лежала дома и добралась к нам из последних сил. В тот же вечер она умерла.

Видимо, положение ее было ужасно, раз она искала помощи у случайной знакомой. Может, ею руководило лишь желание отомстить мужу? Как знать, что творится в голове умирающей матери.

Моя мама получила сообщение о ее смерти и поехала на похороны. Робкую девочку она не привезла, и я о ней больше никогда не слышала.

ТЫ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НЕ БУДЕШЬ ТОСКОВАТЬ...

Только возвратилась домой мама, как на операцию увезли тетю Бету. У нее началась, как тогда говорили, «черная желтуха», и смерть стояла у ее изголовья.

— Гонза будет жить с нами, — сказала мама, — ты по крайней мере не будешь тосковать без Павлика.

Двоюродный мой братец ухмыльнулся. Он был на пять лет старше меня — одни ноги-руки, да оттопыренные уши, да еще зловредные глаза. Все родственники относились к нему с опаской: доведет ребятишек до слез, вежли-

во попрощается и уходит. С ним справлялась только Лидунка — она была годом моложе, но их вместе воспитывала бабушка. Меня он до слез не доводил, но доводил до такого бешенства, что я, как говорится, прыгала до потолка. А ему только этого и хотелось, он поглядывал и улыбался.

— Закрой глаза, разинь рот, — соблазнял он меня ласковым голоском и приближался ко мне, сжав ладонь в кулак. Любопытство губило меня, потому что каждый раз это была «покупка». Чего только я не перепробовала из его рук! А потом в бессильной злобе бегала за ним по всему поселку, он останавливался, поджидал меня и снова бросался бежать, когда мне казалось, что я вот-вот его схвачу. Иногда, правда, я все-таки успевала царапнуть, куснуть или хотя бы плюнуть на него. Чем больше я неистовствовала, тем больше он радовался.

Хорошо помню, как еще в Лготе он придумал интересную игру.

— Давай играть, Ярушка. Сначала я закрою глаза и открою рот, а ты положишь мне в рот черники, а потом ты закроешь глаза и откроешь рот, и я положу тебе черники.

Я набрала целую пригоршню черники и, зажмурив глаза, с открытым ртом ждала, а Гонза щедро напихал мне полный рот заячьих кругляшей. Меня охватило такое бешенство, что сладить со мной никто не мог: я посинела, каталась по земле, пока чей-то дед не привел меня в чувство, отстегав лозиной.

С тех пор я Гонзе не доверяла и великолепно обошлась бы без него. Но его маму я любила.

Тетя Бета родилась с вывихом бедра. Может быть, ножку повредили во время родов или ее еще в младенчестве случайно ушибли старшие братья, заботе которых она была предоставлена. Она долго не могла даже стоять, а когда начала ходить, припадала на ногу, пока наконец какой-то врач не исправил дефекта. Но нерв остался поврежденным: тетя Бета не хромала, но у нее была какая-то странная походка — она почти не отрывала ног от земли и семенила быстро-быстро, как будто за ней кто-то гнался.

Бабушка вконец разбаловала ее: Бетку освободили от всякой домашней работы, ей, бедолажке, доставался лучший кусок, и потому братья досаждали ей чем могли, все дружно были против нее. Она наотрез отказалась учить-

ся, родители не могли заставить ее ходить в школу ни по-хорошему, ни по-плохому, в конце концов братья стали таскать Бетку на веревке, что доставляло им особое наслаждение: один волок, второй толкал сзади, третий подгонял метлой.

Бетка оборонялась главным образом языком. Язык у нее был подвешен что надо, она трещала как пулемет и, уже став взрослой, частенько пускала на всякий случай свою пулеметную очередь, а потом уже думала. Семейная хроника сохранила немало ее взбалмошных выходок. Но была она веселая, разговорчивая, мордашка премиленькая, немного кошачья. От работы отлынивала, ссылаясь на свою больную ногу, но на танцы бегала как шальная.

Казалось, после хмурого утра наступит наконец ясный день. У нее не было ни крейцера приданого, не отличалась Бетка ни особой красотой, ни знаниями, и тем не менее замуж вышла удачно. Видимо, очаровала дядю своей непосредственностью.

Дядя, человек добрый, работящий, считался хорошей партией. Он владел кондитерской лавочкой на Летной, из его рук выходили торты всем на загляденье. Сладкое супружество, однако, отравила война.

Моя мама часто рассказывала о своем визите к тете накануне празднования дня святой Анны, мама приводила потом этот вечер как пример изменчивости судьбы. Именины Анны праздновались широко и бурно. На всех пражских рынках играли военные оркестры, бабы-торговки, как говорится, давали жизни. Почти в каждой семье была своя Анна, Аничка.

Дядя Юла рассчитывал на хороший заработок, он приготовил тесто и теперь сбивал в миске белки, рука так и мелькала, искристый снег на глазах густел и поблескивал.

— Такого отличного снега я еще в жизни не сбивал,— удивился дядя, — что за странные яйца?

Но когда он попробовал собственное произведение, то пришел в отчаяние: в спешке он перепутал соль с сахаром, прекрасные торты оказались несъедобны, вся работа, все продукты пошли прахом.

А через два дня его призвали в армию. Какими ничтожными показались тогда досада и гнев из-за каких-то испорченных тортов! Как ничтожны были соленые слезы по сравнению с кровавыми рыданиями!

Бетку утешали, что муж ее непременно попадет в повара, а война окончится, прежде чем он хорошенько откормится.

Не успеют, мол, облететь листья с деревьев, как солдаты вернутся домой.

Дядя в повара не попал, его определили помощником в лазарет. Учить его за неимением времени никто не учил, от бисквитов, крема и мороженого он перешел прямо к крови и гною, к раздробленным костям. От ужаса и отвращения он терял сознание. Однажды врач, поднявший голову от операционного стола, куда после боя, как на конвейере, одного за другим приносили раненых, заметил побледневшее лицо своего помощника, его закрытые глаза и рассвирепел до того, что швырнул в него только что ампутированной ногой. Дядя рухнул без памяти. На этом его карьера эскулапа бесславно закончилась. Тогда, вспомнив о его профессии, дядю определили на кухню.

Он разъезжал с дымящейся печкой по прекрасной Италии, пока его не настигла шрапнель. И дядя Юла тоже не избежал лазарета. Тетя нашла его там, но не узнала. Она даже не смогла взглянуть на измученное его лицо: он, укрывшись с головой, кусал подушку, стараясь заглушить крик — в спине засели осколки шрапнели и камней, ноги отнялись.

Увидав его, тетя обезумела, она честила императорскую семейку такими словечками, что раненые, поднявшись с постелей, окружив ее, зажали ей рот, опасаясь, как бы она не угодила под военно-полевой суд.

Бета осталась одна с новорожденным сыном, после припадка она словно оцепенела, ничего не делала и все сидела, не сходя с места, прижимая к себе младенца. Если б не родственники, она умерла бы вместе с ребенком.

Прошло много времени, прежде чем взгляд молодой женщины стал светлеть, словно возвращаясь откуда-то издалека. Веселый нрав победил, она снова стала разговорчивой и чуточку взбалмошной. Характер у нее был добрый, мягкий, и сын вскоре взял над ней верх.

Когда бы мы с мамой ни проходили по Летной мимо маленькой кондитерской, я каждый раз вспоминала дядю Юлу и, хотя я его никогда не видала, ужасно жалела, что он не вернулся с войны. Он казался мне самым лучшим из всех моих дядей. Может быть, из-за своего сладкого ремесла.

Я жалела, что война оборвала жизнь скульптора, с таким трудом добравшегося до академии, жалела тетю Фанду, умершую от испанки, но дядя Юла был мне ближе всех, хотя я его и не знала.

Тетя получала пенсию, которой едва хватало на оплату жилья, зарабатывала жалкие гроши на фабрике, но, в один прекрасный день поймав своего школьника с сигаретой в зубах, работу бросила. У нее была хорошая квартира, она перебралась с сыном на кухню, а большую комнату с балконом стала сдавать студентам из академии, что помещалась неподалеку.

Жильцы, по большей части люди уже взрослые, ценили тишину и покой, царящие в квартире. Тетя убирала комнату, стирала на них и стряпала, кое-как зарабатывая на жизнь. Она была не из тех квартирных хозяек, что суют повсюду свой нос. Жильцы ее любили.

Тетя предпочитала предоставлять людям полную свободу, за что ее позже упрекал мой двоюродный брат, но я лично возле нее просто расцветала. Мама воспитывала меня с утра до вечера: «не горбись, не пялься, как стоишь, не шаркай ногами, вынь руки из кармана, утри нос, не сморкайся» — и так каждый божий день. Тетя же, сбегав за булочками, варила кофе и почти из ничего собирала ужин. Я раздала школьным подружкам несчетное количество рогаликов, но от тетиной булочки никому не отщипнула ни кусочка.

К счастью, для игры мне хватало небольшого туалетного столика с трельяжем. Чего только не увидишь в этом зеркале! Я могла любоваться собой под любым углом, меня окружали мои собственные отражения, я могла разбить их на половинки, совсем стереть и опять вызвать к жизни. Я восхищалась, что отражение в одном зеркале тут же подхватывало и другое. И так повторялось до бесконечности, я могла множить и другие предметы, поймать, скажем, окно или ветку дерева, отбрасывающую на него тень.

Мама сердилась, считая, что я переняла странную манеру вертеться перед зеркалом у тети Лиды. У тети это считалось признаком ненормальности. К сожалению, мама не ошиблась: тетя Лида действительно кончила жизнь в доме для умалишенных. Возможно, ее рассудок подточило постоянное душевное напряжение, несоответствие бурной внутренней энергии и внешней невозмутимости. Мне

еще в детстве казалось, что в тете Лиде бурлит какая-то непонятная сила, которая в один прекрасный день взорвется и вырвется на свободу.

Зеркала неодолимо влекли меня, не потому что я любовалась собой, скорее, я хотела понять, осмыслить, что же все-таки скрывается за отражением людей и вещей? Трельяж помогал осветить их со всех сторон, но в суть вещей я так и не проникла.

Перед тетиным туалетным столиком я поняла, что лицо мое — немо и обнаруживает лишь немногое из того, о чем я думаю, и что лица остальных людей таковы же. Внутри происходит совсем иное, более значительное, нежели то, что проявляется внешне, отражение — лишь раскрашенное, пестрое, но пустое внутри яичко.

Иногда тетя Бета брала меня с собой в таинственную большую комнату. Кроны деревьев за окнами приглушали свет, мебель была тяжелая, темная. Стояла неоконченная картина, пахло сигаретами и краской.

В углу царил роскошный умывальник, не какой-нибудь цинковый тазик, а шкафчик с мраморной доской и фаянсовым тазом, покрытым синим узором, а рядом такой же кувшин с чистой водой.

Как-то меня привели к тете, но ей понадобилось ненадолго уйти, видимо, она побоялась оставить меня на кухне и заперла в комнате. Мне очень нравилось находиться здесь в одиночестве, я развлекалась со своими дорогими, любимыми зеркалами, тем более что здесь висело большое зеркало, которое я тоже включала в игру.

Но тетя задержалась, а мне приспичило кое-куда. Я была уже достаточно велика и знала, что нужно найти подходящее местечко, но вместе с тем еще достаточно мала, чтобы найти выход из положения. Я побегала по комнате, потом выскочила на балкон, внизу ходили люди. Я с нетерпением и отчаянием выглядывала, не идет ли тетя, терпела, и беспокойство мое росло. Балкон явно не годился — в самый последний, критический момент взгляд мой упал на кувшин.

Он был неполон, но мне пришлось основательно попыхтеть, пока я стащила его на пол. Я добавила туда жидкости и с превеликим трудом, напрягшись всем телом, поставила обратно на мраморную доску.

Тете я ничего не сказала, опасаясь, что благодаря мне некий служитель муз станет еще красивей...

С той поры я избегала этой комнаты, она казалась неуютной, там в углу синим цветом цвел мой грех.

У тети, видимо, давно были неполадки с желчным пузырем, но бесплатного врача ей не полагалось. К врачебной помощи она прибегла, когда уже пробил ее двенадцатый час. Оперировать взялся сам профессор, риск минимальный—в безнадежных случаях ничем повредить нельзя. После операции тетя лежала за ширмой в полубессознательном состоянии, издалека до нее доходил голос медсестры, сдающей дежурство.

— Приглядывай за этой — до утра, может, еще и дотянет.

И тогда больная собрала последние свои силы.

— Я до того обозлилась!— рассказывала она позже.— Ну, думаю, дрянь эдакая хоронить меня вздумала! Рановато! Я тебе такого удовольствия не доставлю. Возьму да назло тебе не умру! И тут я начала про себя петь! Лежу, пошевелиться не могу, руку не подниму, а знай пою!

Мамин рассказ, однако, был совсем иной, мама еле дотащилась из больницы домой. Может быть, тетя и впрямь про себя пела, но выглядела она как мертвая, единственное проявление жизни — зеленая слюна, скопившаяся в уголках губ.

Вот почему мой милый двоюродный братец проторчал у нас несколько месяцев. Возможно, его излечил страх за мать или ему приелись мои припадки бешенства, но вскоре он угомонился и прекратил свои издевательства.

В наших семьях домашняя работа строго делилась между всеми. В обязанности детей входило чистить обувь. Сначала с ботинок соскабливали грязь, потом наносили крем и доводили до блеска щеткой. Мне приходилось вести неравную борьбу с папиным тяжелым ортопедическим башмаком, и Гонза взял эту обязанность на себя. Он с такой энергией шлепал крем на обувь, что заляпывал себя с ног до головы. Коричневые и черные кляксы украшали его волосы, шею и физиономию.

С еще большим успехом он помогал мне с едой.

— У этой девчонки явно стал лучше аппетит с тех пор, как она ест вместе с Гонзой,— радовалась мама.

Гонза вовсе не был обжорой, но, как только мама отворачивалась, он, поддавшись моему умоляющему взгляду, ловко выхватывал куски из моей тарелки. В такие минуты я ему все прощала.

Гонза играл со мной в нашем палисаднике. Он умел строить тоннели, дома из щепок, с помощью спичечного коробка делал кирпичи. Коробку из-под башмаков умел превратить в коляску для куклы или комнату с окошками и занавесочками. Гонза был на пять лет старше меня, может быть, именно поэтому ему удалось вернуть меня обратно в царство игр. Я по-прежнему много читала, но первая одержимость прошла, и я стала замечать и окружающий мир.

Товарищи Гонзы жили далеко от нас, на Летной, а новыми он пока еще не обзавелся.

Как всякий порядочный мальчишка, он был готов на все, лишь бы не прикасаться к учебникам. Игра с младшей сестренкой — вполне подходящий повод.

Учился Гонза неохотно, тетя его не принуждала — в ее глазах он был бедным сироткой, и только бессердечная мать могла бы терзать его ученьем.

Но за него взялся мой папа. Гонза привык к материнской мягкости и сперва полагал, что от занятий легко улизнет. То у него болела голова, то живот, то хотелось спать, то он возился с ужином или запирался в малом помещеньице в конце коридора, но папа оставался неумолим.

— Мы можем начать хоть в одиннадцать,— говорил он невозмутимо.— И ты будешь заниматься до часу. А если начнем в двенадцать, будешь сидеть до двух.

Гонза своего отца не знал, впервые в жизни он столкнулся с мужской волей и подчинился. Кроме всего прочего, Гонза каждый вечер обязан был читать вслух. Хотя он и умел читать, но вдруг становился косноязычным, спотыкался на каждом слове — содержание книги становилось для слушателей сплошным сюрпризом. Прочитав первую букву, придумывал совершенно новое слово и тут же сочинял новую фразу. Мне это ужасно нравилось, но папа хватался за голову.

Странно, папины педагогические приемы не имели у меня никакого успеха, со мной у него ничего не получалось, однако у Гонзы его метод успех имел. Дела в школе явно улучшились, учитель только диву давался. Уже взрослым, корпея над аттестатом зрелости, Гонза всегда с благодарностью вспоминал вечера, проведенные с моим папой.

А тетя Бета тем временем понемногу приходила в се-

бя, окруженная заботами монашек — сестер милосердия. Одна из них буквально вытащила ее из могилы. Только через много лет тетя призналась нам, что вернулась в лоно церкви. Ее образ жизни внешне не изменился, видимо, она по доброте душевной хотела просто доставить монашенке радость.

Наша тетя была чуть-чуть ясновидящей, умела гадать на картах, но утверждала, что карты только видимость и что она может свободно обойтись и без них. Стоит, мол, ей поглядеть на человека, как ей уже известно, зачем он пришел, что его мучит и что ожидает.

Она гадала на картах только родственникам и близким знакомым, и ее предсказания просто пугали меня — так часто они сбывались. Сплошь и рядом совесть не позволяла тете предсказать человеку плохое, в таких случаях она предпочитала снова бросить карты.

— Видишь? Солнышко опять взойдет,— говорила она настоятельно,— а счастье, оно совсем как солнышко, прорвет тучи — и вот оно, бери его!

Мужчины над предсказаниями тети Беты посмеивались, но когда им приходилось туго, то и они не пренебрегали ее картами.

Однажды я сама стала свидетелем чуда. Тетя Тонча привела своего мужа. Он был в отчаянии. Муж тети Тончи работал на заводе, с тех пор как он окончил техническое училище, его величали даже «господин инженер». И вдруг получил расчет.

Я похолодела, когда карты все угадали в один миг. Лишь позже я поняла, что начался кризис и увольнение стало обычным делом. Лицо дяди было озабоченно, пришел он вместе с женой, их отношения в то время были еще приличными, так что вывод напрашивался сам собой.

— Вы собираетесь что-то предпринять и, похоже, подумываете о самостоятельном деле, а рядом я вижу приятеля, он вас на это толкает, но вы боитесь!

Потом тетя Бета долго молчала, разглядывая карты.

— Знаете, что? Не бойтесь, все будет нормально.

Он послушался ее совета. А впрочем, иного выхода все равно не было. Искать во время кризиса работу в другой фирме, если ты не нужен своему родному заводу, было бессмысленно. И ему не осталось ничего иного, как заняться предпринимательством. Вместе с товарищем они открыли небольшую мастерскую по ремонту мотоциклов.

Дела шли, как ни странно, хорошо, лучше, чем раньше, и тетя Тонча относила его успех на счет Бетиных провидческих карт. Что еще могла ему присоветовать гадалка? Жить в страхе? Она-то сама жила сегодняшним днем и не имела права на страх.

Когда я вспоминаю тетино добродушное лицо, ее сбивчивую речь и торопливую походку, меня злит — до чего же несовершенно устроен мир! Такие люди должны бы жить вечно и не уступать своего места другим. Ведь Бета занимала так мало места и получала до смешного мало от богатств нашего мира! Ей бы пожить еще немного, сбегать за сдобной булочкой, сбить белок с сахаром, разложить карты и в конце гаданья бросить свою обычную фразу: «Вот увидишь, снова взойдет солнышко! Погляди — счастье, оно, как солнышко, прорвет тучи. Непременно прорвет!»

Тетя выздоровела, а я рассталась с двоюродным братом.

— Сторожи арбузы,— грозил он мне шутливо пальцем.

Дело в том, что я любила сладкую, сочную мякоть арбуза почти так же, как маринованные огурцы.

— Ты посади зернышки,— посоветовал мне Гонза.— К рождеству будет полон огород арбузов.

Я послушалась, а он не поленился и через несколько дней насовал в клумбы куски арбузной корки.

— Гляди-ка, арбузы из земли полезли! — радовался он.

Я вскоре обнаружила обман, но теперь умела и сама посмеяться над своей глупостью. По правде говоря, мне хотелось плакать, я не люблю прощаться. А этого зловредного озорника я успела полюбить.

Я РАДУЮСЬ ГОСТЯМ

Будто смирившись со своей участью, мама успокоилась. Но в ней словно жили два существа: одно веселое, остроумное, приветливое, другое нервное, мрачное, рассеянное. Эти два существа я никак не могла объединить. У меня и впрямь были две мамы: одна добрая, другая злая.

Очень быстро я заметила, что мама становится веселой среди чужих людей или в новой обстановке и пе-

чальна, когда мы остаемся дома одни. Как я радовалась, когда в плите, медленно разгораясь, трещал уголь и мы ждали гостей. Если гостей не предвиделось, я начинала приставать:

— Мама, мы не пойдем на Летную?

— Мама, мы давно не были в Сухдоле у тети Маржки!

— Мама, а что делает дядя Пепик?

— Отстань,— отвечала мама,— чего прицепилась? Оставь меня в покое!

Иной раз я притворялась, что поняла ее буквально, и делала вид, что отцепляю свою юбчонку от ее, мама сердилась, но не могла сдержать смеха. И чаще всего мы действительно куда-нибудь отправлялись.

Гости к нам ходили часто и в любое время дня.

Словно пугливая и утомленная птица, залетала к нам на минутку тетя Лида, жалась в уголке, торопливо бросала несколько слов и убегала. Мама делала попытки эмансипировать невестку, настраивала против деспотичного мужа и даже совращала, уговаривая пойти днем на кинофильм в новом Дворце торговли. Дядя же считал, что замужняя женщина должна заниматься только детьми, а не бегать из дому в поисках развлечений.

Дядя Вашек, мамин любимый брат, частенько заглядывал к нам и устраивал драматические сцены.

— Кто там?— спрашивала мама, когда ранним утром яростно стучали в дверь.

— Черт побери, не спрашивай, открывай поскорее!

Он врывался в квартиру и мчался в то самое, заветное помещение в конце коридора, а оттуда рысью обратно.

— Некогда, некогда! После обеда забегу выпить кофе!

Иногда он действительно забегал, но иногда, занятый работой, забывал. Дядя малярничал где-то неподалеку и свои неожиданные налеты никогда не объяснял.

Дядя Вашек и мама — погодки, были в детстве неразлучны и всегда держались вместе в большой семье. Дядя — человек талантливый, истинно художественная натура, золотые руки. Мама вспоминала, как однажды он вылепил из глины императора, люди останавливались возле маленького чумазого мальчишки и не могли поверить, что это произведение его детских рук. Он прекрасно рисовал, но, видимо, ему не хватало той самой глубины, которая превращает талантливого человека в истинного творца.

Дядя Вашек стал маляром, сдав экзамен на мастера еще совсем молодым. И сразу женился. Свою милую он без всяких предварительных переговоров привел в дом и, вытолкнув на середину комнаты, прямо от дверей заявил:

— Это Фанда, в среду мы женимся!

Девушку окружила вся семья. Темноволосая, красивая, яркая, смуглое лицо заливал румянец. Бабушка любила зятя, но снох принимала без восторга, она буквально буравила девушку пронзительными глазами. Вот и еще одна явилась, чтоб отнять у нее сына, едва тот начал зарабатывать!

Дядя Вашек в детстве и юности выглядел таким хворым и сердце его работало с такими перебоями, что ни один военный врач не признал его «тауглих» — годным к строевой службе. Так он и остался белобилетником. Наперекор врачам Вашек дожил до глубокой старости, а когда бросил курить, превратился в рослого, статного мужчину, здорового и вполне благополучного.

У молодых была собственная квартира, дела шли прилично, но война не миновала их. Оба заболели испанкой. У дяди испанка перешла в тяжелое воспаление легких, тетя еще кормила, и от высокой температуры груди у нее стали словно каменные. Она лежала в кухне и беспрерывно звала своего ребенка, а в соседней комнате бредил муж.

Бабушка забрала девочку (с маленьким Гонзой и Лидункой их стало у нее уже трое), а моя мама выхаживала обоих больных. Мама металась из кухни в комнату, брату прикладывала к груди лед, творог и тертый картофель — через несколько минут все это превращалось в сухую корку. И тут же, намочив в ледяной воде простыни, укутывала невестку.

Мама потом вспоминала не столько о физической усталости, сколько о своих душевных муках. Когда к кому-нибудь из заболевших возвращалось хоть на минутку сознание, он спрашивал о том, другом, и мама отвечала: «Не беспокойся, Фанде уже лучше» или «Вашек уже выздоравливает», и утешало ее лишь то, что никто не сможет подняться и убедиться в этом собственными глазами.

Фанда иногда вдруг веселела, смеялась, рассказывала про свою девочку, играла с ней, в бреду разговаривала, а потом снова погружалась во мрак, где исчезал образ ее ребенка. А потом слабеющим голосом, все тише, все не-

слышней, звала маленькую Геленку. Мама была еще не замужем и охотно отдала бы жизнь за жизнь тети Фанды.

Когда наступила полная тишина и мама по старинному обычаю распахнула настежь окно, в дверях появился ее брат Вашек. Трудно поверить, но в его горячечный бред вдруг ворвалась эта пронзительная тишина, и он, собрав последние силы, поднялся на ноги. В минуту просветления он все понял и без звука рухнул на пол.

Мама была уверена, что он уже мертв. Его фигура в дверном проеме походила на привидение.

В восемнадцатом году подобные сцены происходили во многих семьях — испанка унесла двадцать миллионов жизней.

Дядя поправился и через год снова женился. Новая жена, тихая и добрая женщина, больше всего любила сидеть дома и вскоре получила прозвище Золушка.

Нелегко приходилось ей среди многочисленной родни: каждый с пристрастием наблюдал, как относится она к сиротке девочке, особенно когда у нее появились двое своих.

Моя мама то и дело отпускала мне затрещины, а выражений и вовсе не выбирала, но тетю Золушку упрекала даже за то, что та хмурила брови и делала Геленке шепотом пустяковые замечания.

Рассудком мама приняла невестку, но сердце ее все еще слышало Фандину последнюю мольбу. Мама не верила, что чужой человек может отнестись к ребенку с истинно материнской любовью.

Когда бы она ни запела нам колыбельную «Летела белая голубка», голос у нее начинал дрожать, ей снова виделось, как в наступившей тишине несчастная душа умершей выпорхнула в распахнутое окно.

Ремонт квартир — работа сезонная. Дядя так никогда и не научился за весну и лето прикопить денег, чтобы зиму прожить без забот. Он был мастером на все руки, сам делал валики для наката с прекрасным, модным рисунком, умело, как никто, смешивал краски, мог от руки разрисовать стену — тут был и лес и олени,— но у него был только талант и ни малейшего духа предпринимательства. Убеждения не позволяли ему использовать ученика на тяжелой работе и выбросить на улицу, когда работы не было, не мог он расстаться с напарником и делил с ним зимой редкие заработки.

Вскоре на его тонущую лодчонку перебрался муж Марженки, дядя Лада, которого за коммунистическую деятельность выкинули из профсоюза модельщиков, не брали на работу по специальности и вообще никуда не брали. Во время кризиса среди всех наших кое-как держался на поверхности только Лидункин отец, дядя Пепик, которого во время чистки уволили с железной дороги.

И вот особенно в зимнюю пору дядя Вашек, случалось, наведывался к нам в гости. Он усаживался на стул и принимался разглядывать стены. Глядел он с подчеркнутым равнодушием, и мама сразу соображала, чего он хочет, но виду не подавала.

Угощала брата кофе и помалкивала. Вообще-то мама была связующим звеном между всеми родственниками.

— Гляжу я, сестренка, на эти ваши стены, их ведь красить пора!

— Сколько тебе нужно? — смеялась мама.

— А сколько ты можешь дать?

— Но смотри, к первому обязательно верни!

Дядя обещал, но бывало — долг вернуть не мог. Когда мама оставалась совсем на мели, приходилось напоминать.

Маме было неловко, и эта миссия поручалась мне. Вооруженная сложенной запиской, я топала из Голешовиц на Летную, и из-за этой записки меркла вся радость путешествия. Я не замечала шарманщика с танцующими фигурками, не глазела на чучела куниц и даже на водяного с зелеными волосами, не обращала ни малейшего внимания на витрины, не видела ничего вокруг, всю дорогу я страстно желала, чтобы никого не оказалось дома.

Но моя мечта обычно не сбывалась. Тетя не читала записку. Она и так знала, о чем речь.

Обе мы держались непринужденно, я делала вид, будто не знаю, о чем говорится в послании.

Оставив меня в кухне, тетя уходила в комнату, и там начиналось драматическое перешептывание, хлопали двери. Я сидела, упершись взглядом в пеструю стену, и было мне тошно. В такие трагические минуты тетя вела себя точно так же, как моя мама,— она рассылала детей с записками и к своим родным, и нашим общим родственникам, большинство которых проживало на Летной.

Ближе к первому надежда была весьма слабой, но иногда что-нибудь все-таки удавалось перехватить, и я, позеленев от стыда, неловко брала у нее деньги. Но иной

раз все усилия оставались тщетными, и я, с трудом волоча ноги, тащила домой новую записку, и меня не мог развеселить даже сноп искр, что швырял в меня паровоз с виадука.

Иногда на мою долю выпадало еще одно мучительное переживание: мама не могла унизиться до того, чтобы покупать в долг, и, притворившись больной, посылала за покупками меня.

— Мама вам завтра заплатит, вот только выздоровеет,— мямлила я и засовывала в сумку одно яично, четверть кило сахара, пол-осьмушки масла.

Ложь не заливала краской лицо, я лишь еще больше бледнела.

Бывали в гостях у нас и другие родственники, но дядю Пепика и тетю Бету чаще навещали мы. Тетя Марженка приходила к нам шить: она оставалась на день, на два и, словно солнышко, озаряла своим присутствием весь дом. Иногда являлся дядя Венда, но его жена обычно приходила одна. Мир мужчин строго отграничивался от мира женщин: мужчины редко ходили по гостям, а явившись, перекидывались скупыми фразами, женщины вовсю щебетали и охотнее встречались без мужей.

Из знакомых к нам регулярно хаживали пани Лойзка и для нас, детей, не менее желанная пани Анка. Трескотня пани Лойзки не могла идти ни в какое сравнение с барабанной дробью пани Анки, как ружейная пальба с непрерывной канонадой.

Папа, послушав с минуту, обычно засыпал, но я следила за этим словоизвержением с восторгом. Мне казалось увлекательным искать и находить в этом сумбуре кончик нити, но суть от меня ускользала — клубок всегда разматывался почти целиком.

Жизнь не баловала пани Анку: как и многие женщины, она после войны осталась вдовой, одна с маленькой Иржой; пани Анка была «из хорошей семьи», где ее не обучали ничему, как и положено в таких семьях, кроме рукоделия. Она считала себя слишком благородных кровей, чтобы работать на фабрике, и потому ходила шить по домам. Это было делом обычным — семья нанимала портниху за стол и небольшую плату, женщина усаживалась за швейную машину и шила, шила, чинила и перешивала.

— Ну, Анка,— говаривал мой папа добродушно,— если

ты строчишь на машинке так же быстро, как языком, то людям везет, ты себя вполне оправдываешь!

Пани Анка только смеялась и грозила ему пальцем. При такой работе маленькая шустрая дочка только мешала ей: с ребенком ее никуда не брали. За девочкой всю неделю приглядывала моя бабушка, которую кто-то порекомендовал пани Анке.

Бабушка охотно взяла к себе ребенка, девочка стала для нее как бы первой внучкой. Иржу все полюбили. Это было необыкновенное создание, яркое и свежее, как цветочек. Взглянув на нее, человек ощущал словно бы порыв теплого весеннего ветра, а когда Иржа смеялась, слышалось журчанье воды с крыш, бег прозрачных ручейков, а когда пела, казалось, ввысь поднимается жаворонок, устремляясь в лазурь небес.

Ее фигурка была полна грации и обаяния — девочка просто делала шаг, просто поднимала руку, а казалось, будто она танцует. Она посещала монастырскую школу, но даже строгие монашенки-урсулинки не могли приглушить в ней радости жизни, их самих зачаровывала ее напевная легкость.

Родство Иржи и пани Анки для меня одна из загадок большого мира. Я не верила в аиста, но и не понимала, чем эти два существа связаны друг с другом. Представьте себе — у кошки родился жаворонок, но кошку это ничуть не удивляет, хотя и улететь ему она не дает, а все время придерживает лапкой.

Меня мучила мысль, что мать угнетает и притесняет Иржу. Сама Иржа никогда не жаловалась: высвободит красивую веселую головку из-под тяжелой материнской лапы и поет, поет.

Пани Анка — женщина практичная: она сшила себе красивое пальто и две манишки. На свое домашнее, довольно поношенное платье она булавками прикалывала эти лжеблузки, сверху набрасывала пальто и бегала по гостям.

— Господи, Анка, как ты одета,— ужасалась моя мама,— а вдруг ты попадешь под машину?

— Тогда уже на все наплевать!

— А если тебя отвезут в больницу?

Маму гораздо больше несчастного случая или боли ужасала мысль, что вот она лежит без чувств, а ноги у нее грязные или на комбинации оборвалась бретелька.

Подобные заботы пани Анку не обременяли, она отстегивала манишку, боясь ее испачкать, и начинала развивать свою теорию. Она не была сплетницей в полном смысле этого слова, простых людей пани Анка не удостаивала вниманием, ее интересовал лишь высший свет. Пани Анка слыла женщиной набожной, но, когда она, не выбирая выражений, честила отцов церкви, самому заядлому вольнодумцу атеисту с анютиными глазками в петлице было за ней не угнаться. Она причисляла себя к народным демократам, но политические взгляды имела еще более радикальные, чем коммунисты, — капитализм у нее начинался с мелочной лавчонки.

В те времена люди были организованы в различные политические партии, но если они стояли на нижних ступенях социальной лестницы, то всегда находили между собой общий язык, ибо жезненный опыт сильнее политики.

Пани Анка вступила в партию не из корыстных побуждений, ей ничто не давалось в жизни даром. Поступила она так исключительно из уважения к Яну Неруде. Ей и в голову не могло прийти, что, живи Ян Неруда сейчас, он мог бы писать куда-нибудь еще, кроме «Народных листов», навсегда для нее освященных его именем.

Пани Анка жила на улице Неруды, и я в нежном возрасте полагала, что Ян Неруда ходит к ней в гости на чашку чая, так запросто она о нем говорила. Это благодаря ей я приняла Неруду в число наших родственников.

Квартира на славной Нерудовой улице больше походила на тюремную камеру с окном, выходящим в коридор. Двери запирались на задвижку, как в подвале, но пани Анка не променяла бы эту каморку на виллу на Оржеховке. Улица Неруды словно способствовала ее приобщению к просвещенному миру.

Культ Неруды она передала и дочери. Поступив в канцелярию практиканткой, Иржа из своего нищенского жалованья — что-то около сотни в месяц — тут же подписалась на собрание сочинений Неруды.

Однако пани Анка и на своей распрекрасной улице вела неустанную классовую борьбу с хозяином дома. Мы всегда были в курсе дела и подробно знали все перипетии этой «тридцатилетней войны». Перемирие было заключено лишь однажды во время стихийного бедствия. Лиса и заяц во время наводнения мирно бок о бок сидели на ост-

ровке, который уносило течением, а пани Анка с господином домовладельцем вместе спасали несчастных зверушек.

Домохозяин таскал ведра, тряпки и ковры, опасаясь, как бы вода не протекла в квартиру и не повредила разрисованные вручную стены и потолок. Все распри на время позабылись.

Пани Анка застелила свой пол хозяйским ковром, от души радовалась, что он основательно намокнет, и, как только хозяин спускался в свою квартиру, набирала в кринку воды, плескала вдоль стен за плинтусы и сладчайшим голосом кричала с лестницы:

— Ну как, пан хозяин, у вас там еще не течет?

— Еще нет, голубушка!

Тогда за плинтус выплескивалась еще одна кринка.

После перемирия война вспыхнула с новой силой.

Пани Анка отлично консервировала фрукты, у нас в семье такого обычая не было. В витринах кондитерских магазинов стояли заманчивые банки с консервированной черешней, сливой и грушами — несбыточная моя мечта. Мама, конечно, могла бы научиться, да и пани Анка свои рецепты не держала в секрете, но у мамы не хватало терпения чистить сливы или груши, обрывать черенки у вишен, десятки раз ополаскивать фрукты и кипятить банки.

— Только этого мне еще не хватало!— кричала на меня мама, и мисочка компота у пани Анки казалась мне пищей богов.

Нашими скромными туалетами занималась тетя Марженка, белье чинила мама. На долю пани Анки выпало разнашивать обувь. Дело в том, что моя мама была настоящая принцесса на горошине, для ее нежной кожи новые туфли были все равно как испанский сапог. У пани Анки нога была чуть меньше, и она шутя разнашивала любую обувь. Но иногда она задерживалась, долго бегала по своим «кундшафтам»— заказчикам, а когда возвращала туфли, они правда становились мягче, зато вполне были готовы для починки.

Кроме родственников и знакомых, у нас почти каждый день бывали тетя Тонча с Каей и пани Маня с Богоушеком. Маня — одна из дочерей моей дорогой пани Туковой из Бубенеча — после замужества куда-то исчезла, но потом появилась снова, и мы стали встречаться в Голешовицах. Этот квартал освятил нашу новую дружбу, визиты стали привычкой.

Кае было столько же, сколько нашему Павлику, Богоушек — годом моложе. Обоих мальчишек я считала родными и взяла под свою опеку. Видимо, я все-таки тосковала без братишки.

БРАТИШКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Наступило время черешни, я до смерти любила эти ягоды всех оттенков красного цвета. Особенно первые, хилые черешенки на веточке, увенчанные зеленой коронкой. На рынке было полно нанизанных на ветку заманчивых ягод, я заглядывалась на них, но мама никогда не покупала мне этого желанного лакомства.

— Дадут за крону немножко воды,— ворчала она, хотя я молчала, не отваживаясь вымолвить вслух свою просьбу. Меня выдавал лишь горящий, страстный взгляд.

— Ведь это же дички! Через несколько дней за крону получишь целый кулек и ягоды будут вот какие огромные!

Ах, это вечное ожидание!

Наконец пошла черешня! Желто-красная, красная, черно-фиолетовая! Сок так и брызжет, стекая по губам, все в соку: и щеки, и платье. Напоследок поспевала вишня, цвета прозрачного рубина, свежая, кисловатая. Столь прекрасная, что даже страшно класть ее в рот. Я ищу двойняшек, цепляю за уши, встряхиваю серьгами, вешаю на себя тройняшки и совсем уж редкие четверняшки.

Вот в нашем палисаднике появляются дети, надо их тоже наделить; девочки украшают себя сережками, мальчишки глотают ягоды и вместо благодарности стреляют в меня косточками.

— После черешни не пей воды,— напоминает мама,— хочешь, чтоб желудок лопнул?

Но моему желудку до этого ух как далеко, мне досталась пригоршня, да и то не полная, удалось спасти лишь те, что украшали мои ушки.

В пору черешни мама готовила пудинги, мне казалось грехом топить чудесные ягоды в тесте, но, с другой стороны, пудинг — одно из немногих блюд, которым я оказывала честь.

Стоит спокойный летний день, из духовки тянет ароматом ванили, но ведь радость редко бывает совсем без-

мятежной. Мама наливает две тарелки супу. Себе и мне. Я уже не помню, почему мы не ждали к обеду папу, кажется, он уехал проверять куда-то новую проводку в вагонах.

Мы уселись за стол, каждая со своей стороны, и вдруг мимо окна промелькнула соседка.

— Мокрош спятил,— крикнула она на бегу, и я вскочила со стула.

— Суп, пожалуй, слишком горячий,— к моему удивлению, сказала мама,— идем поглядим, что там такое, пусть немного остынет.

Нам не пришлось далеко ходить, дом был по соседству, он стоял, как и наш, у обочины широкого шоссе. На дороге толпились люди, женщины боязливо пятились, потому что из распахнутого окна вылетали обломки мебели.

Человек, творивший это безобразие, был красив. Волосы его развевались, рукава зеленой рубахи реяли, словно крылья. Ударив стулом об пол, он швырял из окна деревяшки, за ними летели подушки, кастрюли, посуда, сыпались перья, хрустел фарфор, в приступе неукротимой ярости он рванул оконную раму и, выломав ее, швырнул в толпу, потом вторую. И наконец третью.

Меня захватило зрелище — то была стихия, буря с молниями и градом, ливень, гром!

Стекло звенит, ревет пожарная машина, полицейский велит толпе разойтись, мама тащит меня прочь, но я упираюсь, я не отрываясь смотрю на человека в зеленой рубахе. Пожарные направляют на него струю воды, а он хохочет, кричит что-то невразумительное и, вдруг одним прыжком перемахнув на крышу, начинает срывать черепицу и кидает ее вниз.

Ах этот вихрь! Он свободен, он прекрасен, он может взвиться на крышу и сбрасывать оттуда черепицу. Перепуганная мама тащит меня за собой. Но домой идти боится: живем мы слишком близко, а мой зеленый вихрь там, наверху, перебирается к нашему дому.

Мы бежим к тете Лиде, но известие дошло и до нее, и мы разминулись по дороге. Хозяйки не успели запереть дома, низкие окна раскрыты, и оттуда несет запахом пригоревших обедов.

— Ох, у меня пудинг в духовке! — вскрикивает мама. Кое-кто возвращается.

— Уже схватили?

— Ага, надели смирительную рубашку.

— Его поймали в доме по соседству.

— Да нет, наткнулся на гвоздь и слетел с крыши.

— Нет, не слетел, а сам спрыгнул, а гвоздь вогнал в ногу уже на земле!

— Никакого гвоздя не было! Он просто притворяется.

— Что вы, пани, а откуда же тогда такая сила?

— И какой ему толк собственную мебель крушить?

—С чего же он это свихнулся? Не из-за соседки ли?

Обеды дружно подгорают, кое-где из окон валит черный дым, ищут причины случившегося, обсуждают происшествие, но не могут прийти к общему мнению даже о том, что видели собственными глазами.

А мне жаль, что мой вихрь укротили. Смирительная рубашка по моему детскому разумению сделана из железа. Задушили капканом свободного человека. Он остался в моих глазах прекрасным, полным силы, с развевающимися кудрями, с рукавами-крыльями, вот он выламывает оконную раму и швыряет ее оземь.

Он заслонил видение скрипача с лунным ликом, играющего у потрескивающего огня. Далекую луну застилают близкие тучи, они мчатся мимо, разрушительная сила их прекрасна.

— Хорошо, что мы успели уйти,— с облегчением выдохнула мама. Наша кухня полна битой черепицы, тарелки целы, но в супе осколки стекла. Огонь в печке погас, пудинг испекся, порозовел. Замечательный обед, вот бы каждый день кто-нибудь бил окна.

Стучится соседка — она наконец осмелилась вылезти из дома, все это время страх побеждал в ней любопытство. Однако любопытство одержало верх, наша соседка видела все, бедняга сумасшедший прыгнул с крыши, поранил ногу, но все-таки успел добежать до нашего тесного коридорчика, и лишь здесь — у нас негде развернуться — его удалось связать и увести.

— Ступайте заявите,— советует соседка, оглядывая нашу кухню,— ведь кто-то должен уплатить за этот погром.

— Как скажет муж,— неопределенно отвечает мама.

Когда случаются какие-нибудь серьезные неприятности, она вдруг вспоминает, кто глава нашей семьи.

— Заявлять?— удивляется вечером папа.— Они, чего доброго, еще предъявят счет этому бедолаге.

Папа, насколько это возможно, избегает присутствен-

ных мест, к чиновникам испытывает недоверие, ко всем: черно-желтым, красно-сине-белым (в конце концов, цвет изменить не так трудно); нарукавник для него — символ ограниченности и вероломства.

Однажды, в безвыходном положении, ему пришлось пойти по какому-то делу в учреждение — надо было получить документ, подтверждающий его личность.

— Приведите свидетеля,— после долгих переговоров предложил чиновник, — но свидетеля должен знать и я.

— Стало быть того, кто знает и меня, и вас? Да неужели у нас, по-вашему, есть общие знакомые? — спросил папа. — Где такого взять? Посоветуйте!

— Могу посоветовать. Попробуйте попросите нашего вахтера, я его прекрасно знаю.

— Зато я не знаю!

— Достаточно, чтобы он знал вас. Он многих знает, попробуйте попросите!

Папа крепко сжал в руках палку и поскорее убрался прочь. Но, спустившись с лестницы, он вдруг успокоился. Эта сцена показалась ему забавной.

Вахтер важно восседал в своей каморке.

— Послушайте, пан вахтер,— начал папа,— вы меня, часом, не знаете?

— Минуточку, вроде бы личность ваша мне знакома. Не вы случайно задолжали мне двадцать крон?

— Вот-вот, он самый и есть!

— Как же! Как же мне вас не знать? Вам надо подтвердить личность? Так? Ну тогда давайте говорите, как ваше имечко?

Дело было слажено, все прошло гладко, но этот пустяковый случай не шел у папы из головы. Подобные мелочи отравляли ему жизнь.

И сейчас, когда квартира наша пострадала, он никуда не обратился. Мы вымели черепицу и осколки стекла, и все оказалось не так уж страшно. Надо было закрасить раны, нанесенные буфету, и купить новую клеенку на стол. Окна папа застеклил сам.

Я смотрела, как его большие руки уверенно и четко ведут алмаз, отламывают стекло, всаживают его в раму, прихватывают стамеской замазку. Я вижу, как спокойно работает папа, мне приятно ощущение уверенности, но душа моя далеко отсюда, она принадлежит тому человеку в зеленой рубашке.

Вымести осколки и застеклить окно и впрямь необходимо, но вот срывать с крыши черепицу, выламывать рамы и крушить все вокруг — как же это прекрасно и волнующе!

Мною овладевает непонятное возбуждение, оно наполняет меня тревогой, я заглядываюсь на притихшие окна. Сад полон цветов, широкая дорога пустынна, домик стоит, словно ничего и не случилось. Лишь новая черепица напоминает о недавних событиях. Я останавливаюсь и гляжу. Обычно кто-нибудь присоединяется ко мне и пялится вместе со мной, а когда собирается толпа, я испаряюсь.

Но вскоре нам принесли телеграмму, и я забываю обо всем.

Телеграмма — это всегда испуг и горе: чтобы сообщить радостную весть, никто не станет тратиться. Я умею читать, но смысл многих слов до меня не доходит. А слова без надстрочных знаков — галочек и черточек — забавляют меня.

«Состояние безнадежное стоп мальчик сильно скучает по дому стоп»,— читаю я снова и снова.

— Сбегай за папой. Скажи вахтеру у ворот, чтоб его позвали,— велит мама. Глаза у мамы сухие, отрешенные, но взгляд вызывающий. Она как будто заранее идет в наступление.— Пусть отец немедленно едет за Павликом!

И лишь сейчас до меня доходит, что происходит что-то очень важное. Я мечтаю встретить Штепку. Или еще когонибудь, кто бы согласился пойти со мной. Дело в том, что я боюсь перебираться по поросячьим мосткам. Рядом с мостками прибито уведомление о том, что переход разрешен вплоть до особого распоряжения. И я не знаю, не могу даже себе представить, что стану делать там, наверху, если вдруг переход неожиданно запретят, ведь внизу движутся вагоны со скотом.

Я ужасно стесняюсь вахтера, который написал столько прекрасных стихов. Мне и в голову не приходит, что рабочие прозвали его «Петр Безруч», потому что во время войны он потерял руку. Наоборот, я твердо убеждена, что папа полюбил эти стихи именно потому, что так хорошо знаком с самим поэтом.

Без особых приключений я преодолела мостик и робко остановилась у проходной. Меня немного успокоила туя — так хорошо знакомое с самого раннего детства дерево,

привядшими приторными ягодками которого кормил меня Пепик. Туя сейчас прошептала мне на ухо несколько ободряющих слов.

— Пан Безруч,— вежливо обращаюсь я к вахтеру,— не могли бы вы позвать моего папу?

— А как его зовут?

Я называю фамилию, и вахтер, ткнув куда-то своей единственной рукой, говорит:

— Ступай-ка сама, пятое депо, да смотри поаккуратней! Не споткнись!

Я впервые попала за эти ворота и с любопытством озираюсь по сторонам, почти позабыв то, главное, зачем меня послала сюда мама. Останавливаюсь около вагонов, их изнутри обивают новой кожей. Я наблюдаю, как умелые руки рабочих кладут кудель, из которой торчат пружины, натягивают сверху кожу и забивают короткие мебельные гвоздики с плоской шляпкой.

— Ярча, тебе чего? Папу ищешь?

Дядя Роглена. Он иногда заходит к нам: они вместе с папой играют в любительском театре. Моя школьная сумка — дело его рук, она точно такого цвета, как новое сиденье в вагоне, и так же пахнет.

— Он должен ехать за Павликом,— сообщаю я с важностью, — нам прислали телеграмму.

— Вот оно что!

Дядя Роглена идет со мной.

— Ступай в те ворота, да смотри поосторожнее, с вас хватит и одной беды.

Я вхожу в распахнутые двери мастерской, в нос бьет резкий, едкий запах. Все рабочие — в высоких резиновых сапогах и в резиновых спецовках, поди отличи одного от другого.

— Стой! Не двигаться!

Я пугаюсь и хватаюсь за папу, со слезами передаю ему мамины слова.

— Подожди на улице!

Папа одевается невыносимо медленно.

Просто невозможно его ждать.

А я жду и жду.

Я ненавижу его свободные, спокойные движения. Ненавижу его молчание, ритмичное поскрипывание ортопедического башмака, постукивание палки по деревянным мосткам.

Ненавижу за то, что он не бежит бегом. За то, что не мечется взад-вперед, за то, что непреклонно шагает обычным путем, за то, что ничто его не трогает, — по крайней мере так говорит мама.

Я болезненно ощущаю каждый камешек под ногами. Домой прихожу босиком, кислота сожрала подметки. Но я не жалуюсь, я героически иду рядом с папой. Иногда обгоняю его и жду. Мне не хочется оставаться наедине с мамой.

У мамы есть непреодолимая потребность обвинить кого-нибудь за жестокость судьбы. Ближе всех для удара нахожусь я. Но мама сейчас напряженно спокойна, как взведенный курок. Она уже приготовила отцу рубаху и костюм, намазала хлеб и налила чай в термос.

— Я бы мог попросить нашего Венду,— тихо предлагает папа,— как мы повезем его в автобусе, а потом поездом?

— Ты что, стыдишься его?

Тон у мамы агрессивный, он колет, как копье.

Папа не отвечает и одевается. Мама успела надеть выходное платье.

Я радуюсь предстоящему одиночеству, суматоха уже позади. Только сейчас отваживаюсь разуться. Вид моих ног ужасен. С башмаками беда — они так и горят на мне.

«Поднимай ноги! Не вози подметками по земле, не шаркай, на тебя не напасешься!» — постоянно твердит мама.

«Не футболь камешками, не шлепай по лужам; разве не знаешь, что нельзя лезть в грязь?» — постоянно твердит папа.

Как только кто-нибудь из родителей берет мои башмаки в руки, он тут же начинает хмуриться. Одни туфли у меня выходные, вторые — на каждый день — постоянно в починке, мне приходится обувать выходные, и через несколько дней они окончательно теряют вид.

К сапожнику я хожу сама.

— На носок — косячки, каблуки подбить, — приказывает мама, — не вздумай менять подметку!

Сапожник с видом знатока осматривает мою обувку, а я сгораю от стыда.

— Так, стало быть, подметки и каблучки.

— Нет,— возражаю я, отчаянно отстаивая мамины деньги,— подметки не надо, только косячки!

— Косячки, говорите, барышня? А на чем они будут держаться, на картоне?

— Мама сказала — косячки.

— Твоя мама в этом деле ровно ничего не смыслит, подобью подметки.

— Нет! Только косячки, пожалуйста!

Сапожник тычет пальцем в тонкую подметку и ворчит, что это дьявольский труд. Так он торгуется со всеми, но в конце концов ему ничего не остается, как лепить заплатки на носок, заплатки посередке, заплатки с боков и сверху.

Однажды мама так разозлилась при виде моих башмаков, что заорала:

— Черт побери, опять оплатка залетела!

И сама рассмеялась. Когда я хотела задобрить ее, то робко показывала прохудившуюся подметку со словами:

— Мама, опять оплатка залетела!

Но что мне делать теперь, когда башмаки остались совсем без подметок? Я не осмеливаюсь без спросу нести их в починку, засовываю поглубже под кровать и надеваю воскресные лакировки. Они давно потеряли первоначальный вид, плюй на них хоть тысячу раз, все равно блестеть не станут.

Перед отъездом мама дала мне все необходимые наставления, утром меня разбудит пани Новотна, ужин на столе. Я заранее радуюсь, что не стану ни ужинать, ни завтракать, но предстоящая одинокая ночь ужасает меня.

На улице долго не темнеет, я читаю, сидя возле самого окна, пока наконец буквы не начинают расплываться.

Лампу зажигать мне запрещено, да и сама я к этому не стремлюсь. Наша учительница привела нам столько страшных примеров о неосторожном обращении с горючим, что окончательно запугала меня. Керосин превратился в злого джинна из бутылки, и я ни за что не стану вытаскивать пробку. Когда мама доливает керосин в горящую лампу или, бывает, плеснет в чадящую печку, я умираю от страха. Однако мама к моему просвещенному мнению просто глуха.

Еще светло, но я забираюсь в постель, я чувствую себя там в большей безопасности, уснуть не могу, мне вдруг приходит в голову, что я не заперла дверь, а пойти прове-

рить боюсь, меня мучат недобрые предчувствия, но я не осмеливаюсь выйти из комнаты в коридор.

Скорчившись, забиваюсь под пуховик и выглядываю, чтоб посмотреть на темнеющее небо. Я одна. Даже дерево не отбрасывает на занавески тень от своих веток, не грозит больше костлявыми пальцами, не машет зелеными крыльями.

Поселок не смог уберечь старую акацию. Соответствующие инстанции решили, что она загораживает окна, а поэтому в квартирах разводится сырость. Я видела, как пила вгрызлась в ее черное узловатое тело. Внутри оно оказалось удивительно мягким и белым. Я слышала, как застонала акация, рухнув на землю. Несколько сухих ветвей отломилось, а живые тщетно сопротивлялись своими колючками. Мы обрывали их, втыкали одну в другую, пока не получался венок.

В квартирах ничего не изменилось, плесень продолжала малевать свои узоры на стенах, а я была одинока вдвойне. Пытаюсь представить брата, но вижу только лицо с фотографий. На одной он стоит рядом со мной, склонившись к своему медведю, вторую привезла мама из больницы: братишка сидит на постели, нога перевязана, взгляд отсутствующий. Между двумя этими мальчиками нет связи, они далеки друг от друга, чужие друг другу.

Иногда на мою долю выпадает счастье — меня посылают встречать Каю к новой, красивой школе. Он, смеющийся, выходит в толпе мальчишек, на нем розовый или горохово-зеленый костюмчик, весь обшитый белым, нарядный, словно конфета, и я уверяю себя, что это мой брат и я поведу его к нам домой. У Каи светлые, почти белые волосы, выразительные синие глаза под темными бровями, летом он загорает до цвета бронзы. Личико у него нежное, как у девочки, и под костюмчиками пастельных тонов он носит девчачьи рубашечки с кружавчиками. Мальчишки в школе катаются со смеху, дядя Йозеф сердится, но тетя Тонча долго не сдает своих позиций.

— Пускай себе смеются, ведь девичьи рубашки очень практичны, по крайней мере в спину не дует.

Но в конце концов ей все-таки приходится уступить и шить мальчишеские сорочки — из ее рук они выходят похожими на блузки. Несмотря на свою картинную внешность, Кая озорник, каких мало, он дает фору даже мальчишкам в заплатанных штанах, перешедших к ним от

старших братьев. Видимо, в противном случае ему не было бы в классе житья.

Сейчас, когда я думаю о своем брате, то представляю себе Каю — светлоголового мальчугана. Я жду его возле школы, он отделяется от толпы и бежит ко мне.

— Привет, Яргле!

«Привет» — это новое приветствие, перенятое от бродяг и матросов, и не слишком пристойно произносить его около школы. Оно считается невежливым.

Яргле — мое прозвище.

Итак, Павлик скажет: «Привет, Яргле, мама у вас?»

Нет, не так, ведь мама у нас одна, общая.

«Мама дома?» — спросит брат. А я отвечу: «Ага, дома! Где же ей еще быть? У нас в гостях тетя Тонча и пани Маня, если хочешь, можем еще побегать».

Но мои прекрасные мечты разбиваются в прах при виде стриженого мальчика с завязанной ногой, он сидит пригорюнившись, и я не желаю впускать его к себе в душу, сопротивляюсь, укрываюсь с головой пуховиком.

Сжавшись, я забиваюсь в угол, лезу под стол, по голове барабанит кроваво-красная черепица, отстраняю ее руками, осколки падают в суп, летят на меня, я стараюсь увернуться, но они настигают меня всюду, все новые и новые, летят через разбитое окно, их удары не причиняют мне боли, черепица засыпает меня, я уже не могу подняться, я вся засыпана черепицей, ее швыряет в меня человек в зеленой рубахе, он смеется, потом кидает и кидает черешню, я должна съесть ее всю, на зубах хрустят косточки, скрипит стекло и песок...

Я просыпаюсь, дрожа от страха, сбрасываю тяжелый пуховик. На небо вышла луна, мой скрипач тихонько наигрывает, и от скрипки тянутся серебряные струны, цепляются за мое окно, и ветер перебирает их.

— Ты уже встала? — кричит соседка, и тут я окончательно просыпаюсь.

— Открой, я принесла тебе кофе!

Когда я вернулась из школы, брат был уже дома. Он лежал в своей старой деревянной коляске, смущенно улыбался и поглядывал на меня черными глазами из-под длиннющих ресниц. На нем белая мужская рубашка, оттеняющая смуглое личико, легкое одеяло соскользнуло, открыв тоненькие ножки.

Он совсем не выглядел больным.

Мы долго молча изучали друг друга.

— Дай мне обезьянку!

Я кинулась и принесла ему маленькую фарфоровую статуэтку.

— Дай кружку!

Я кинулась и принесла ему вазочку, в которую он ткнул пальцем.

— Дай лампу!

Я побежала на кухню.

— Мама, он просит лампу. Можно я дам?

— Ты что, спятила? Разве можно давать ему лампу?

— А если вылить керосин?

— Ах, оставь, пожалуйста!

Я рассердилась на маму и печально вернулась к братику.

— Лампу нельзя.

Его это не слишком огорчило. Он разглядывал розы на стекле.

— Дай мне букет!

Я провела по стене рукой и, улыбаясь, протянула ему пустую ладонь. Братик громко засмеялся.

СЧАСТЬЕ С КОГОТКАМИ

Когда брат вернулся, дома у нас стало как в Вифлееме — в яслях лежал младенец Иисус. Лишь волхвы прошли мимо. Но сверху прибежала пани Новотна и принесла бисквит. Тетя Лида примчалась с тремя золотыми рыбками в банке. Тетя Марженка притащила свое единственное сокровище, доставшееся по наследству от свекрови, — канарейку. Тетя Тонча явилась во главе всей семьи и принесла мясо, завязанное в их знаменитый узелок. Дядя Йозеф нагнулся, протягивая Павлику руку, и оставил в его ладошке пять крон. Дядя Венда переплюнул всех: он принес детекторный приемник. Тетя Бета явилась с цветами, дядя Вашек — с книжкой, а дядя Пепик принес апельсин. Дедушка вытряхнул из карманов не только мелочь, но и бумажку в десять крон.

Все испортила бабушка: она принесла два куска орехового торта и с плачем кинулась целовать брату руки.

— Бедняжечка ты моя, маленький мой великомученик! — причитала она, а Павлик, уставившись на нее не-

навидящим взглядом, вырывал руки, которые бабка покрывала мокрыми поцелуями.

Бабушку он ненавидел еще сильнее, чем я, и к ее торту так и не притронулся. Он катал из ореховой массы шарики и стрелял в двери. А впрочем, Павлик ненавидел каждого, кто осмеливался пожалеть его; он любил людей великодушных, способных с ним шутить.

Золотых рыбок братишка кормил бисквитом и конфетами. Мама обещала ему принести от пани Лойзки аквариум, но рыбки не вынесли столь долгого ожидания. Пища им пришлась явно не по вкусу, им также не слишком нравилось, что Павлик каждую минуту вытаскивает их из воды и разглядывает глазки и разинутые рты. Брат пытался открыть тайну их золотого блеска. Все окружающее занимало его, ведь из больничного окна он видел лишь белку и просто заходился от восторга, если к чему-то мог сам прикоснуться.

Рыбок мы похоронили в палисаднике — хоронила я, братик, предварительно заглянув в их нутро, смотрел на церемонию из своей коляски. Он лазил в нутро и прекрасной заводной птички, и моего небьющегося Пепика, и усатого таракана. По его приказу я через несколько дней откопала рыбок. Ему было интересно, что сделалось с ними в земле. Он успокоился, лишь когда от них остались одни только скелетики. Канарейку мы сразу же нарекли Марженкой. Она была древней старушкой и отнюдь не собиралась петь, а что значит летать, и понятия не имела. Коготки у нее были искривленные, и, случалось, она падала с жердочки, пока мама не догадалась их подстричь. Попав под нашу опеку, Марженка повеселела и, осмелившись, даже выскакивала из клетки.

— Марженка, назад! — кричал Павлик, и птичка покорно возвращалась. Меня она не слушалась, хотя я носила ей семечки и наливала в ванночку воду. Она купалась с наслаждением, разбрызгивая вокруг себя воду, и Павлик давился от смеха.

Я все еще не забыла генеральскую канарейку и задумала выучить летать и нашу Марженку. Сбросила ее с высоты к братику в коляску, и она сообразила, что нужно расправить крылья. Мы стали кидать ее, как мячик, птичка старалась изо всех сил, вскоре она уже научилась пересекать комнату.

Дороже всего на свете был для Павлика приемник. Он

даже не заглянул в его нутро, хотя руки у него ох как чесались. Он знал, что тогда коробочка перестанет играть. Он не снимал наушников и мне давал их лишь на минутку. Я слушала радио с молитвенным восторгом. Иногда, снизойдя к моим мольбам, он клал наушники на тарелку, и тогда мы могли слушать оба. Музыка звучала издалека, тихая и прекрасная.

Всей силой души я желала иметь свои собственные наушники, но этой мечте не суждено было сбыться: как только их снимал брат, их тут же захватывала мама. А вечером наушники принадлежали папе — он так и засыпал, запутавшись в проводах.

Папа тоже отметил приезд братика подарком. То было огромное техническое достижение. Папа притащил домой аккумулятор и лампу с зеленым абажуром, и у нас загорелось электричество, совсем как в поезде. Вечером я издалека узнавала наше окно: оно светилось во тьме среди тусклых огоньков керосиновых ламп. Ни у кого во всем поселке не было такого папы.

Я все сильнее привязывалась к отцу, потому что Павлик завладел мамой целиком и без остатка. Он постоянно требовал, чтобы она была рядом, и мама покорно подчинялась маленькому деспоту, сосредоточив на нем всю свою любовь.

Павлик не терпел, чтобы его переносили на другое место: в безопасности он чувствовал себя только в своей коляске. Мама умывала его, переодевала и придвигала коляску к своей кровати. Он держал мамину руку в своей, пока не засыпал, а проснувшись ночью, искал ее ладонь. Утром она снова обмывала его, обрабатывала гноящиеся пролежни на спине, перебинтовывала, меняла белье в коляске и надевала на Павлика дневную рубашку. Потом сжигала вату и бинты, кипятила белье. Все должно было быть готово, прежде чем на плиту поставят кастрюли с едой.

Братишке было скучно, он беспрерывно что-нибудь требовал: то воды, то чаю, то вкусненького, то сказку, то игрушку. Каждую минуту раздавалось жалобное: «Мам, мне скучно, что мне делать?»

Как только я возвращалась из школы, он принимался за меня. Мне приходилось ставить рядом с коляской табуретку, и она заменяла мне стол. Я сидела на низкой скамеечке и делала уроки, отрываясь каждую минуту,

чтобы поговорить с Павликом. Я приобрела такую сноровку, что могла одновременно отвечать на его вопросы и решать задачки. Причем без ошибок.

Мама в это время отстирывала вываренное белье, сушила, гладила выстиранное вчера и скатывала чистые бинты. Но тут обычно являлась тетя Тонча с Каей и пани Маня с Богоушеком.

Мы все вместе шли в Стромовку, или мамы сидели и беседовали, а мы, дети, веселились вчетвером. Вскоре мы настолько привыкли к положению Павлика, что оно стало казаться нам нормальным. Никто из нас, а тем более сам Павлик не сомневался, что он скоро выздоровеет и будет бегать вместе с нами. Он был ужасно сообразительный и во всем задавал тон. Мы даже завидовали ему: его повсюду возят, а в школу ходить не заставляют.

Он умел использовать это свое преимущество, и, когда я зимними сумеречными утрами с трудом продирала заспанные глаза, то первое, что я слышала, был его ехидный голосок:

— Как я рад, что мне не надо вставать!

Он так сладко потягивался в своей коляске, что я охотно променяла бы свое здоровье на его недуг.

— Как я рад, что мне не надо в школу! — продолжал брат. — Брр... на улице, наверное, холодно!

Иногда я из зависти притворялась больной, но маму удавалось обмануть нечасто. И вот я закутана, как будто собралась на северный полюс, трико заправлены в чулки, толстые носки, высокие ботинки на шнурках, шапка напялена на самые уши, рот замотан шарфом, потому что дышать надо носом.

На коротком пути в школу мне необходимо многое успеть: избавиться от недоеденного рогалика, вытащить трико из чулок, освободить из-под шапки уши и сдвинуть шарф с губ. На картинке Лады я видела, что шарф должен развеваться над землей, но заставить свой шарф развеваться мне никак не удавалось.

Определить в школу Павлика оказалось делом нелегким. Потребовалось множество хлопот: необходимо было отнести документы в мужскую школу. Папа отказался ради таких пустяков отпрашиваться с работы, а мама была в школе один-единственный раз, когда я училась еще в первом классе. Наша милая улыбающаяся учительница вместо того, чтобы сообщить ей о моих успехах, лишь

вздохнула: «Жаль вашу девочку, но что поделаешь, вы обратили внимание? Ведь у нее же совсем взрослые глаза! Дети с такими глазами обычно умирают в раннем возрасте».

С тех пор мама стала трястись надо мной, таскала по врачам, запрещала бегать, а школу обходила за сто верст.

Все хлопоты о Павлике легли на мои плечи.

— Надеюсь, ты не струсишь, — подбадривала меня мама. — Ты же скоро в пятый класс перейдешь.

Я училась еще в третьем, и вход в мальчишескую школу был мне заказан: ни одна девчонка ни за что на свете не пошла бы туда. Таков был неписаный закон. Девочки разорвут на части мальчишку, переступившего порог нашей школы, а мальчишки не пустят к себе ни одну девчонку.

Я перехитрила мальчишек: вошла в их школу во время уроков. Обогнула угол дома, с трудом открыла тяжелые двери и проскользнула внутрь. В школе было тихо. В длиннейших коридорах стояла та же вонь. И вдруг передо мной возник большой парень. Ноги мои стали ватными, и сердце оборвалось.

— Чего тебе надо, девочка?

Мне стало легче, и я гордо выпрямилась.

— Я иду к пану директору.

— Его кабинет вон там, — сказал парень уже значительно учтивей.

Директор оказался старым и приветливым, и мне захотелось учиться в мальчишеской школе. Он прочел медицинскую справку и понимающе закивал головой.

— Конечно, конечно, само собой разумеется.

Он погладил меня по голове.

— А ты хорошо учишься?

— На одни пятерки, пан директор.

— Вот и отлично, значит, ты и сама можешь заниматься с братом? Если б он умел читать, ему бы не было так скучно.

Прекрасная мысль! Мама купила словарь, и я стала показывать брату букву за буквой. Через несколько дней он уже читал сам. Мама долго не верила, полагая, что он только делает вид, будто читает. Но однажды он бегло прочел вслух целый абзац.

Прибавилось забот: нужно было доставать книги, но Павлик уже мог развлекаться сам. Учиться писать он не

желал, для передачи мыслей на бумаге он использовал азбуку Морзе, точки и тире оказались для него куда легче букв. Павлик научился рисовать, рисовал он хорошо, лучше меня, более того — умел рисовать одинаково ловко обеими руками. Сидеть он мог, лишь упираясь спиной в спинку коляски, быстро уставал и большей частью лежал, поворачиваясь то на правый, то на левый бок. Видимо, поэтому обе руки у него были развиты одинаково хорошо. А ногами, давно отвыкшими от ходьбы, он мог схватить чашку или взять книгу.

Тщетно пыталась я повторить этот фокус, но у меня, как уверяла мама, не только ноги, но и обе руки были левыми.

Возвращение брата лишило меня кое-каких привилегий. Мне уже не перепадала капустная кочерыжка, не удавалось вылизать миску из-под творога, пожевать обертку от красного мармелада, который считался клубничным, хотя в нем можно было обнаружить и яблочные зернышки, а мое любимое лакомство — хребет сардинки — теперь обсасывал братишка.

Но вместе с тем его приезд принес мне и ряд выгод. На нашем столе стали появляться блюда, до сих пор не виданные: то кусочек ветчины, то сдобная булка, то картофельный салат с майонезом или анчоусы с луком. Я лакомилась вместе с братом, и суп с жирной заправкой казался мне теперь еще более противным.

Я очень быстро сообразила, что брата можно использовать как таран там, где меня постигла бы неудача. Достаточно его лишь чуть-чуть подтолкнуть. А мама сдавалась перед первым же его всхлипом.

Этим подлым способом я добилась воплощения самой страстной мечты своей еще коротенькой жизни.

Однажды орава ребятишек гоняла по всему поселку черного котенка. Камни так и свистели — ведь черная кошка приносит несчастье. Избитое и запуганное насмерть животное прибилось к моим ногам, я схватила котенка и захлопнула двери. Бедняжка был так перепуган, что безропотно лежал в моей кукольной коляске.

Я катала коляску, и черная голова с янтарными глазками красиво выделялась на красной в цветочек подушечке, бархатные лапки беспомощно лежали на одеяльце, и лишь усики чуть-чуть подрагивали. Каждую минуту я наклонялась к своему ребеночку, и он ласково мурлыкал.

Когда я дотрагивалась до него, мурлыканье усиливалось.

Я была наверху блаженства.

— Мама, ведь он у нас останется? Да?

— А что мы будем делать с кошкой?

— Мама, не можем же мы ее выбросить!

— Как скажет папа.

Папа возвращается после шести, весь день я вожу свою коляску, любуюсь спящим зверьком, и сердце мое тает от счастья и замирает от страха. Я мечтаю, чтобы время остановилось, чтобы со мной рядом навсегда осталось это ласковое созданье, я мечтаю, чтобы время ускорило свой бег и принесло решение.

— Кошку? — удивился папа. — А кто будет за ней убирать? Ты спросила у мамы?

— Да-а-а, она не хочет.

— Вот видишь! Значит, оставлять нельзя.

Как я ненавидела их обоих. Отца и маму. Один другого стоит: оба принуждают меня выкинуть живое существо, которое ищет защиты у моих ног, подставляет израненную головенку под ладонь, живое существо — такое бархатистое, такое чудесное, такое прекрасное, доверчиво сидящее в моей коляске. Мне не надо никаких подарков ни к первому, ни на николин день, мне нужна только эта мурлыкающая прелесть.

Мои слезы капают на кошкину шерстку, я размазываю их ладошкой, мир холоден и враждебен. Это я! Это в меня с криками и воплями летят камни, это я! Это меня обласкают в последний раз и предательски отдадут на растерзание злу. Это я пою свою последнюю песенку, это меня схватят за шиворот и выкинут через забор. Я боюсь, я вся съежилась, я еле дышу, а довольный котенок тянет и тянет свою песенку под моей ладонью.

— Возьму-ка его к себе, бедненького, — предлагает тетя Тонча, — а ты будешь приходить играть с ним.

Она берет котенка на руки, а Каю за руку, я иду проводить их, котенку я больше не нужна, он доверчиво притулился в ямке тетиного локтя и все поет, все поет.

Я возвращаюсь домой, и у меня такое чувство, будто огромный зверь прогрыз у меня в голове дырку и высосал содержимое, я — пустое яичко, я только скорлупа.

Наше сияющее окно — губительный огонь, и моя пустота сгорит здесь дотла, превратится в пепел.

Черный котенок вскоре превратился в кошку, которая, к великому тетиному удивлению, в один прекрасный день окотилась. Когда тетя спускала в унитаз слепых котят, она слышала их жалобный писк еще из трубы. Сердце ее смягчилось — теперь у нее стало три кошки: одна черная и две серых в полоску.

— Послушай, Павлик, — начала я обрабатывать брата, когда мы были в саду одни, — у тети Тончи три киски, а у нас ни одной, у нее две маленьких и одна большая. Тебе хочется кошку?

— Она большая, как Белина?

— Нет, вот такая малюсенькая. Серенькая. Мурлычет и мяукает: мяу, мяу. Одну зовут Гонза, а другую Минда. Ты какую хочешь?

— Лучше Минду.

— Скажи маме.

Стоило ему только заикнуться о Минде как мама тут же побежала к тете Тонче. Ей и в голову не пришло спрашивать разрешения у папы, она просто забыла свою дипломатическую отговорку. Через полчаса мама принесла серенький клубочек, чудесный пушистый комочек с янтарными глазами.

Наконец-то у нас есть кошка! Наконец я счастлива, так бесконечно счастлива! Но только счастье мое — капризное. Минда полюбила брата. У Павлика всегда повышена температура, а кошки любят тепло. Он греет, как печь. Минда облюбовала себе ложбинку в его коляске, свертывалась там в клубочек и мурлыкала.

Я брала ее на руки, прижимала к себе, тискала, а в ответ получала одни лишь царапины. Минда явно отдавала предпочтение брату и не разделяла моей горячей любви.

К каким только фокусам я не прибегала, пытаясь заманить ее в свою постель! Ногтями проделала дыру в матраце, достала соломинку и долго-долго водила ею взад и вперед, пока наконец кошка не прибегала поиграть. Я ловко хватала ее и, крепко держа одной рукой, гладила другой. Минда царапалась, вырывалась, потом вдруг успокаивалась под моей лаской. Я щекотала ей шейку, нашептывала нежнейшие слова, умоляла помурлыкать.

Кошка смягчалась, делала вид, что соглашается, но, едва мои руки чуть-чуть ослабляли хватку, она, зашипев мне прямо в лицо, вырывалась и, царапнув на прощание, удирала.

Брат выкидывал ее из коляски, но она опять возвращалась, укладывалась поуютней и мурлыкала.

Я же снова и снова пыталась заманить ее, даже засыпала в неудобной позе, свесив руку до полу.

— Эта девчонка даже спать по-человечески не умеет! — сердилась мама.

А я поняла, что силой заставить полюбить себя нельзя, даже кошку.

НАША ПАНИ УЧИТЕЛЬНИЦА

Всерьез школа началась для меня только со второго класса, до этого — одна забава. Новая учительница постарше наших матерей, у нее строгое лицо, очки. Она не понравилась нам, мы ей. Ей не удавалось это скрыть, да и к чему? Но мы вынуждены были делать вид, будто радуемся ее появлению.

Недружно, одна за другой, мы встали, захлопали парты, пеналы полетели на пол, опрокинулось по меньшей мере пяток чернильниц, из наших отдохнувших глоток понеслось нестройное «Приветствуем вас» — нечто среднее между птичьим щебетом и змеиным шипением.

Учительница скривила физиономию и принялась учить нас вставать, садиться и скандировать хором.

Она стояла на кафедре, и мы поняли, что на нас вот-вот спланирует ястреб, выбрав себе в жертву цыпленка. Это пани учительница разглядывала с высоты наши головы. Несколько девочек еще носили косички, большинство же были коротко острижены под горшок, некоторые с челочками, у многих волосы заколоты или завязаны бантом.

— Все будут ходить в школу гладко причесанными,— сказала пани учительница, — заколки оставьте дома, челки убрать! С завтрашнего дня непременно надевать фартуки.

Голос у нее был скрипучий, властный. Я поняла, что началась война. И сразу на два фронта.

— Фартук? А зачем? Мало мне возни с твоим платьем? Еще и фартук стирать, да? Я бы ей показала, этой твоей учителке. И в парикмахерскую? Еще чего? Я что, деньги краду, что ли? Пускай папа тебя пострижет!

Подравнивание челки — одна из самых ужасных экзекуций моего детства. Я зажмуривалась, ежилась, как

только ножницы начинали лязгать у моего лба, а на нос сыпались колючие волоски. Я просто с ума сходила от страха и отвращения. У папы стрижка получалась неважно. Приходилось все время подравнивать лесенку, все тело у меня чесалось, а результат был ужасающий. Вместо челки в разные стороны торчали короткие перья.

Фартук мне мама купила черный, люстриновый, чтобы не сразу загрязнился, платье я большей частью носила темно-синее — этот цвет считался школьным. Темная одежда самая практичная, лишь по воскресеньям мы надевали светлые блузки или пристежной воротничок.

На белье экономили — и у папы воротнички и манжеты были пристежные, я таскала их два раза в месяц в чистку. Вечером папа никогда не ходил в форме, надевал костюм и пристегивал чистый воротничок и манжеты. Рубаха была спрятана под пиджаком.

Пани учительница утверждала, что мы должны ежедневно принимать душ или хотя бы мыться в тазу, но наши мамы душа в глаза не видали и до сих пор вполне обходились тем, что просто ополаскивали руки и лицо. Детям полагалось еще мыть шею и уши. Мамы уступали врачу только в том случае, если ребенку грозила смертельная опасность, не менее, но отнюдь не собирались потакать капризам какой-то тронутой учителки.

Мы купались по субботам, и это было целое событие. Корыто у нас удивительно коварное. Оно пропускало воду сквозь все свои невидимые щели. Пока щели затягивались, маме приходилось по нескольку раз подтирать в кухне пол. Она подставляла под журчащие струйки ведро и таз, но вода находила все новые и новые щелки. И лишь после того, как наше деревянное корыто разбухало, его перетаскивали в комнату. Зимой комнату необходимо было сначала протопить, но печка была такая же шутница, как и корыто, и гореть почему-то отказывалась. Ее топили только по субботам, и за неделю она просто отвыкала от работы. Мама на чем свет кляла и корыто, и печку; перепачканная сажей, мокрая, пропахшая керосином, она остервенело звала папу.

А папе стоит только нахмурить брови, как в печке уже начинает потрескивать огонь и корыто перестает протекать.

— Встань в уголок и не трогайся с места! — приказывает мама, собираясь притащить чугун с кипятком. Снача-

ла вода слишком холодна, потом чересчур горяча, и, пока ее доводят до нужной кондиции, я в сыром углу выбиваю дробь зубами. Тепло держится только у самой печки.

Наконец настает сладостная минута, и я могу влезть в корыто. Мама непрестанно подливает то теплую, то холодную воду, она пренебрегает законом Архимеда, и вода хлещет на крашеный пол.

Наступает неизменный ритуал мытья: сначала ноги, потом все тело и голова. Однажды меня купала Лидункина мама, которую в отличие от тети Марженки называли большая Марженка, и она заронила в мою душу сомнение.

— Дома ты, наверное, моешь сначала ноги, — сказала она, как всегда, спокойно, — но, мне думается, начинать надо с лица.

Я долго потом размышляла над ее словами и сочла, что тетя права, но мама не желала и слышать о подобных новациях, сроду человек начинает в корыте мыться с ног. Я не возражала. Вымыть мне голову — дело нелегкое. Мама окунает меня с головой, намыливает волосы и опять окунает. Мыло щиплет глаза, из носу вылетают пузыри, уши закладывает. Я стараюсь отдалить страшный миг намыливания под предлогом, что мне, мол, необходимо отмокнуть.

Папа обычно по знаменательным первым числам приносил что-нибудь вкусненькое, больше всего мы любили маленькие хрустящие консервированные огурчики. Один раз ему захотелось нас побаловать, и он купил в гастрономе на Роганской улице маринованного угря.

В этом магазине к покупкам добавляли маленьких прозрачных рыбок. Положишь такую на ладонь — и от тепла она начинает двигаться. Как я завидовала брату! Его рыбка ходила ходуном, моя лежала себе, да и только.

Маринованный угорь пришелся нам не по вкусу, был слишком жирным и тяжелым, но мы поглощали этот деликатес с почтением. Во время очередного субботнего купания мое восхищение этим удивительным лакомством было еще столь живо, что я решила изображать угря. Мама чем-то занималась в кухне, и я так вжилась в роль, что Павлик от смеха чуть не вывалился из коляски, а пол в комнате залило водой.

— Ни на секунду нельзя ее оставить без присмотра! — сердилась мама и намылила меня с такой яростью, что

чуть не содрала кожу. Я и впрямь, извиваясь от боли, превратилась в угря.

Нас с братцем перетаскивают в кухню, в корыто влезает мама, а после нее папа. Потом мама простирывает мое бельишко. Зимой противные трико-комбинезоны и чулки. К утру возле печки все высыхает, и на целую неделю меня оставляют в покое.

Павлика мама купала отдельно, в деревянной ванночке. Ванночка эта капризничала так же, как и корыто, и, хотя ее ежедневно наполняли водой, она ни с того ни с сего пропускала целые струйки. Мама всячески простукивала фанерную обшивку, подбивала молотком обручи, а однажды до того разошлась, что хлопнула ее что есть мочи об пол и потом собрала охапку досок.

Папа провозился с останками целый вечер и снова собрал ванночку.

Мамины эстрадные номера приводили нас с братишкой в восторг, но брату не приходилось изворачиваться между молотом и наковальней, у него не было пани учителки.

— Завтрак в салфетку? Этого только не хватало! — кричала мама. — Мы всегда заворачивали завтрак в газету и еще радовались, когда было что завернуть! А теперь какая-то дура, которой делать нечего, придумывает салфетки! Может, еще и с вензелями?!

— Она говорит, что продаются бумажные салфетки или специальные пакеты, — пыталась я робко просветить маму.

— Еще и экстрапакеты! — фыркала мама. — Может, прикажет часы с фонтаном принести?

Но тем не менее мама, прислушавшись к мнению учительницы, стала класть мой завтрак в пакеты из-под покупок. В бутербродах теперь хрустели рисинки, хлеб с повидлом был солоноват на вкус, мука и сахарный песок прилипали к соленым булочкам. Моим вечно голодным одноклассницам это не мешало: во время обеда они бегали в дальнюю Масарикову школу, где детям неимущих давали похлебку с булкой.

Туго приходилось детям вдов: их матери ходили стирать или убираться по домам, это, конечно, лучше, чем гнуть спину на фабрике за сорок-пятьдесят крон в неделю. Они приносили домой, кроме денег, кое-какую еду и поношенное платье. Таким же образом подрабатывали и

жены пьяниц, по детям сразу было видно, пьет отец или нет.

Среди детей нашего квартала бывали случаи и пострашнее. Одна девочка из нашего класса жила с бабушкой и младшим братом, больше у нее никого не было. Тихая и боязливая, она сонно сидела за партой, а однажды, когда учительница вызвала ее, поднялась и упала. Маленький брат сказал, что они уже два дня ничего не ели. Девочка худой не была, скорее уж, какой-то бесформенно толстой, во время перемен прилипала к скамейке, словно серый лесной клоп, и запах от нее исходил примерно такой же. Никто не хотел сидеть с ней рядом, тогда вызвалась я. Мама удивилась, когда я попросила в школу на завтрак две булки («впервые эта девчонка просит есть»), и на радостях намазала их маслом; моя соседка взяла булочку, отщипнула кусочек, флегматично пососала, как конфету, остальное спрятала в сумку. Я набралась от нее вшей и, не послушавшись маминого приказа, ничего не сказала учительнице. Я жалела девочку, хотя мне было неприятно ее полное безразличие ко всему. Однажды ее место опустело, пани учительница ничего не сказала, девчонки шептались, будто теперь она живет в детском доме, уехала, умерла...

В нашем классе была еще одна соня — хорошенькая Габриэла с длинными локонами. Ее родители держали трактир, и девочка до поздней ночи помогала им мыть рюмки, а во время уроков сладко спала. Пани учительница просила ее родителей зайти, но те не стали себя утруждать. А так как учительница не оставляла их в покое, просто перевели дочь в другую школу.

Пани учительница не горевала, неприязнь наших родителей ее не трогала, она снова и снова бросалась в бой. В ущерб учебе она тратила время на воспитание, учила нас правильно ходить, объясняла, сколь опасно цепляться к идущему транспорту, советовала одергивать жестоких извозчиков, не давать им бить лошадей, скользящих на гололеде или тянущих в гору (поди попробуй!), не кидать кожуру от бананов на землю (девчонки подталкивали друг друга и вертели пальцем у виска), учила нас есть вилкой и ножом, объясняла, с какой стороны нужно идти возле взрослого человека, и целую кучу прочих вещей, а также заполнять анкеты, бланки, сдавать посылку, писать письма.

— Что ты вертишься вокруг меня? — злилась мама, когда я по инструкции пани учительницы обходила ее со спины, поступая таким образом в соответствии с правилами хорошего тона.

— С ума спятила, что ли?

Моим одноклассницам доставалось, когда они делали на улице замечания взрослым, чтобы те не плевали на землю, сморкались только с помощью носового платка, не бросали бумагу и окурки на землю, я же этой миссионерской деятельностью никогда не увлекалась, у меня не было склонности к подвижничеству. Мы с пани учительницей не испытывали симпатии друг к другу, но отношения в общем-то были хорошими. Мне думается, что мы очень быстро раскусили друг друга и избегали открытых стычек. Мы столкнулись лбами совершенно случайно. Пани учительница куда-то на минутку вышла, и мы сначала выглядывали из класса, потом, осмелев, подняли беготню в тихом коридоре.

В наказание нас оставили после уроков; тех, кто извинялся, пани учительница отпускала. Просить прощения мне было отвратительно. Я молчала. Наконец мы остались вдвоем. Долго сидели, каждая на своем месте. Пани учительница на кафедре, я — за своей партой.

— Ты не извинишься?

Я молчала.

— Мама будет беспокоиться.

Я пожала плечами. Ведь не по моей же вине меня держат в плену.

— Если извинишься, можешь уйти.

Ни за что.

За учительницей наконец зашел муж. Я его знала, он часто встречал ее, иногда даже сопровождал нас на прогулках. Они очень любили друг друга, до старости ходили под ручку и смотрели друг другу в глаза.

— Подумай, — сказала пани учительница.

Они вместе удалились в коридор. Наверное, посоветоваться. Насчет меня. Но я решила, пусть хоть на куски режут...

Мы долго сидели втроем, пока она не сдалась.

— Ну ступай, — устало вздохнула пани учительница.

Я поступила с чисто рыцарским благородством, удалилась, тихо поклонившись, не показав своего ликования.

У нашей пани учительницы не было детей, и она уде-

ляла нам много своего времени, всегда готовая помочь школе из собственных средств. Но все ее начинания носили характер, так сказать, чисто педагогический, она не умела преподносить нам свои советы и наставления мягко, человечно. Она украсила серые стены класса картинками, которые сама купила, но ей не пришло в голову повесить репродукции, она лишь умножила число учебных пособий. Долгие четыре года перед моими глазами висел отвратительный майский жук со всеми своими потрохами и своей личинкой, а также человеческое ухо в разрезе и карта Чехии.

Она шага не могла сделать без разъяснений и вопросов, поэзию превращала в грамматические ловушки, цветы расчленяла на пестики и тычинки, театр превращала в домашнее задание, экскурсию — в нравоучение.

В моей памяти засела такая картина: однажды в ясный солнечный день перед нами возникла гора Ржип[1], на ней сверкала белоснежная часовенка. Синяя гора среди прекрасного пейзажа поразила меня, все во мне всколыхнулось и потянулось вверх, к источнику света, блиставшего яркой белизной.

— Что вы видите перед собой, дети? Кто стоял на этой горе? — начала сыпать вопросами пани учительница.

Меня это покоробило, и я быстро зашагала прочь, чтоб избежать глупых вопросов, которые казались мне пальцами, царапающими картину и сдирающими с нее краску. Я постаралась уйти как можно дальше от этих резких интонаций.

Прекрасный мир входит в меня, мы сливаемся воедино, и синий колокол дрожит и глухо звенит, у него басистый голос, земля колеблется и возносит меня вверх-вниз, вверх-вниз.

К моей форменной юбке прицепился невидимыми лапками зеленый побег, неотвязный, как беда.

— Схватил и не пускает, — смеется муж пани учительницы.

Лицо у него румяное от быстрой ходьбы, гладкое и спокойное.

Я обрываю стебель, на юбке остаются липучие шарики, мне ужасно хочется бросить в него этим цепким побе-

---

[1] Гора Ржип находится неподалеку от Праги. Как гласит предание, праотец Чех напророчил с нее расцвет городу и стране.

гом, но не решаюсь и кидаю стебель на землю. Мне хорошо с этим человеком, я чувствую, что он меня понимает.

Когда-то давно (я даже представить себе не могу, как давно) этот улыбчивый человек, полюбив нашу пани учительницу, сбежал из духовной семинарии. Я вижу ясно, как он, выломав решетку на окне, прыгнул вниз. Сорвал с себя поповское одеяние, чтоб не мешало, и под ним оказалась зеленая рубаха. Рукава развеваются крыльями, руки раскинуты в стороны. Просто чудо! Но тут ткань моих образов распадается. О боже, не могла же там, внизу, стоять наша пани учительница, в очках, с крепко сжатыми губами и строгой складкой на переносице.

Мне жаль, что там была не я.

Мы идем рядом, я незаметно обдираю зеленые шарики со своей юбки и кидаю ему на брюки. С какой радостью я поменяла бы нашу пани учительницу на него!

Пани учительница посмотрела на меня, но ничего не сказала. Мы выстроились гуськом и запели: «Силой львиной, полетом сокольим, шагаем мы вперед...» Я не могу понять, как это можно — шагать «полетом сокольим»? Запеваем другую песню: «До чего хорош божий мир», но я мурлычу себе под нос вместо «к великолепью родины моей моя душа летит и льнет» более понятную мне, только что придуманную версию: «в моем дому, в моем саду сердитый дядька травку мнет...»

В школе мои дела идут как-то странно. Я шутя одолеваю так называемые трудные предметы и проваливаюсь на легких.

Урок пения — урок мучения. Я отдала бы за музыку и за песни всю свою душу, но не могу воспроизвести вслух даже самой простой мелодии. Когда мы поем хором, пани учительница безошибочно движется ко мне, и я тут же начинаю молча открывать и закрывать рот, чтобы она не услыхала, как я фальшивлю. Катастрофа разражается, когда она вызывает меня одну, на отметку. Я затягиваю, и класс постепенно охватывает смех. Каждая нота больно бьет меня, пани учительница затыкает уши и машет рукой. Девчонки начинают смеяться уже заранее. Стоит учительнице вызвать меня, и хохот сотрясает окна, даже парты подскакивают.

Пани учительница, восстановив тишину, начинает сама: «Почему бы нам не возрадоваться...»

Но все тщетно, пусть себе радуется сама, если угодно,

я не подхвачу ни по-хорошему, ни по-плохому. По ее знаку уже поет весь класс, только я упрямо молчу.

Вторая неприятность — рисование. Во время своих скитаний я пожираю глазами прекраснейшие пейзажи, долго ношу их в душе, могу в любую минуту вызвать в памяти, но стоит мне взять в руки карандаш, кисточку, как вся красота испаряется.

Я снова и снова порчу бумагу, мама отказывается покупать мне тетради и альбомы, я рисую на пакетах от муки, срисовываю картинки из букваря, из хрестоматии, из книжек, это совсем просто, но все мои рисунки бездарны и мертвы.

Во мне появилось недетское упорство, я черчу прутиком на песке, камешком на тротуаре, малюю на газетах, обвожу через стекло, вожу пальцем по рисункам, по плакатам. Мне удается добиться определенной сноровки, я способна вопреки воле родителей до полуночи торчать одна на кухне и исправлять рисунок до тех пор, пока не кончится бумага.

Однажды нам задали нарисовать сказку про то, как семейка попугаев отправилась в лодке на прогулку, лодочка перевернулась, попугаи вымокли, обсохли на солнышке и вернулись домой. Этот сериал я переделывала четырнадцать раз, папа с мамой силой уложили меня в постель. Кроме того, кончился запас бумаги, рассчитанный на целый год.

Моих попугаев пани учительница повесила на стену, но я знала, что картинка получилась неважная, моим внутренним оком я видела ее намного красивее. Я старалась не смотреть на свое творение.

Эта страсть долго не оставляла меня, даже в гимназии я верила, что упорством преодолею мертвую точку, пока меня не излечил наконец дядя Вашек.

Однажды, увидав мои художества, он достал из буфета яблоко, положил его передо мной, взял карандаш и, одной линией обозначив контур, легкой тенью придал плоду округлость, отчеркнул черенок и вот уже возникло яблоко, живое, сочное.

— Искусство —прекрасный обман, — сказал он и резко оттолкнул от себя модель. — У тебя нет таланта, но для искусства даже таланта мало.

И я оставила тщетные свои попытки. Я поняла, что рисование не детский сад, но и не сальто-мортале. Часы,

проведенные позже в картинных галереях, принесли мне больше радости, нежели все мои бесчисленные опусы.

Был еще один подводный риф в моей школьной жизни, — я имею в виду гимнастику. Одна, со Штепкой или с детьми я вовсе не была неуклюжей, но взгляды взрослых сковывали мои жесты, суставы наливались свинцом, ноги и руки тяжелели, я едва двигалась. Со Штепкой я бегала, лазила, ныряла, качалась на перекладине для проветривания половиков, но снаряды в гимнастическом зале нагоняли на меня неодолимый страх. Раздевшись и напялив предписанную форму, я чувствовала себя беззащитной, как улитка, которую вытащили из ее домика.

— Тебе бы следовало ходить в «Сокол»[1], чтобы хоть немного войти в форму, — предложила мне пани учительница.

— В «Сокол»! — обозлилась мама. — Только этого не хватало!

«Сокол» посещали мои соученицы из красных домов.

— Тогда пускай ходит в ДТЕ[2], — рассудил папа, — это от нас недалеко.

— Еще чего, к соц-демам? А почему не в ФПТ[3]?

— Не все ли равно, где заниматься? Кто ее будет туда водить?

В ФПТ ходили мои двоюродные братья и сестры, но в школе об этом говорить было нельзя.

В конце концов я никуда не стала ходить. Мама радовалась: она боялась, что со мной что-нибудь стрясется. А сама я не слишком стремилась к гимнастике.

Много хлопот доставляла мне разница между правой и левой рукой. Я никак не могла в них вовремя разобраться. К счастью, Ольге не удалось вывести родинку на моей правой ладони.

Тайком я разучивала самые трудные упражнения и не отступила, пока не овладела сальто. Не только обычным, вперед, но и назад. Сколько раз я грохалась с кровати, сколько раз едва не ломала себе хребет!

Я тренировалась в уборной с мячом и скакалкой. Если

---

[1] «Сокол» — спортивная организация.

[2] Делницка телоцвичнаеднота — Рабочее гимнастическое общество, находилось под влиянием социал-демократической партии.

[3] Федераце пролетарске теловыховы — массовая спортивная организация, в 1930-х годах связанная с КПЧ.

мяч падал из рук, я стукала себя по лбу. Но я не отступила, пока не преодолела себя.

В третьем классе прибавилась еще одна неприятность — таблица умножения. Моя память к цифрам не приспособлена. Но я не собираюсь прощать ей это. Тренируюсь вечерами в постели, закрывшись с головой, в своей темной норке, повторяю таблицу «туда и обратно», сама себе задаю вопросы, но вразбивку дела идут плохо, и моя голова терпит мои же собственноручные подзатыльники. Таблицу умножения я выучила, никто ничего не заметил. Родители и понятия не имели о моих муках, ведь я приносила домой одни пятерки.

Лишь пани учительница с ее многолетним опытом почуяла во мне недетское упорство, это ее настораживало.

Видимо, она корила себя за это, она охотно сблизилась бы со мной, иногда шутками она пыталась развеять отчуждение между нами.

Мое слишком длинное имя не умещалось на ярлычках книг и тетрадей, мама посоветовала мне сократить его. И пани учительница называла меня Яром-ира. «Ну, Яром-ира, выходи, ты, ты — с синими умными глазками», — пыталась она пошутить, но я на юмор пани учительницы не реагировала.

Она часто изъявляла желание поговорить с моими родителями, но папа отнюдь не собирался отпрашиваться с работы, ведь у меня были одни пятерки, а мама после беседы с моей первой учительницей отказалась даже близко подойти к школе.

Наша республика была молодой, и школа воспитывала нас в духе святого патриотизма. Пани учительница полностью изгнала все онемеченные выражения наших мам; мы не смели произносить даже такие слова, как «униформа» или «аэроплан».

Десятая годовщина провозглашения республики вызвала в школе прямо-таки оргию патриотизма. Мы рассказывали, как батюшка президент убил кузнечным молотом черно-желтого дракона, как храбрый двухвостый чешский лев[1] сожрал двуглавого орла[2], что саламандра вынуждена скрываться под землей, ибо спина ее отмечена проклятыми австрийскими цветами.

---

[1] Двухвостый лев — герб Чехословакии.
[2] Двуглавый орел — герб Австро-Венгерской монархии.

Я ужасно жалела прошлые поколения, которые триста лет страдали в рабстве, и, бог знает почему, представляла себе, что люди тогда, сидя на корточках, выли днем и ночью. Ей-ей, таким не позавидуешь! К дню годовщины мы разучивали патриотические стишки, сплошь состоящие из незнакомых слов и потому звучавшие еще более возвышенно.

Мы знали, что принадлежим к отважному народу, который в древности носил одежды из звериных шкур и питался злаками, и очень этим гордились. К годовщине мы репетировали сценку гражданско-патриотическую.

Мне поручили почетную роль: я нянчила пана президента—младенца, напевала ему колыбельную — петь громко я, естественно, не осмеливалась, — укладывала его в люльку и засыпала сама. Появлялись три феи и предсказывали, что он победит Австро-Венгрию и станет основателем нового государства.

Одну из фей играла ненавистная мне Ольга, и я страстно желала, чтобы она сбилась или забыла свою роль. Но она знала текст назубок — история нашей республики была спасена. Куклу-голыша развернули и возвратили хозяйке. Полагаю, что подобного изображения государственного деятеля ни до, ни после никто никогда не видывал.

Пани учительница разучила с нами известное стихотворение, без которого не обходился ни один утренник.

Мы декламировали его с чувством и сопровождали мимикой и жестами. «Вот опустились черные тучи над Черховом, гукают совы, из Германии (необходимо было правильно ткнуть в том направлении) на нас движется буря». Надо было напустить на себя грусть, когда над горами собираются черные тучи, и радость, когда на востоке восходит солнце. И наша пани учительница и само стихотворение имели в виду не Великую Октябрьскую революцию, а вообще многомиллионный славянский народ.

Я старательно произносила нужные слова, извивалась всем телом, размахивала руками. Папа сначала наблюдал за мной, а потом спросил:

— Уж не родимчик ли у тебя? Есть такая хвороба, называется пляска святого Витта, человек аккурат так кочевряжится.

Он научил меня декламировать стихотворение по-своему, и по закону подлости учительница меня вызвала. Я

стояла на возвышении, на холодном ветру, меня окатывало холодной водой, но я не сдавалась. Я не двигалась, не выталкивала с силой слова, они сами деликатно соскакивали с моих губ. Я закончила. Пани учительница встала. Мы впились друг в друга глазами, я молча выдерживала ее укоризненный взгляд.

— Пятерка. Ступай садись.

Я снова выиграла. Но в руках пани учительницы была власть. Ни на классном, ни на школьном утреннике я не выступала. Другая, гражданская часть нашего утренника была посвящена выбору профессии. Одна из девочек задавала вопросы, остальные ей отвечали. Мечты у нас были не бог весть какие: Клара хотела стать мамой, Зденка — продавщицей, Либа пожелала быть прачкой, а Маня — портнихой. Надо было не только ответить, но мимикой и жестами изобразить свою будущую профессию.

Я моментально позабыла про декламацию и стихи, и мы с братишкой стали играть в утренники.

— Дорогая Надя, чего тебе надо? — спрашивала я, подражая услышанной мною интонации, а брат «Надя» отвечал:

— Ну а ты, Юста, какой у тебя вкус-то?

— Юста? — вмешался в игру задремавший было папа. — Это еще что за имя?

— Она — Юдита, а Юста это для рифмы.

— Ага, — вздохнул папа, — Надя — надо, Юста — вкус-то, не пойму, кто этот идиотизм придумал?

Я не знала, что такое идиотизм, но по недвусмысленному выражению папиного лица я сразу поняла, о чем идет речь. С той минуты я запомнила слово «идиотизм». И еще я поняла, что существует настоящая поэзия и поэзия школьная. Папа декламирует настоящие стихотворения, а мы в школе читаем стишки.

В начальной школе мы ничего не знали о большом мире, занимались лишь нашей республикой и не имели возможности ни с чем ее сравнивать. Она казалась нам необыкновенно прекрасной и необыкновенно большой (я сама могла убедиться в этом, проделав путь до Татр).

Теперь я знала, что все знаменитые люди на свете были так или иначе связаны с нашей родиной: или родились у нас, или у нас родились их предки, или по меньшей мере они побывали у нас в гостях. Все открытия были сделаны сначала у нас, только потом их присвоили себе дру-

гие, потому что в других странах лучше нас владеют искусством рекламы. Я была твердо уверена, что товары все без исключения лучше всего у нас, и не только обувь Бати, пиво и ветчина, но и английские ткани и брюссельские кружева обязаны своей славой Чехии. Более того, мы научили мир делать стекло и фарфор, танцевать польку: Томас Альва Эдисон тоже имеет к нам какое-то отношение, а зовут его и вовсе как нашего батюшку президента.

Мы с таким чувством пели песню «Батюшка старый наш» и «Течет вода, течет», — и столько этой воды натекло во всех школах и на всех торжествах, что она чуть не утопила правительство.

Мы могли назвать фамилии всех министров и знали, что во главе правительства для того и стоит пан Удржал, чтобы его удержать. У пана Удржала были соответствующие его положению усы и фигура, и я легко представляла его на арене цирка. Вот он стоит внизу пирамиды, широко расставив ноги, и держит на своих могучих плечах всех акробатов, то бишь все правительство.

К воспитанию в духе патриотизма относилось также изучение гуситского движения. История Яна Гуса занимала меня еще и потому, что я собственными глазами видела, как его сжигали на костре. А что могло быть интересней, нежели сражения Яна Жижки, его цепы и булавы, заслоны из повозок, женские шали, брошенные под копыта лошадей, и песни, от которых неприятель пускался наутек!

Мы слушали пани учительницу, притихнув, словно мышки, и так возненавидели католиков, что на переменке разразилась «битва у Липан». Я, неверующая, примкнула к евангелистам. К нам присоединилось еще несколько девочек из новой чехословацкой церкви и обе наши еврейки, которым мы завидовали: достаточно им шепнуть пани учительнице, что у них праздник, и их тут же отпускали домой. Сдается мне, одна из них была намного набожней, чем вторая: у нее почему-то праздники бывали чаще...

Католички остались в одиночестве, хотя их было больше. На нашей стороне воевала правда, они в глубине души признавали это и посему были разбиты на голову.

Пани учительницу ошеломил ход событий, она впервые преподавала на окраине. В других кварталах девчонки были не такими бойкими, как мы. Она старалась втол-

ковать нам, что современные католики не имеют ничего общего с Сигизмундом, а евангелисты с гуситами. Правда, учительница несколько запуталась в своих объяснениях, и девчонки, поссорившись, долго еще обзывали одна другую сопливыми католичками и рыжими шельмами.

Я снова взяла верх над пани учительницей — ведь я была живым свидетелем того, как Яна Гуса сожгли немецкие скауты в Каплице, которая с тех пор называется Костнице. Разница между водоемом на площади и Бодамским озером казалась мне несущественной. Я рассказала об этом девочкам. В классе восстановился мир, а я приобрела новую подружку Зорку, оказавшую немалое влияние на мою дальнейшую жизнь. Зорка, евангелистка, поссорилась со своей неразлучной подружкой — католичкой. Они помирились, но мы уже успели сблизиться.

Один спор с пани учительницей я все-таки проиграла. С тех пор прошло много лет, но меня все еще мучит неприятное чувство.

В первую майскую неделю начали отмечать Праздник матерей. У воинственной красной гвоздики появился соперник — спокойный и нежный яблоневый цвет. Пани учительница обожала свою старенькую мать и не упускала ни единой возможности, чтоб поддержать в нас любовь к родителям, особенно к матерям.

Она никогда не разрешала петь в школе песни, которых нет в школьном песеннике, называя их «избитыми». Но одну она все-таки в школу впустила, правда не в класс, а лишь в раздевалку гимнастического зала.

— Хотя она избитая, ты ее, Либушка, все-таки спой!

И Либушка затянула: «Мамочка, мама, я бы пошел...» И пани учительница не смогла сдержать слез.

Новый праздник, словно специально созданный для нее, она горячо приветствовала: мы учили стишки, читали трогательные истории о самоотверженных матерях и неблагодарных детях.

В субботу пани учительница долго внушала нам, что все мамы должны получить в день праздника цветы. Необязательно розы или гвоздики, любой букетик, пусть самый маленький, все равно он доставит маме радость.

— Дети, кому из вас не по карману купить цветы, поднимите руку, я вам дам денег. Я не смогу заснуть спокойно, если хоть одна мать моей ученицы останется без цветов.

Пани учительница не преувеличивала, она действительно не смогла бы заснуть. Мы ей верили.

Подняли руки самые бедные девочки. Пани учительница дала каждой по кроне. Она говорила столь убедительно, что ни одна из них не осмелилась бы истратить деньги на что-либо иное.

Я понимала, что не смогу попросить деньги у мамы, и пошла встречать папу.

— У мамы праздник?—недоверчиво протянул папа.— Почему же я об этом ничего не знаю? Наверное, это у торгашей праздник, чтоб карманы набить потуже? А?

Я пожала плечами.

— Пани учителка сказала, что мы должны подарить своим мамам цветы.

— Ну, если должны, значит, должны.

Папа ничего не жалел для мамы, но на сей раз расщедрился на пять крон с большой неохотой. Я грустно потащилась на базар. Здесь уже стояли три девочки из нашего класса, но цена на цветы головокружительно подскочила, и на крону нельзя было купить даже самого маленького букетика.

Мне тоже не повезло, мне показалось глупым поднести маме букет из одного нарцисса да березовой ветки.

— Знаете, девочки, в Трое цветы почти задаром!

Божка училась хуже всех в классе, у нее был вечный насморк и силища, как у борца. Девочки ее побаивались, но я решилась и села с ней рядом, за одну парту. Она ни разу не обидела меня и даже взяла под свое покровительство. Божка списывала у меня все, что можно списать.

Это ей пришла в голову столь замечательная идея, и мы отправились в Трою. Естественно, пешком. Из своих пяти крон я заплатила за перевоз. Мы долго тащились по берегу, но так и не нашли подходящего садоводства. Вскоре мы увидели сад, Божка забралась на ограду, утыканную осколками бутылок, и нарвала охапку сирени.

Потом мы уселись на травку и разделили сирень на четыре великолепных букета. На обратном пути заблудились, пришлось попетлять. Я, правда, нюхом почуяла Влтаву, но наш путь все время преграждали то заборы, то поля. Потом мы случайно наткнулись на садовника, и он продал нам за гроши остатки привядших тюльпанов.

Даже оплатив обратный перевоз, я сэкономила две

кроны. Букет и так был хорош, а когда я его искупала в воде, он стал просто прекрасен.

Зато увяла я. Стемнело. Мне вдруг пришло в голову, что не слишком красиво дарить маме украденные цветы, и все добрые пожелания, которые я в уме приготовила, показались дурацкими.

— Господи, я помираю от страха, а ее все нет! Куда ты запропастилась? Где ты взяла цветы?

— В Трое.

— В самой Трое? Скажи, Христа ради, как же ты перебралась через реку?

— Переплыла, — усмехнулся папа.

Честное слово, атмосфера не слишком подходящая, чтоб читать четверостишье: «Дорогая маменька, услышь мое послание...» — и дарить букеты.

Я молча протянула ей цветы.

— Главное, с тобой ничего не стряслось!

Дело в том, что мама панически боялась воды. По мосту переходила по проезжей части, не глядя ни влево, ни вправо, на подвесной мост и ступить не решалась, делала крюк. А перевоз для нее был просто кошмаром, я торопливо проскальзывала на паром и подсаживалась к кому-нибудь, стыдясь за маму. Как только паром отчаливал, она закрывала лицо руками и начинала громко кричать, а все окружающие покатывались со смеху. Вот почему мой поход в Трою тронул маму значительно больше, чем принесенные цветы. Но во мне вся эта история оставила неприятный осадок.

По рукоделью я — вернее, моя мама — шла впереди. Этот предмет я ненавидела всей душой, игла ржавела в моей потной ладошке, вязанье распускалось, а крючок втыкался совсем не туда, куда полагалось.

Наша пани учительница старательно обучала каждую ученицу грамоте и счету. Но она верила — и правильно верила, — что девочкам в жизни не менее, чем сообразительная голова, нужны умелые руки.

В рукоделии успевали лучше других две сестрички с косичками, Либа и Маня, мои верные подружки из такого же домишка, как наш. Учились они не бог весть как, но отлично рисовали и еще в начальной школе умели связать свитер или сшить передник. Во время занятий рукоделием они должны были за нами приглядывать и старались, как могли, помочь мне, кое-как приводили в поря-

док мою путаницу и часть работы делали за меня. От этого она выглядела еще хуже: после нескольких рядов хорошей, плотной вязки шли перекрученные, засаленные борозды.

Как-то на рождественские каникулы пани учительница велела нам закончить шапку-капюшон. Я очень серьезно относилась к ее заданиям. Я забирала по две петли, забирала и забирала, пока мама, которая спокойно не могла смотреть на мои мучения, не взялась за работу вместо меня.

— О боже, сбегай за девочками, — велела она строго, когда шапка достигла метра в длину.

Я принесла от Либушки образец. Мама только головой покачала, распустила мое произведение и связала новую шапку с помпоном, хоть на выставку посылай.

— Послушай, ты, глупышка, коробку оставь в школе, а работу засунь в сумку, чтобы пани учительница не увидала, я дома тебе сделаю что-нибудь поприличнее.

Мое рукоделие проверили. Девочки меня не выдали, ведь они сами списывали у меня уроки. Но пани учительница поняла все.

— Знаешь-ка, Яром-ира, портнихи из тебя не выйдет, ты лучше читай нам вслух, пока мы будем заниматься ручным трудом.

И во время уроков рукоделия я читала вслух нравоучительные истории.

Пани учительница, очевидно, избегала конфликтов, в бой шла неохотно. Мы почувствовали это, и в наших детских глазах ее авторитет несколько упал.

В середине учебного года одна из наших учениц перешла в немецкую школу.

— Почему в немецкую? Кто-нибудь из твоих родителей — немец?

— Нет, но папу взяли на работу в немецкую фирму, и он сказал: «Чей хлеб ешь, его песни пой».

— Хорошо, садись.

Мы все впились глазами в пани учительницу. Разве не она вбивала в наши головы, что «от немцев к нам одно зло, да буря, да война идут», разве не она убеждала, чтоб в пограничных областях мы говорили только по-чешски, не писали карандашами фирмы «Гартмут»? А сейчас вдруг спокойно отдает нашу подружку в когти двуглавого орла!

Разницы между черно-желтым орлом и имперской «орлицей» мы еще не понимали, мир делился на чехословаков и немцев, веселых французов и туманных англичан. Где-то далеко на востоке жили могучие славяне, а на другой стороне земного шара была Америка, где люди ходили вниз головой и селились в небоскребах. А еще были северные страны, с эскимосами в ледяных домиках, и южные края, где солнце светило так жарко, что люди стали черными. Мы очень завидовали неграм, полагая, что у них — целый год сплошное рождество, фиги, финики и апельсины.

Пани учительница простилась с отступницей приветливо. То ли не хотела подрывать родительский авторитет, то ли хотела преподать нам урок национальной терпимости. Но нам показалось, что, как и с гуситами, она послала мяч в аут.

Значительно тяжелей я пережила другой случай. Одна девочка в нашем классе плохо сближалась с детьми, на все вопросы отвечала пугливо, с неестественным, нервным смехом. Стоило кому-нибудь приблизиться к ней, она вся съеживалась, как мимоза. Когда мы раздевались перед гимнастикой, пани учительница заметила, что спина и ноги ребенка покрыты багровыми полосами. Поглядеть на ее задик она не решилась. У меня до сих пор стоят перед глазами багровые шрамы и струпья.

— Кто тебя так избил?

— Я плохо себя вела дома, — нервно засмеялась девочка.

— Пусть папа зайдет ко мне, передашь ему, да?

Папа явился. Не пьяница, не оборванец — сухощавый, хорошо одетый господин. Чиновник. Он беседовал с учительницей в коридоре, смеялся, что-то объяснял.

Потом он избил девочку еще более жестоко. Заставил принести розгу и поцеловать ее. Гимнастикой она теперь занималась в толстых чулках, всячески пытаясь закрыть свои синяки и шрамы.

А пани учительница, которая призывала нас делать на улице замечания жестоким извозчикам, стегающим лошадей, пожимала руку отцу-садисту. Для девочки она сделала лишь одно — никогда более не ставила ей плохих отметок.

Когда мы окончили пятый класс, пани учительница пригласила нас к себе домой на прощальный вечер. Из

нашего поселка пришла только я одна. Мой букетик львиного зева (все было распродано) смущенно ежился среди роз, гвоздики и книг. Из взрослых явился именно тот самый папаша. Он, видите ли, боялся отпускать ребенка одного! Он от всей души благодарил пани учительницу за ее заботы. Девочка нервно смеялась и взвизгивала.

У меня было такое ощущение, будто кто-то проводит по моей содранной коже наждаком.

Но вскоре мое внимание отвлек муж пани учительницы. Он надел волшебную шапку и стал делать фокусы с наперстком, с яичками, с носовыми платочками и с картами. Я развеселилась и хохотала до слез, но от увядающих цветов, проникая в самую душу, тянулся печальный аромат.

Пани учительница и в самом деле научила нас многому, заложила прочный фундамент знаний, я поняла это потом, уже в средней школе. Были у нее свои странности — она, например, запрещала нам зачеркивать. Исправленную ошибку все равно считала ошибкой. Это приучило нас тщательно обдумывать, прежде чем бросать слова на бумагу. Долгими часами мы разбирали предложения, она учила нас правильно понимать конструкцию фразы, старалась научить родному языку, проникнуться его духом, добраться до самых корней. Позже мне легко давались иностранные языки, я быстро ориентировалась в ином порядке слов и благодаря заложенной в детстве прочной языковой основе могла переводить латинские стихи с листа.

Большое значение придавала наша пани учительница и задачам на логическое рассуждение. Вообще говоря, ее педагогические методы были вполне современны, каждый предмет развивал наше мышление. Но, обучая нас гражданской науке, сама она оказалась в этой науке профаном.

Но ярче любой науки в мою память врезались два события.

К нам в школу пришел знаменитый в то время Франтишек Филип. Этот человек родился без рук и с детства научился жить самостоятельно. Он демонстрировал нам свое умение писать ногами, вырезал салфеточки из бумаги, выжигал рисунки по дереву, сам ел, и сам одевался. Говорили даже, будто он водит машину.

Мне очень понравился этот уравновешенный человек, которого даже злая судьба не смогла положить на обе

лопатки. Я стыдилась за каждый свой неудачный чертеж, за вкривь и вкось накарябанный урок. Мне было стыдно, что я не умею выжигать по дереву.

Еще более запомнилось посещение Кларова — дома для слепых. Затаив дыхание, ходили мы среди людей, обреченных на вечную ночь. Меня изумляли их тонкие, чувствительные, гибкие пальцы, они плели корзины и делали щетки, их спокойные лица, казалось, прислушиваются к чему-то всей поверхностью кожи. Мне нравились их голоса, сливающиеся в песне, их странные книги, которые можно читать на ощупь.

Я даже завидовала их книгам: у нас экономили электричество, и приходилось ловить у окна остатки дневного света. Как прекрасно было бы читать по ночам и не зависеть от воли родителей.

Мне было так жалко слепых, лишенных живых красок и цвета, что я пробовала ходить с закрытыми глазами, хотелось проникнуть в их мир тьмы, прочувствовать их чувства. Опыт обычно кончался расквашенным носом и синяками на коленках. Я узнала, сколько опасностей таит в себе знакомая дорога, и еще сильнее восхищалась этими обделенными судьбой людьми.

Я стала ощущать свое здоровье как своеобразный долг перед людьми, и ничто уже не казалось мне трудным.

ЧЕРНЫЕ ДНИ

Я любила начало школьных занятий. Не то чтобы я так уж рвалась в школу, нет, я просто радовалась новым вещам, покупкам. Для мамы это были лишние траты: башмаки, передники, новая юбка. А сколько карандашей, ручек и перьев, тетрадей, линеек потребует наша пани учительница! «Зачем, скажи на милость, тебе точилка, если сроду карандаши затачивали ножом?»

Но в конце концов мама вручила мне деньги (пан Шипек в долг не давал), и я помчалась со своим списком в магазин. Писчебумажный магазин был совсем рядом со школой, и поначалу там всегда толпились люди. Меня это ничуть не отпугивало, напротив, мне здесь нравилось, я охотно ждала и тем временем любовалась на блокноты, календари, бутылочки с чернилами, разноцветной тушью и клеем, на бумажных змеев, на вырезалки, на перевод-

ные картинки, наборы пастели, на акварельные краски, на деревянные и кожаные пеналы, на циркули, покоящиеся в бархатном ложе, — словом, на все и всяческие недоступные мне загадочные вещи. Когда я наконец добиралась до прилавка, то видела под стеклом леденцы, алую малину, прямоугольнички с цветочками в разрезе, черные конфетки с надписью «Уголь», шоколадные конфеты «Штолверк» и маленькие плиточки ледяного шоколада, который, как утверждали, тает во рту, как мечта.

Пан Шипек был хорошим психологом, ведь ребенка легко соблазнить: тетрадка стоит сорок геллеров, а за десять можно купить малину — всего пятьдесят, а за двадцать — карамельку. Дальше шли дорогие шоколадки, но это когда покупки бывали покрупнее.

Если школьник сам не догадывался округлить сумму, то искуситель пан Шипек ласково наставлял его:

— У меня нет мелких, может, возьмешь конфетку вместо сдачи?

Ну кто тут устоит?

— Где сдача? — гремела мама и строго глядела на мою вздутую щеку. За щекой лежал кусок сладкого «угля», и моя слюна была так же черна, как и совесть.

— У пана Шипека не было мелких.

— Ах так! Пойду спрошу.

Я знала, что она не пойдет. Но я не слишком была уверена и в ответе пана Шипека.

— Только посмей еще когда-нибудь! Убирайся с моих глаз!

Это приказание я выполняла с восторгом. Я долго наслаждалась конфеткой, она медленно таяла, я обсасывала свой «уголь» и все измеряла, измеряла, сколько еще осталось.

Но сдачу я теперь просила сдать точно, даже делая большие закупки в начале учебного года. Сглатывая слюнки, я пялилась на сладости через стекло, и конфеты казались мне такими дешевыми! Ведь эта огромная малина стоит всего-навсего десять геллеров!

Мои мечты, буйно расцветавшие от покупки каждого перышка, линейки или карандаша, наконец превратились в страсть. Казалось, я не смогу и дня прожить без плиточки ледяного шоколада, без сахарной палочки. Когда пан Шипек откидывал стеклянную крышку и протягивал какому-нибудь счастливчику конфету, в душе у меня раз-

верзалась пропасть. От сладостного запаха я совсем заходилась.

К этому времени братишка придумал новую игру.

Игру в гости. Каждую субботу наши уходили в кинематограф, и мы с радостью ожидали вечера, когда останемся совсем одни. Обычно мы не играли, а рассказывали друг другу страшные истории. Обладая буйной фантазией, мы так вживались в свои выдумки, что сами начинали бояться.

Павлик умел изображать тигра и льва до того похоже, что я в конце концов от страха забиралась в застланную кровать и возвращалась на кухню, лишь когда он начинал реветь. Он без посторонней помощи не мог вылезти из коляски, а так как он еще живее, чем я, переживал все перипетии выдуманных им же страшных историй, то весь покрывался потом, буквально плавал в поту.

Один раз я подкладывала уголь в печку, и раскаленный уголек упал в ящик. В отчаянии пыталась я найти его, но уголек запропастился где-то в куче угля. Я схватила ковшик с водой и плеснула в деревянный ящик. Мы напряженно ждали. Уголь трещал. Мы в ужасе замерли, а вдруг пожар?! Я снова и снова заливала воображаемый огонь, пока по всей кухне не растеклись черные потоки. Братишка мокрый от пота, я перемазанная, как шахтер,— мама поклялась, что никогда больше не оставит нас одних. Но мы уговорили ее, это был наш собственный страх, он принадлежал только нам, и мы находили в нем удовольствие.

А теперь для нас началась новая эра — игра в гости. Руководил Павлик, я была лишь исполнителем. Прежде всего мы расстилали нашу единственную скатерть — мы ели на ней только в рождество. Затем я расставляла всю нарядную посуду: кружки с незабудками, маленькие тарелочки, высокие бокалы, цветные рюмки для ликера. Я варила чай, и братец раскладывал на тарелках что-нибудь вкусненькое. Целую неделю он копил лакомства.

Лакомства ему подсовывала мама, когда я уходила в школу. Печенье, шоколадная баба, шпроты, разноцветные желе и даже банан.

Я нарезала все ломтиками и клала на тарелки, на каждую по одному кусочку, чтобы угощение получилось торжественней и состояло из многих блюд.

Мы ели медленно, запивали сладким чаем из высоких

бокалов, и каждый глоток был мне горек при мысли о том, что мама в мое отсутствие так балует Павлика. Он, правда, делился со мной, я съедала даже больше, чем он, но это не меняло дела — моя детская душа не хотела мириться с несправедливостью.

Мы с братом полюбили эту субботнюю игру. Чтобы увеличить наши фонды, он выпрашивал у мамы каждый день что-нибудь вкусненькое, я через него даже заказывала лакомства и с грустью, но с удовольствием поглощала недоступные мне сласти, которые брат получал без труда.

Посуду после пиршества мы не мыли, я просто ставила ее обратно в буфет. Генеральную уборку мама делала только перед большими праздниками и всякий раз удивлялась, почему и как грязнится посуда, которой не пользуются.

В то время мы жили уже в новой квартире. Получить ее помогла нам болезнь Павлика. Мы перебрались неподалеку, на соседнюю улицу, из низенького домика в трехэтажное здание для чиновников. Пришлось расстаться с палисадником, но впервые по нашим стенам не расползалась зеленая плесень и окна были большими. Квартира запиралась, и у нас был свой, только нам одним принадлежавший роскошный ватерклозет, ванная с высокой медной колонкой и чулан. В большой прихожей находилось окно, выходившее в сад, пол был покрыт плиткой, расположенной в шахматном порядке. Мы превратили его в доску для игр. Одну плитку мы с Каей и Богоушеком расшатали общими силами, чтобы держать там шарики. Из передней попадали в кухню, а оттуда в прекрасную комнату с окнами на улицу. Я могла видеть школу, но, увы, мама ее тоже видела, и мне пришлось значительно ограничить свои путешествия.

Папа сразу же провел электричество, мы уже не прибегали к аккумулятору, у нас были настоящие провода, вмонтированные в стены. В кухне висела лампа на блоках под абажуром-юбочкой, совсем как у брата генерала, а в комнате — люстра, и можно было зажигать одну или две, а на рождество даже три лампочки одновременно.

Нашим соседям это новшество весьма понравилось, и вскоре папа провел электричество во все дома, ведь он был этому обучен, прошел соответствующий курс. Слова «соответствующий курс» казались мне необыкновенно

важными, и я с огромным почтением разглядывала папины тетради, заполненные чертежами, схемами (папа называл их по-свойски «схемочки») и колючими, неразборчивыми буквами.

Желая украсить квартиру, мама поступила довольно своеобразно — она долго убеждала дядю Вашека, чтобы он разделил стенку в кухне на квадраты, а в квадратах сделал рисунки. Дядя долго сопротивлялся, предлагал разные узоры, но мама стояла на своем, говоря, что он просто хочет облегчить себе работу.

Наконец дядя сдался. Целыми часами вдвоем с рабочим они мерили стены и наносили полосы. Мне ужасно нравилось, когда они оба стояли, изогнувшись на стремянках, натягивали веревку, рывком ударяли ею о стенку, а потом по линейке наносили жирные ярко-синие полосы.

В первый день их произведение напоминало решетку, во второй — в квадратах стали появляться различные фрукты: яблоки, груши, абрикосы, черешня, слива и самое прекрасное — гроздья винограда, то зеленые, то фиолетовые. Не было такой краски, которую бы дядя не использовал, и, по-моему, он сам дивился на дело рук своих.

Маму, видимо, потряс общий вид кухни, но она отметила лишь некоторые недостатки: решетка ей показалась нанесенной недостаточно четко.

— Я мог бы сделать модерновый узор, — отбивался дядя, — ну хотя бы каждую стенку другого цвета.

— Ты всегда был чокнутый! — сердилась мама.

Папа в их спор не вмешивался. Рисунки привели в восторг моих соучениц. Весть быстро разнеслась по поселку, к нам одна за другой стали являться соседки и уходили ослепленные этим зрелищем.

В нарисованном саду мы устраивали свои тайные пиры, оставлявшие в моей душе странную печаль. На дне моего существа наслаивались пласты обиды, иногда они выпускали на поверхность зловонные пузыри.

Змей в образе и подобии пана Шипека стал еще коварнее и изощреннее в своих искушениях: за пятьдесят геллеров он стал продавать «счастьице». Не счастье, а именно счастьице, и всего за какие-то пятьдесят геллеров!

В нашей многочисленной семье никто никогда не интересовался деньгами. Одному богу известно, откуда такой интерес появился у брата. Игрушки он мог раздать,

лакомства разделить, но кроны копил в красном кошельке. Никто не смел притронуться к его сокровищам. Тратил он их неохотно, но от счастья за пятьдесят геллеров не мог отказаться даже он.

Наша новая квартира запиралась изнутри на защелку. Мама иногда после обеда оставляла нас одних, но ключей не доверяла, боясь, как бы я не удрала от брата. В случае пожара мы могли выбраться. Если б я вышла одна, двери, захлопнувшись, не впустили бы меня обратно.

Павлик был, что называется, голова: он вскоре нашел решение. Я передвигала его коляску к водопроводу, выходила, захлопнув двери, а возвратившись, трижды коротко звонила. Братик, упершись руками в раковину, отталкивался, подъезжал к дверям, поворачивал защелку, и мне нужно было только выждать, пока он передвинется на безопасное расстояние, чтобы не опрокинуть его вместе с коляской. Итак, я тайно покупала «счастьице».

Что это были за сокровища! Металлическое колечко, стеклянный шарик, конфетка, перочистка, переводные картинки! Но все это принадлежало не мне, приходилось ждать, пока братишка смилуется и мне перепадет что-то.

Переодеваясь, как обычно, за открытой дверцей старого кухонного шкафа, я однажды заметила в мамином пальто кошелек. Страсть оказалась сильнее меня, я открыла его и взяла пятьдесят геллеров. Сердце испуганно колотилось, но я продолжала одеваться. Мама ничего не заметила, а у меня наконец появилось свое собственное «счастье». Со страху я отдала колечко с синим стеклышком подружке, но чувство неожиданного везения было моим, и только моим.

Я так наловчилась, что стала таскать деньги у мамы на глазах. Разговаривала с ней из-за открытой дверцы, а сама лезла в кошелек. Папа носил мелочь прямо в карманах, но я никогда не осмеливалась залезть туда — его карманы были для меня священны. Я боялась взять у мамы много и удовлетворялась двадцатью, иногда пятьюдесятью геллерами, на крону у меня рука не поднималась.

Итак, я пошла на приступ стеклянной крепости в писчебумажной лавчонке. Одну за другой перепробовала все конфеты, торопливо сосала их, грызла и медленно плелась домой. Я отказалась от предательской малины, красящей рот в алый цвет, и черного угля, а вскоре, покинув

совратителя пана Шипека, перебралась к кондитеру. Несколько леденцовых кристаллов на нитке были для меня дороже драгоценных камней.

Желая оправдать свое ежедневное воровство, я создала целую теорию. Ведь я брала то, что мне принадлежало. Откуда у Павлика лакомства? Откуда взялся его красный кошелек с кронами? Почему для него источник открыт, а для меня заперт на два оборота? Совесть меня не мучила, но горло сжимал страх. При мысли о том, что мама меня поймает на месте преступления, что об этом узнает пани учительница, считающая меня образцовой ученицей, и расскажет родителям моих соучениц, которые так дорожат тем, что я дружу с их детьми, меня начинала бить дрожь. Впрочем, вся эта история даже чуточку развлекала меня, а над страхом преобладало любопытство. Но я знала, что катастрофа рано или поздно наступит.

Меня охватила страсть к жевательной резинке, я покупала ее в дальних кондитерских, даже на самых Затопах, куда ходила в аптеку за марлей, за бинтами и пластырем для брата. Я полюбила заброшенные трамвайные пути, брела по шпалам и жевала свою резинку, звенела гвоздем или палкой по прутьям ограды и обрывала белену. Меня влекло к себе ее зловещее имя и дивные, вкрадчивые цветы и ягоды, она вся так и дышала ядом. Мы были подругами, она так же таилась, как и я.

Жевательную резинку я прилепляла на лестнице под перила и домой возвращалась совершенно спокойная, разве что чуть разговорчивей, чем обычно. Катастрофа разразилась неожиданно. Кондитер с Роганской улицы обзавелся автоматом. Опустишь крону, и выпадет шарик, черный, белый, красный, синий, серебряный, золотой. Я долго разглядывала выставленные выигрыши, пока наконец не решилась. Поменяла нечестно добытые монетки на целую крону и опустила в щелку. Что-то загрохотало, у меня потемнело в глазах — и выскочил серебряный шарик!

— Ну, рада? — кисло спросил хозяин и протянул мне коробку конфет. Схватив ее, я кинулась бежать. Мой выигрыш был слишком велик, он бросался в глаза, меня гнал страх. Я никогда еще не держала в руках бонбоньерки, видела только в витринах и не могла ее выбросить, не рассмотрев хорошенько. Спряталась в своей белене, укрылась среди буйных плевелов. Я громко дышала и лю-

бовалась роскошной коробкой, шелковистой бумагой, через которую просвечивали нарисованные розы, и не отваживалась дотронуться до нее своими грязными лапами. В голове мелькало: могу конфеты съесть, могу спрятать здесь коробку и ходить каждый день или просто оставить и больше никогда сюда не возвращаться.

Но тогда Павлик не увидит коробку с розами, не сможет посмотреть на конфеты, которые спят в своих уютных гнездышках, не погрузит в бонбоньерку свои пальчики, не возьмет конфетку и не развернет, чтобы, разгладив золотинку, откусывать маленькими кусочками шоколад и запивать водой.

Все что угодно, только не лишать братишку удовольствия, мне бы конфеты все равно не полезли в глотку, я бы подавилась их горечью.

Я плелась домой, ступеньки на второй этаж казались бесконечными, на каждой я останавливалась, чтобы набраться смелости.

— На,— непринужденно протянула я коробку Павлику.— Я выиграла серебряный шарик в автомате, это такая игральная машина.

Мама покосилась на меня. Я вызывающе посмотрела ей прямо в глаза. Пожалуйста, пускай спрашивает, ответ у меня готов.

— С розами! Погляди. Хочешь развернуть?

Мама ни о чем не спрашивала.

— Мне дедушка дал крону. Помнишь, он у нас был? И с одного раза я выиграла серебряный шарик, можешь себе представить?

— Больше никогда не играй,— сказала мама,— терпеть не могу азарта. Смотри не покатись по бабушкиной дорожке, ты и так вся в нее.

Конфета застряла у меня в горле. Распухла во рту. Я молчала, но к деньгам больше не прикасалась. Когда я переодевалась за дверцами распахнутого шкафа и взгляд мой падал на кошелек, на меня наваливалась дурнота.

ЦИРК САРАСАН

Больше всего я любила народные гулянья и храмовые праздники. Особенно нравилась мне толпа. Я сливалась

с ней, плыла по течению. Протолкнувшись вперед, я очарованно глазела на борцов, что поигрывали мускулами, на распорядителя, облаченного в черный лоснящийся костюм, на нижние юбки толстой Берты, самой тяжелой женщины в мире, чьи ляжки можно увидеть за крону, на рекламу кунсткамер, куда не пускают детей, на гонки смерти, на жонглеров, на дрессированных обезьян или собак. Рекламу малевали на щитах, поставленных у входа, и тигры и крокодилы поэтому получались перерезанными пополам. Актеры паясничали, зазывая толпу, но в таинственные комнаты вход для меня был раз и навсегда заказан. Я только старалась вообразить себе по отдельным деталям, что же, собственно, там происходит. Вероятно, мне представлялось все намного прекраснее, чем было в действительности.

За пятидесятник — на большее мама не расщедривалась — я покупала себе конфетку, точь-в-точь напоминавшую гусиную каку. Одному богу известно, почему именно она из всех конфет, густо облепленных осами, казалась мне самой вкусной. О прозрачных восточных колбасках, о рахат-лукуме с миндалем, я и мечтать не смела.

Иногда я каталась на каруселях, на качели меня было не затащить с тех пор, как Венда — двоюродный брат — разогнал меня до самого неба.

Но и карусели я вскоре возненавидела из-за Павлика. Однажды, возвращаясь из гостей, мы остановились на Летенском поле. Я уселась на лебедя. Я кружилась и раскачивалась, и вдруг моя радость оборвалась: я увидела глаза брата, они жестко глядели на меня снизу. Когда я проделала второй круг, глаза его затуманились, на третьем я заметила слезы на его ресницах.

Мама договорилась с балаганщиком, и коляску взгромоздили на площадку, мама мужественно кружилась вместе с Павликом, превозмогая подступающую тошноту, но его личико было по-прежнему хмурым.

— Я хочу на лошадку,— всхлипывал он.

Больше я на карусели никогда не садилась, взгляд Павлика постоянно преследовал меня.

Я могла часами торчать возле тира, восхищаться наивной поэзией движущихся фигурок, ждать, когда кто-нибудь попадет в мячик, пляшущий на струйке воды, или в яблочко, и тогда женщина начнет качать младенца в колыбели или охотник сразит зайца. Я завидовала деви-

цам, для которых ухажеры с одного выстрела сшибали бумажную розу. Я была еще слишком мала и страдала, мучилась при мысли, что ни один парень не запустит мне в спину мячик на резинке и не предложит полакомиться пышным комом сахарной ваты.

Без денег, а следовательно, не имея никаких шансов, я толкалась в самой гуще толпы, слушала, как зазывалы расхваливают свой эликсир от мозолей, от веснушек, жидкость для ращения волос, навязывают пакеты сластей для Аничек, Пепиков, Веноушека.

— Заходите, заходите!

— На чудеса поглядите!

— Крокодил, крокодил переплывает Нил!

— Жирафа — выше телеграфа!

— У зебры пижама в полоску, лезет зебра на доску!

— А вот змей, искуситель людей! Адама и Еву из рая выгнал господь, добра им желая!

Все вокруг орало и бурлило! Со всех сторон, от качелей и каруселей неслась музыка, в тире трещали выстрелы, кто-то бил в барабан, клоун с набеленной физиономией выделывал коленца, канатоходцы со звенящей тарелкой обходили толпу, старичок тянул смычком на пиле тоскливую мелодию, отовсюду доносилось: «Заходите, заходите», и я не могла оторваться от всего этого, я была пьяна от зрелища, от жара людских тел и шума.

Я возвращалась домой с горящими глазами, я мечтала стать канатоходцем или жонглером. К несчастью, мама большей частью бывала дома, и мои попытки жонглировать половниками, веником или даже яйцами кончались бесславно.

В Стромовке я пробовала ходить по натянутой вокруг газона и клумб проволоке, но страх перед сторожем повергал меня на землю.

Мама отпускала меня к балаганам неохотно: ей не нравилось, что я буквально пьянею от зрелищ. К вечеру приходилось возвращаться домой. Горящие огни я видела лишь издалека, я смотрела на них со странной грустью, как на дальние звезды, где совсем иная, прекрасная жизнь.

Отец тоже не разделял моего увлечения, по воскресеньям он знакомил меня с красотами Праги. Возил по замкам, крепостям и музеям. Но, к его разочарованию, мой интерес проявлялся совсем непонятным образом.

В Национальном музее я равнодушно смотрела на скелет кита, но битый час проторчала около крота со звездочкой на мордочке. Я все удивлялась: большие разработанные, рабочие лапы и эта нежная звездочка. Я складывала целые истории про крота, который добрался до другого конца земного шара, к антиподам, нацепил себе на нос звездочку и возвратился домой. А на небе, с той стороны, наверняка этой звезды хватились.

Папа не мог оторвать меня от витрины. Я без интереса разглядывала разных зверей, пока мое внимание не приковало яйцо вымершего страуса, по величине равное нескольким десяткам куриных яиц. Я уже представляла, как мы зовем гостей и угощаем их всех одним-единственным яйцом. Сколько бы омлетов нажарила из него мама!

Долго-долго стояла я возле растяпы-додо, он выглядел печальным, и мне казалось, будто нас с ним что-то роднит. Разве не преследовала на каждом шагу и меня та же кличка? Я гладила грустные перья. Разве не брат он мой по несчастью? Обзывай меня мама перед людьми didus ineptus, как называют додо,— это бы не так унижало.

Папа показал мне крохотных колибри, они, словно пернатые шмели, высасывают нектар из цветов, обратил мое внимание на великолепные перья райских птиц. Птицы мне нравились еще и потому, что я знала их дарителя. Путешественник Враз жил по соседству с нашими домами на Товарной улице и очень любил детей. В первый раз он остановился у нашего палисадника в самый неподходящий момент, когда я оторвала кукле голову. В мгновение ока я спрятала ее останки за спину, голову сунула в кроватку и прикрыла одеяльцем.

— Как поживает твоя куколка?

Ну и вопрос! Как может поживать кукла без головы?

Я тупо уставилась на его пустой рукав. Среди нас, детей, ходили слухи, будто руку ему отгрыз лев, тигр, медведь, что ему пришлось самому отрубить себе руку, когда его укусила змея.

— Ты ее положила спать? А постельку постелила?

— Ага.

Мне хотелось спросить, что на самом деле случилось с его рукой, но я никогда ни о чем у взрослых не спрашивала.

Потом мы, встречаясь, всегда останавливались, чтобы

поговорить, я здоровалась с ним еще издалека. Но однажды, когда перед витриной кондитерской какой-то мальчишка поднял рев, валялся по земле и бил ногами, знаменитый путешественник, на удивленье матери, перегнул крикуна через колено и своей единственной рукой здорово отшлепал.

Меня обуял такой ужас, что я стала обуздывать свои припадки ярости. Мысль, что и со мной может проделать то же самое этот улыбчивый старец, была невыносима.

Папа показывал мне в музее минералы, морских животных, бабочек, жуков, древние монеты, рукописи. Он водил меня по залам музея с таким расчетом, чтобы было что посмотреть в следующий раз, но я вечно тащила его туда, где находился крот со звездочкой на носу.

Мы всегда задерживались в пантеоне, папа благоговейно ступал на мраморный пол и, сняв шляпу, кланялся. Его почтение к людям, захороненным здесь, было столь велико, что он давал мне объяснения шепотом и указывал на них кивком головы и ни за что на свете не ткнул бы в них пальцем.

Папа держал шляпу в своих мозолистых больших руках и, склонившись, стоял в безмолвном почтении перед великими историческими личностями, а во мне возникали еретические мысли: настолько ли уж эти умершие более велики, чем он? От мраморного пола веяло холодом, а папина рука была такая теплая!

Другие музеи не произвели на меня особого впечатления, я всегда рвалась только в Национальный. Дело в том, что на Вацлавской площади была еще одна точка притяжения — новый буфет «Крона». Все-все стоило там одну крону: сосиска с булочкой, бутерброды, пирожное.

Я никогда ничего не просила, но, когда мы приближались к буфету, ноги мои сами начинали заплетаться.

— Есть хочешь?

— Нет.

Мы шли дальше, мимо двери, мимо витрины, мимо соседнего дома.

— Мне немножечко хочется есть,— выдавливала я наконец.

— Почему же ты раньше не сказала?

Папа продолжает идти, но, не выдержав, поворачивает назад, мы спускаемся вниз. Бутерброды, сосиски, котле-

ты с луком. Папа направляется к серебряному кубу, и мне наливают кофе с молоком. С булкой. За крону. И я с грустью жую.

Мы часто ходили на Градчаны и на Петржин, папа называл мне все башни и башенки, город под нами был сказочно красив, я обнимала его глазами, я знала его в пене цветов, в кружевах зелени и под снегом, смягчающим все линии, искрящимся на солнце.

Папа удерживал меня на краю смотровой площадки, боясь, что я свалюсь, и мы оба глядели вниз равно очарованным взглядом — мы любили башни и трубы, декорированные фасады домов и мосты, реку и красные трамваи, нам были по душе разноцветные жуки-автомобили, улицы, толпа, паровозик с развевающимся дымком, белые крылья над водой. И песнь колоколов.

Под арками Малой страны и простой ржаной хлебец казался мне вкуснее, чем в Голешовицах: он благоухал тмином и историей. Я знала все пражские предания, которыми овеяны скульптуры на мосту, колокола, храмы и камни домов.

Мы обошли все костелы. Креститься мне не разрешалось, но вести себя я должна была тихо и уважительно. Картины и скульптуры, вечно повторяющие друг друга, мало интересовали меня — захватывало лишь пространство, холод да тяжелая смесь благовоний. Взгляд мой карабкался вверх по нервюрам, цеплялся за своды, ибо неф храма вместе со мной пускался в плавание. Меня уносил прохладный, благоуханный простор. Что значили в сравнении с ним все эти посеребренные и позолоченные ангелочки! Или имена художников и скульпторов!

Когда я впервые вошла в храм святого Витта, через круглое окно фасада пробивалось солнце. На полу перед нами лежала разноцветная полоса света. Никогда еще я не видала ничего более прекрасного. Я нагнулась, на моей руке затрепетала радуга и с легкой болью проникла под кожу: я зачерпнула ее обеими пригоршнями и понесла в темноту к отцу.

Но так и не донесла. Она исчезла.

Я загрустила, и папа сочувственно посмотрел на меня.

Он относился уважительно к моему настроению, никогда не указывал, не заставлял, как мама или пани учительница, не внушал, что мне должно нравиться больше, а что меньше. Он спокойно отнесся к тому, что я, очарованная

игрой света, пренебрегла серебряным надгробьем Яна Непомуцкого[1].

В хорошую погоду мы ездили на прогулки за город, иногда вдвоем, иногда с папиными товарищами из мастерских. Мы все умещались в одном купе. Меня принимали как равную, я играла с ними в детектива или вызывала духов. В их компании была молоденькая женщина такой неимоверной толщины, что она не могла даже нагнуться зашнуровать ботинки. Муж относился к ней очень внимательно. Все знали, только одна я не подозревала, что дни ее сочтены.

Женщина была смешливая. Когда она смеялась, у нее сначала тряслись многочисленные подбородки; смех постепенно завладевал всем ее телом, она раскачивалась из стороны в сторону и в такие минуты была похожа не на человека, а на ожившую глыбу камня, исторгающую веселый гул.

Толстуха была отличным медиумом. Она сидела с закрытыми глазами — массивное, мощное воплощение серьезности, отвечала на вопросы едва заметным движением головы, как вдруг неожиданно она начинала дрожать от смеха. Однажды мы вместе ездили в Валечов и пошли смотреть Драпские светнички. Наша толстуха застряла в узком проходе пещеры, она заклинилась так, что нам было не под силу протолкнуть ее ни туда, ни обратно. Она ослабела от смеха и окончательно расплылась, заполнив весь проход своими телесами. Спасатели не могли договориться между собой, не видели и не слышали друг друга, тащили ее в разные стороны и чуть было не разорвали. А она, глядя на эту суету, заливалась гулким хохотом.

— Так дело не пойдет,— решил папа,— надо все время нажимать в одну сторону и вытолкнуть ее наружу.

Наконец она вылетела, как пробка из бутылки. Выбравшись на воздух, уселась на камень, и все ее могучее тело заколыхалось от смеха. Смех одолевал ее всякий раз, когда она вспоминала о происшествии.

Вскоре она умерла, и я представляла себе, что там, внизу под землей, она беспрестанно смеется, и могильный холм ходит ходуном.

Иногда мы с папой путешествовали одни. Это были

[1] Непомуцкий, Ян (ум. в 1393 г.) — генеральный викарий пражского епископата, казненный чешским королем Вацлавом IV (1361—1419). Считается первым святым покровителем Чехии.

многокилометровые походы. Мы лазили на неприступные скалы, пробирались сквозь лесные чащобы или шагали по дорогам под палящими лучами солнца. Через определенные промежутки папа делал привал, я мучительно ожидала, когда же наконец раздастся его «стоп». Но никогда-никогда сама об этом не просила.

Пить в дороге он мне не разрешал, а когда жажда становилась невыносимой, я шла умываться и зачерпывала в пригоршню воды из ручья — замечательно вкусной. Вечером на станции папа покупал мне лимонад. Мне очень хотелось красной малиновой воды, но как-то я заявила, что больше люблю лимонад, и мне уже неловко было менять свое решение.

— Малиновую или лимонад?— спрашивал папа, и я уже хотела попросить красную водичку, но во мне в последнюю минуту поднимался какой-то странный протест, и против воли вырывалось:

— Лимонад!

Этот напиток тоже неплох. Лучше, пожалуй, только настоящий малиновый сок из кондитерской, который мне давали, когда я болела, когда повышалась температура, и, понятно, большой радости он не доставлял.

И сейчас я с нетерпением ожидала минуты, когда папа откроет бутылку и оттуда хлынет свежесть; я любовалась цветом лимонада в бокале, не решаясь пить сразу, следила за пузырьками: они прыгали, обдавая холодком нос, и таяли в воздухе. Прыгали и прыгали. Откуда они берутся, откуда этот шелест, переходящий в веселый шум? Что они говорят друг другу, и почему одни вырываются наружу, а другие озорничают на дне?

— Пей, а то нагреется,— замечал папа, отхлебывая свое пиво.

Однажды с нами поехал Кая, и хотя он был моложе меня, о пузырьках знал больше. Я недоумевала, зачем он потихоньку взболтал свою бутылку под столом и только после этого протянул моему папе.

— Дядюшка, откройте, пожалуйста.

Он называл моего отца «дядюшка», совсем как в стихах Безруча, которые начинаются словами «Дядюшка был страстный птицелов...»

«Дядюшка» аккуратно откупорил бутылку, и вдруг все ее содержимое вылетело в лицо соседа по столу, совсем чужого человека.

Глаза у Кай были такой небесной голубизны и выражение их столь ангельски невинное, что пан, наш сосед, что-то пробормотав насчет адовой жары, чуть ли не собрался купить несчастному ребенку другую бутылку.

Зато папа поглядел на своего подопечного с явным подозрением.

В крепостях и замках самое большее впечатление на меня производили тюремные камеры и одиночки, где узников морили голодом. Я не могла понять, как один человек может запереть другого в сырую темницу и отдать на растерзание крысам.

В Карлштейне есть глубокий колодец, который ведет вниз, к реке Бероунке. Его прорубили в горе арестанты. Меня злило, что экскурсовод рассказывает об этом с полнейшим спокойствием, равнодушно показывая большое деревянное колесо: ведь здесь, в этом порочном кругу, с утра до вечера топтались несчастные узники, чтобы добыть воду. Я представляла себе бледных, израненных, голодных людей в рубище, вот они голыми руками рвут камень и уходят все глубже и глубже в осклизлую тьму. Сколько же их погибло, чтобы Отец Родины мог получить воду для своих пиршеств! Неужели он и впрямь был добрым королем, как говорила нам пани учительница? А видел ли он когда-нибудь этих несчастных? Кто были эти люди, обреченные до самой смерти взрывать горы и шагать в деревянном колесе?

Моя детская душа сжималась при мысли о них, но, видимо, их страдания не смягчали королевское сердце. Мне было жутко. Камешек летит в глубину, и я падаю вместе с ним, хватаюсь за холодные, мокрые стены, камешек булькает, долетев до воды, но я остаюсь, я сопротивляюсь, я не хочу проваливаться в глубь столетий.

Мне так прекрасно в нашем маленьком, маленьком мире, я так рада, что мы живем именно теперь, в эту эпоху, в двадцатом веке. Я еще не знаю, не знает этого и мой отец, что мой маленький мир будет изломан, что большой мир уготовит ему апокалипсические ужасы, по сравнению с которыми Карлштейнский колодец — детская забава. Но что для ребенка история по сравнению с жизнью! Что значат башни и кривые улочки, игра света, домовые знаки по сравнению с брезентовой палаткой, цирковыми фургонами со зверями? Чего стоят древние святые по сравнению с яркими кричащими афишами?

Цирк!

Приехал цирк. Цирк Клудского. На нас со всех сторон обрушилась реклама. На углах, на афишах, в газетах! «Только раз в жизни вы можете собственными глазами увидеть живую, настоящую жирафу, двенадцать бенгальских тигров, двадцать четыре дрессированных слона, вне всякой конкуренции, китайско-японских артистов, тринадцать белых медведей, семерых настоящих арабов, знаменитого укротителя диких зверей и его двадцать берберийских львов, четырех дьяволов, человека на луне и множество прочих аттракционов!»

Я редко что-нибудь прошу, но цирка просто не могу пропустить, мне ничего больше не нужно от жизни, ничего, лишь взглянуть хоть одним глазком на дрессированных зверей, укротителей львов и тигров, на лошадей, на пони.

Когда наши наконец решились, погибла жирафа. Я втайне роняю слезы, она ушла, прежде чем я увидела ее, я так и не видела ее бега, не дотронулась до бархатной шкуры с красивым узором. Она ушла, исчезла навсегда.

— Ты чего ревешь? Что с тобой?

— Она умерла...— всхлипываю я.

— Кто умер?— Папа бледнеет, до боли сжимает мое плечо.— Говори, кто умер?

— Жирафа.

— Тьфу! До чего напугала, ну и глупа же ты все-таки.

— Да-а, а я ее не видела.

— Ну так увидишь ее чучело,— успокаивает меня папа, и я с трудом сдерживаюсь, чтоб чем-нибудь в него не запустить.

Но мои слезы все-таки тронули отца, мы отправились на Инвалидовну. Я упиваюсь острым звериным запахом и едким духом конского пота, цирковое представление ослепило меня, оглушило, я не в силах поспеть за ним, разнообразные чувства: страх, восторг, смех, ужас — сменяют друг друга с такой быстротой, что я прихожу в полное изнеможение и не могу насладиться ни одним из них. Едва во мне возникало одно, как тут же уступало место другому.

Акробаты летают под самым куполом, артист балансирует на шесте, свободно стоящем на земле, девочка танцует на канате, лев скачет через горящий обруч, медведь едет на мотоцикле, во весь опор мчатся кони, коняшки.

Это не те знакомые мне лошади с мохнатыми ногами, это не клячи мусорщика с распирающими кожу ребрами, это не весело трусящие лошадки, запряженные в синюю почтовую карету, и тем более не усталые мерины, послушные кузнецу, которые покорно поднимают ногу и лишь вздрагивают, когда от их копыта валит густой, едкий дым, это не те исхлестанные калеки, у которых в гололедицу разъезжаются ноги и которые, с трудом поднявшись под улюлюканье зевак и щелканье бича, оставляют на мостовой лоскуты окровавленной примерзшей шкуры.

То были огненные кони, великолепные и гордые, белые с розоватым отливом, и в яблоках, и — самые прекрасные — вороные с блестящей шелковой шерстью, они били копытами, из ноздрей летели искры, я вскакивала на них и танцевала на их спинах, легкая, как птица, как мечта.

И тут же я воплощалась в прекрасную полосатую кошку, по знаку укротителя соскочившую с тумбы,— но какая угроза в ее движениях! Все во мне протестует, я не полечу сквозь горящий обруч, я вырвусь из-под власти укротителя, сломаю клетку, перемахну через решетку прямо к людям, которые спокойно щелкают орехи и сосут конфеты.

А вот слоны, эти невероятные животные допотопных времен. Они становятся друг на друга тяжелыми передними ногами, и мне тяжко под их грузом, я трясусь, а вдруг проломится земля и мы упадем в глубокую яму, в котел, где перемешались звери и люди.

— А бегемот! Ты не можешь себе представить, что такое бегемот!— рассказываю я Павлику.— Развалится в воде и только голову высовывает, а пасть как печка, как ворота, зубы, наверное, шваброй чистит...

Мама бросает на меня враждебный, недобрый взгляд.

На другой день она возвращается с коляской только к вечеру. Лицо у нее победоносное, братик счастливый и усталый.

— Всего можно добиться, стоит только захотеть.

Это вызов папе, но папа на подобный тон не реагирует.

— Где же вы были с Павликом?— спрашивает он спокойно.

— В цирке.

Мама не смогла устоять против слезинки, повисшей

на длинных ресницах Павлика, она решила любой ценой попасть в цирк. Пусть хоть в зверинец, если не на представление.

Бедняжка мама, конечно, и не предполагала, что в цирке испокон веков есть одна примета; она лишь робко обратилась с просьбой, и перед ними широко распахнулись все двери. Маленький калека с красивым личиком и умными глазками получил разрешение бесплатно посмотреть на зверей, на репетирующих актеров, смог сунуть слону прямо в хобот морковку, увидать, как кормят хищников, и сам пан директор показал ему маленького, совсем розового слоненка.

Брат принес цирку недолгое счастье, но цирк зато сделал счастливым моего братика. Он теперь говорил только о зверях и ни о чем другом: знал, как кого зовут, чем они питаются, где их родина.

Мне хотелось быть наездницей, Павлик решил путешествовать по далеким странам, отлавливать диких зверей и всех привозить в цирк в подарок доброму пану Клудскому.

Цирк целиком завладел нашими помыслами. Как нам хотелось, чтобы дома у нас жил слон, тигр или хотя бы крокодил!

— Как ты думаешь, слон может ходить по лестнице?

— А почему бы нет? Ведь забрался же он на барабан, да еще задние ноги поднял!

— Как жаль, что мы переехали. Слон мог бы жить у нас в палисаднике. Вот идет кто-нибудь мимо, а слон ему хоботом как снимет шляпу!

— Зато у нас здесь ванна есть. Как ты думаешь, бегемот уместится в ванне?

— Только детеныш. А ты думаешь, он такой же розовый, как слоненок?

— Розовых слонов не бывает, они серые.

— Нет, розовый, спроси у мамы!

Я очень жалела, что не видела розового слона, но за Павлика была рада. Слоненок компенсировал ему выступление артистов.

В цирке мне не понравились только клоуны. Их недолгое появление на манеже просто бесило меня. Я ненавидела публику, которая хохотала над глупым кривляньем, постоянными падениями, над их неуклюжестью и унижением. Я готова была вцепиться в эти хохочущие морды.

Перед рождеством мама стала ходить с нами на Бельскую улицу — посмотреть на витрины.

На Павлика она надевала модную вязаную кофточку с поперечными полосами, спинка коляски поднималась, братик сидел в подушках и счастливо озирался вокруг. Щеки его рдели на морозце, он улыбался всем подряд, видимо хотел веселым выражением лица оградить себя от сострадательных взглядов, а может быть, просто радовался своему приобщению к обычному миру. Мама шла своей беспокойной, торопливой походкой, толкала впереди себя коляску, а я сбоку держалась за ручку.

Первая остановка обычно бывала на путях с телячьими вагонами, вторая — на виадуке, третья — возле скульптур на Главковом мосту, четвертая — у плотины. Там мама вынимала Павлика из коляски, чтобы он мог увидеть воду. Сама она отворачивалась, но мы глазели с восторгом, как вода стеной обрушивается вниз и вскипает там, внизу.

Мальчишкой дядя Венда чуть не отправился здесь на тот свет, он нырнул в белую пену и, очутившись в полной темноте, под падающей водой, с трудом преодолел напор воды и кое-как выбрался на поверхность Поэтому плотина манила и притягивала меня, мне очень хотелось испытать дядины ощущения, там, под сплошной стеной воды.

Мы перебегаем через дорогу, мама все время вертит головой то направо, то налево, в страхе, что нас сшибет трамвай или автомобиль. И вот наконец мы стоим перед витриной магазина игрушек «У железнодорожного короля». Мы живем в постоянном соседстве с железной дорогой, но всякий раз вновь и вновь нас приводят в восторг миниатюрные пути с вокзалом, семафорами, тоннелями и паровозиками.

Игрушечный состав приходит в движение, если бросить в автомат монетку. Мама обычно ждет, когда это сделает кто-нибудь другой. Мы не возражаем. Ведь мы можем пока на все досыта наглядеться. Если долго никто монету не опускает, мама достает двадцать геллеров, и вот поднимаются семафоры, из тоннеля выезжает поезд, спускается с горы и взбирается в гору, минует маленькие станции, и братишка радостно смеется.

Мы идем дальше, пока нас не останавливает витрина меховщика. Здесь выставлены чучела зверей. Тут и куницы, и хорек — это целый оркестр, один играет на скрипочке, другой — на трубе, перед третьим стоит барабан с

палочками. Есть здесь и белка. Мы с восторгом разглядываем умных зверьков, их стеклянные глазки, комичные мордочки.

Потом опять перебегаем дорогу. На другую сторону. Мы просто не можем пройти мимо книжной лавки. Нас уже не привлекают «Поговорки нашего Грегорки» или «Приветы нашей Беты», я уже велика для «Маленького лорда», для «Гиты и Батула», наши взгляды как магнитом притягивают книги о животных.

Одну из них нам удалось посмотреть вблизи. Павлику один папин знакомый, тоже бывший легионер, дает журналы, где печатают «Графа Монте-Кристо» и «Три мушкетера». Работают они с папой вместе, но сосед все еще живет в поселке. Этот гигант, с детской душой, жену привез из России. Маленькая латышка никак не может, бедняжка, научиться чешскому языку, род и падежи не признает и в тоске по родине читает и перечитывает повести Чарской. По доброте душевной она посылает их Павлику, но и мне и ему книги эти кажутся на редкость глупыми.

Как-то наш сосед примчался через весь поселок специально для того, чтобы показать нам книгу, которую купил дочке к рождеству.

— Вы только посмотрите! Вы когда-нибудь такое видали? Впервые вижу такую прекрасную книгу!

Это «Море» Йозефа Гайса-Тынецкого[1]. Каждая картинка прикрыта шелковистой папиросной бумагой, на одной изображено песчаное морское дно и розовый коралл. Я в восторге, но сосед не выпускает книгу из своих гигантских рук, он только показывает ее нам, сам листает страницы, и на его широком лице — детское восхищение.

Книг — целая серия, и цена каждой — пятьдесят крон — сумма столь огромная, что настаивать на покупке не осмеливается даже Павлик, мы лишь как зачарованные глядим на выставленные в витрине книжки, где написано про всех-всех живущих на земле зверей.

Мы переходим через площадь Штроссмайера и добираемся до самых своих любимых витрин с игрушками. Рядом продают одежду — этим интересуется мама; для нас же с братом существует только конь-качалка, куклы, поезда, мячи и кукольные комнаты. Я просто помешана на

---

[1] Гайс-Тынецкий, Йозеф (1885—1964) — чешский поэт, прозаик и драматург. Много писал о природе для детей и юношества.

кукольном клозетике, больше мне ничего в жизни не надо. Брат переводит взгляд с одной игрушки на другую, но меня занимает только эта вещь.

— Мама, кукольный клозетик, погляди!

— После первого купим,— отрезает мама.

Она хитрая, никогда не скажет точно, до какого первого придется ждать.

Разве можно пройти мимо витрины часового магазина? Мы с интересом разглядываем будильники с картинками. На одном изображена гусыня, каждую секунду она несет яйцо, мы долго вместе с ней отсчитываем время.

Вот мы и добрались до нового железобетонного здания: торговый дворец сверкает стеклянными витринами. Но нас куда больше привлекает старый ресторан Тиволи (или, как говорит брат, «Те волы») —здесь в витрине живут белые мышки. Мышки приводят меня в восторг почти так же, как звездоносый крот, я знаю всех мышек Грабовца, их детенышей, я знаю японских мышек-танцовщиц, которые поднимают лапки к мордочкам и водят хороводы. Я отдала бы королевство, отдала бы полжизни за мышку с просвечивающей сквозь белую шерстку розовой кожицей и глазками-бусинками.

Той же дорогой, с теми же остановками мы возвращаемся, мама начинает нервничать, фонарщики своими шестами уже зажигают фонари, у автомобилей вспыхивают глазищи-фары, извозчики с осторожностью несут фонарики или свечки в кульках к своим экипажам, отдавая дань «бессмыленным» предписаниям властей. А лошади подковами высекают искры.

И только когда дома загорелась елка, мы сообразили, почему вдруг маму одолела такая страсть к прогулкам. Папе требовалось время, чтобы сделать Павлику цирк. Большую тележку он разделил на множество клеток, аккуратно соорудив их из проволоки, в каждой клетке сидел гипсовый зверь. И большой слон Беби, и маленький слон Вейвртка, и бегемот, и носорог, и жирафа — у нее была своя высоченная клетка,— и еще лев, тигр и даже муравьед! Лошадки, запряженные в тележку, были деревянные, пестро раскрашенные. Мы и не замечали, что лошадки больше слонов, но вот надпись нам не понравилась: цирк Сарасан, а не Клудского. Такое имя казалось нам дурацким, но папа запомнил его с детства.

Цирк стал нашей самой любимой игрой, мы постоянно

его расширяли, родные и знакомые дарили Павлику все новых и новых зверушек, вскоре они уже не умещались в клетках.

Ни одна папина игрушка не пользовалась у нас таким успехом. А ведь он как-то соорудил для нас громадного змея. Ни у кого во всей округе такого не было, змея приходилось привязывать крепкой веревкой, и сам папа в ветреную погоду не мог с ним сладить.

Папа сделал большой кукольный театр, вырезал лобзиком множество декораций и фигурок, их ручки-ножки соорудил из липового дерева, приделал купленные в магазине головы и прикрепил к фигуркам нити. Мама из лоскутов сшила королевские одеяния — одна наша знакомая делала модные абажуры из шелка и бархата. Папа подключил к театру электрические батарейки, и у нашего дракона вместо глаз загорались зеленые лампочки, а в пасти сверкала алая. В темноте он казался красавцем, и мы ничего не имели против, чтобы на ужин он съел принцессу. Театр занимал нас гораздо больше, пока папа его мастерил, чем когда мы сами устраивали представления.

Но никогда и ничто не доставляло нам такого огромного счастья, как цирк Сарасан с его милыми гипсовыми зверушками. За многие годы ни одна из них не разбилась, а мы с Павликом, играя, становились одним телом, одной душой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙСКИЕ КУЩИ

Я полюбила Голешовице с их дымом и садами, подслеповатыми фабричными окнами, но глаза мои постоянно искали зелень. Я знала все деревья наперечет и даже маленькую березку, чудом укоренившуюся на площадке под окном третьего этажа фабрики. Маленький побег превратился в деревце. Я знала, из какой трещины на мостовой выглянет трава, где вознесет свое маленькое солнышко одуванчик, где из-под слоя листвы появится лиловый глазок подснежника, где зазвенят колокольчики-бубенчики, на каких путях львиный зев откроет свою крохотную пасть, заляпанную дегтем. Я знала все сады и палисадники и даже все цветы в окнах.

Но особенно очаровал меня один сад. Он был обнесен металлической декоративной оградой. Хитроумно пере-

плетенные решетки на воротах (такие умел делать и мой папа), а за ними летом цвели розы, а весной — магнолии.

Людей в саду не было, или я их просто не замечала, я тихонько прижималась к ограде и любовалась чудом.

Цветок магнолии, весь словно из розового фарфора, у меня на глазах обронил лепесток. Он упал, как я и ожидала, тихо и не разбился. Лепесток лежал на траве, и мне нестерпимо хотелось завладеть хотя бы этим одним-единственным лепестком, потрогать его, прижать к щеке, вдохнуть его аромат.

Даже когда магнолия отцвела, покрылась листвой, превратившись в такое же дерево, как и все остальные деревья, я не могла пройти мимо. Мне казалось, расцветет еще один, ну хоть один фарфоровый цветок.

В нескольких шагах от сада проходила железнодорожная ветка, по шпалам прыгали дети. Моя школьная подружка, балансируя раскинутыми руками, ходила по рельсам. Я умела делать это лучше и показала свое искусство.

— Будешь с нами играть?— спросила ласково девочка со смешными косичками.— Меня зовут Киска.

Я была так поражена, что даже не назвала своего имени. Как же можно называть человека Киской?

— Киска?— протянула я недоверчиво.— Киска — ведь это кошка?

— Ага, Киска, — подтвердила моя подружка. — Кискин папа — фабрикант. Это их вилла за той решеткой.

Девочка мне сразу же понравилась, жаль только, что магнолия не цвела осенью. Мечта об одном-единственном лепестке магнолии была столь пылкой, что я решила подружиться с Киской любой ценой. Я мобилизовала все свои развлекательные таланты («ты можешь рассмешить даже дохлую козу»,— льстили мне ребята), я из кожи лезла вон, понимая, что поступаю низко, гадко, что я, в сущности, продаюсь.

В самый разгар веселья, когда мы хохотали до слез, кто-то пробежал мимо. Взрослые, собравшись толпой, взволнованно переговаривались, и я услыхала вдруг, что на Поржичи рухнул недостроенный дом.

— Десятки убитых и засыпанных, их вытаскивают и вытаскивают...

В этот момент за металлической оградой появилась бонна под вуалью и позвала Киску домой.

А у меня было такое чувство, будто дом обрушился на меня, я пустилась бежать и, примчавшись домой, крикнула с порога:

— Там убитых вытаскивают и вытаскивают...

Я повторила все в таких выражениях, как запомнила, и мама накинулась на меня. Мне всегда попадало, когда я обезьянничала со взрослых.

Под руинами погибли шестьдесят человек, в большинстве рабочие, занятые на стройке. Общественность возмутилась, в похоронах приняли участие четверть миллиона граждан. Мама на чем свет стоит кляла правительство. Папа печально качал головой.

Республика была годом старше меня и не страдала детскими болезнями, она быстренько переняла пороки старших, более опытных государств. Парламент сотрясали всевозможные аферы, смердело то спиртом, то сахаром, то углем, на государственных поставках началась открытая спекуляция, процветали махинации, коррупция. В школу сведения о миллионных взятках не доходили, но ничто не помешало слухам проникать в наш маленький мир и нарушать наш покой.

Мне исполнилось девять лет, и в моем сознании эта катастрофа ассоциировалась с Киской. Ассоциация, конечно, произвольная, но я этого не понимала. Привыкнув к скрытности, я одиноко мучилась угрызениями совести: казалось, будто в случившейся беде есть и моя доля вины. Ведь о катастрофе я узнала как раз в тот момент, когда меня одолела не совсем чистая мысль: с помощью фабрикантовой дочки Киски пробраться к магнолиям.

Я считала себя предательницей и уже никогда не искала встречи с Киской, старалась забыть смешные ее косички и железную решетку обходила стороной. Магнолия казалась мне символом вероломства и, бывая в Стромовке, я теперь с недоверием смотрела на ее неестественно прекрасные цветы: холодные, искусственные, чуждые. Я больше не называла дерево магнолией и мстительно обозвала его орясиной.

Настоящий рай мы обрели случайно. И опять-таки через знакомых — у знакомой нашей знакомой был домик в Книне. Домик маленький, крытый соломой, но вокруг его обступал прекрасный сад. Бабка Велебилка жила одна и искренне обрадовалась нашему появлению. Лишь позже выяснилось, что она враждует со всей деревней.

Бабка высокая, сухощавая, с пергаментным личиком, была разговорчива, всему удивлялась. Округлив выцветшие глаза, она подпирала рукой подбородок и выдыхала:

— И не говорите, сударыня! Ах, Христовы муки!

Мне ужасно нравилось ее неподдельное изумление, и я, лишь бы увидеть ее еще раз помолодевшей и удивленной, изощрялась в сочинении разных душераздирающих историй.

Жизненная ее философия пролила бальзам на мою до крови израненную душу. Наше семейство беспрестанно боролось с несправедливостью, тысячи раз нас предавали, но мы снова и снова хватались за ниточку надежды, веря, что мир не так уж плох. Я была слишком мала для тех страстных споров, которые слышала, забившись под стол, они подрывали мою уверенность и заставляли сомневаться во всем, чему поучала нас пани учительница. Если б я спросила наших, они, возможно, объяснили бы мне, что к чему, но взрослые и не предполагали, что я их слушаю.

Мама иногда прятала газеты, особенно те, где расписывались убийства, но брат мне все пересказывал до мельчайших подробностей, думаю, даже сгущая краски.

Родители ничего не запрещали читать, некоторые книги предлагали сами, о других говорили, что это мне будет неинтересно. Но я читала подряд все, что только попадало под руку, с мальчишками — приключенческие и ковбойские книги, с Лидункой — Ирасека, сама — Немцову, Эрбена, Неруду, Светлу[1], папиных поэтов и пьесы, маминого Толстого, Достоевского, Эренбурга, Куприна, Золя, Мопассана.

Я умела одновременно решать задачки и разговаривать с братом, играть с девчонками в жмурки и салки и размышлять о Мармеладове. Он занимал меня больше, чем Раскольников, чем герои всех других книг; он был мне совсем непонятен.

Это было выше моего детского разумения, я не могла справиться с впечатлениями, не могла их разложить по полочкам, разобраться в них, просеять. Во время одиноких прогулок я иногда так углублялась в иной, вымышленный и вычитанный мир, что набивала себе шишки на лбу обо все почтовые ящики, синеющие на углах домов, а

---

[1]Светла, Каролина (1830—1899) — чешская писательница, принимавшая большое участие в движении за эмансипацию женщин.

случайно встреченным знакомым приходилось не раз окликнуть меня, прежде чем моя размечтавшаяся душа возвращалась на землю. Мне чудилось, будто я стою под падающей с плотины стеной воды, меня давит кромешная тьма и бесконечные потоки мчатся надо мной, бурлят, кипят и пенятся, оглушительно ревут, а я не в силах прорваться сквозь эту лавину на воздух.

Тетя Велебилка (мы по деревенскому обычаю называли ее тетей) вывела меня из этого состояния. Она сделала это очень просто:

— Пойдем со мной в лес, Ярушка?

И я пошла.

Она заказала для меня короб, настоящий, замечательный короб с лямками. Я надела его на плечи. Тетя шла быстро, я семенила следом.

Лес принадлежал церкви, так же как и бо̀льшая часть земли. В Добржишской округе было три леса. Тетка делила их на господские — хотя никаких господ здесь не имелось, княжеские — хотя титулы у нас давно уничтожены, и на все прочие. Новый, республиканский хозяин оказался самым плохим: за вход в лес, за сам лесной воздух взималась плата. Квитанция хранилась при себе. Это, конечно, не касалось тех, кто в лесу работал. Они могли в счет оплаты набрать хворосту или накосить травы, но за разрешение собирать ягоды или грибы приходилось авансом отдать две кроны в день. Естественно, никто в деревне и не собирался платить, люди просто избегали лесников, а лесники — людей, чтобы не исполнять своих обязанностей, не вымогать штраф у несчастных старух. Но находились и такие, что выбрасывали чернику из бидончика или грибы из корзины и злорадно растаптывали.

В княжеских лесах запрещалось пугать зверей. После пяти часов ходить в лес не разрешали. Лишь господские леса были доступны всем. Но во время прогулок и пикников часто возникали споры с лесниками — границы лесов обозначались нечетко.

Тетка еще дома прятала под юбками пилку. А в лесу, оглядевшись, доставала ее:

— Главное, следи, чтоб лесник не нагрянул!

Она поспешно надрезала сухую ветку и отламывала ее, толстые обрубки покрывала хворостом. Мы набирали полные коробы, тетя помогала мне надеть мой на плечи и поднять.

Какими далекими казались теперь все ужасы и несправедливости мира. Бояться приходилось лишь лесника. И какое счастье — тащить на себе короб, ощущать, как щекочут ветки шею, знать, что волосы полны хвои.

Тетя подарила мне корзину для картошки, маленькую мотыгу, и мы отправились на поле. Все поросло чертополохом, тетя по привычке выдергивала сорняки и бросала на землю.

— Вот бы гуси полакомились!— сказала она задумчиво.— Только двор загадят до безобразия.

Она проворно нагнулась и несколько раз пнула ногой сорняки. Верхушки еще не завяли, мы выбрали стебли покрупнее, а остальное забросали землей. Неподалеку от картофельных полос было небольшое поле пшеницы и делянка, засеянная маком. Тетя наклонялась над полосками, то там, то тут выдергивала сорняки, она походила на беспокойную птицу, ловко вытягивающую из земли червяка и не знающую, что с ним делать.

Тетя отломила маковую головку, проделала в ней дырку и высыпала мне на ладонь зернышки, еще не созревшие, но с пьянящим вкусом и запахом. Оторвав бутон, она обломила стебель, развернула зеленую чашечку, из отцветшего мака вынула головку. У меня скопилось множество маковых куколок, у некоторых юбочки были розовые, а у совсем крохотных — белые. Кукол с волосами мы делали из цветущего мака, лепестки загибали, а красную юбочку перевязывали в поясе травинкой. Мы набрали букет васильков, но до дому не донесли, тетя раскладывала цветы у подножия распятий. Насколько мне известно, это была единственная форма ее общения с богом. Я едва поспевала за ней, но вдруг она на бегу останавливалась и срывала для меня стручки гороха, мальву, а то и спелое яблочко.

На ужин ели картошку. Никогда и ничто больше не казалось мне столь вкусным. Я приносила с хутора пахту, с трудом тащила большой бидон, отпивая по дороге большие прохладные глотки, легко и щекотно проскальзывавшие в горло.

Я научилась есть, подражая тете. Вот мы сидим вместе, привалившись к воротам сарая, тарелка на коленях, едим картошку с солью и свежесбитым маслом из Ракосника, запиваем все это пахтой, а ветер мечется в кронах яблонь. Трава влажна от росы; от чертополоха, который мы

притащили днем, идет дурманящий дух; жирная курица уснула, не добравшись до насеста; неслышно чертят небо летучие мыши, зажигаются первые звезды. На меня нисходит благодать, я пока еще только дитя, которое лакомится картофелем в этом спокойном мире.

— Хочешь пойти со мной на кладбище, Ярушка?

Я тут же бросаю игры и иду с тетей поливать Кучеру и Велебила.

Кучера лежит рядом с центральным проходом, над ним высится памятник, у Велебила место подешевле, он покоится под простым железным крестом. Цветы у обоих одинаковые, и мы выливаем на них полные лейки воды.

— Погоди, я сейчас Кучеру прополю,— говорит тетя спокойно.— Велебила надо бы немного подстричь. Напомни мне завтра взять ножницы.

Она говорит все это деловито, и мне кажется, что тетя ухаживает за обычными цветочными клумбами. Вероятно, мне тогда требовалась некоторая доля легкомыслия, и в тете я невольно искала той уравновешенности, что не могла мне дать родная бабушка.

Нам разрешалось лазить по всему кладбищенскому саду где угодно и что угодно рвать, лишь снежноягодник был под строгим запретом, нельзя оборвать ни одного белого шарика, а они так чудесно трещат и лопаются под ногами.

— Это для Кучеры и для Велебила,— объясняла тетя,— оставим его мертвым, он им понадобится в духов день.

В духов день она обычно украшала могилки узором из белых шариков. Мы уже в это время жили в Праге. О своих мужьях тетка никогда не вспоминала со слезами или с печалью. Они просто прошли с ней часть своего земного пути, совершили какие-то поступки и снова исчезли в небытии.

В хозяйственных постройках возле дома еще сохранился еле уловимый запах животных. Железные обручи на желобах заржавели, стойло, разбитое подковами, обветшало. В углу под крышей прилепилось заброшенное ласточкино гнездо. На току стояла бричка, желтый лак на ней покоробился и облупился, кожаные подушки потрескались, солому растаскали воробьи.

— Эта бричка осталась после Кучеры, — спокойно вспоминала тетя.— Он любил коней.

В саду росли плодовые деревья с редкими, диковинными плодами. Прививки постепенно отмирали, кроны обрастали ветками, на которых не образовывалось даже завязи, а в двадцать девятом году деревья так побило морозом, что стволы потрескались, изошли соком, и деревья плодоносили все меньше, все скупее.

— Это сажал Велебил, при Кучере здесь росли только те вон райские яблочки да на насыпи — терновник.

Тетя сидела, подобрав под себя ноги, и вылавливала из козьего молока куски сладкого омлета — ее любимого блюда. И мне казалось, что все в этом мире прекрасно. Кучера возделывал поле, разводил лошадей и коров и умер; Велебил посадил деревья и сошел в могилу, а мы вот притащили хвороста, затопили, съели картошку, запили ее пахтой и тоже когда-нибудь уйдем в землю, и ничего не случится, все так же будет опрокинут над землей небосвод, освещенный звездами, все так же неслышно будет носиться летучая мышь, лаять вдали собака.

Тетя перебралась в кухню, а нам отдала комнату. В шкафу, на внутренней стороне дверцы, были мелом отмечены важные даты. Среди записей «Пеструху к быку», «Милену к быку», «Телку к быку второй раз» я прочла: «Умер мой муж — возьми, господи, его душу в рай», «Вышла замуж еще раз», «Умер мой второй муж».

Мне не казалось это смешным, скорее успокаивало, все написано одинаковыми большими буквами, все одинаково важно, все с течением времени приобрело равную ценность.

Так же просто приняла тетя Велебилка и Павлика. Ни о чем не расспрашивала, обращалась с ним так, будто он здоров, будто и не заметила, что он не может ходить. И сразу завоевала его сердце. Она таскала его по саду, наклоняла к нему ветви яблонь, чтобы он мог сорвать яблоко, отламывала целые ветки со сливами, совала в коляску курицу, приволакивала из лесу кусты малины и мышиные гнезда, а то и дохлого крота.

По-матерински приняла она и Каю, и Богоушека. Тетя Тонча с пани Маней поселились в благоустроенном сельском доме, но для детей дом этот таил массу неудобств и даже опасностей.

Тетя Велебилка никогда своих детей не имела, но обладала шестым чувством: она тут же поняла, как доставить каждому из нас радость.

Сама, по собственному почину, велела привезти в сад воз песку. Сколько же замков и туннелей мы понастроили! Увы, песок привлекал к себе и кошку, и в самую ответственную минуту, когда должна была пасть последняя преграда и наши руки соединиться под землей, мы натыкались на закопанную кошачью бяку.

Кошка была какая-то странная. Вместо ушей — вечно мокнущие раны, и мы брезгливо отстранялись, когда она с мурлыканьем терлась о наши ноги.

— Ничего,— говорила тетя,— думаю, крысы это ей обгрызли, скоро заживут.

Но другие уши у кошки не выросли, а раны не зажили, тем не менее она прожила долго, все наше детство, и каждые каникулы нас встречала. Я старалась держаться от нее на расстоянии и гладила ее только по спинке. Два раза в год кошка приносила котят, которых тетя тут же топила в ставкѐ. Ставо̀к был через дорогу, и однажды она поручила это дело нам. Мы бесстрашно подхватили мешок с котятами и камнем, но мешок размок в воде, камень пошел на дно, а котята барахтались в воде и мяукали.

Кая ревел во весь голос, я хлюпала потихоньку, но мы не догадались прийти животным на помощь, а бросились бежать куда глаза глядят, на другой конец деревни.

— Пищали? Ну и что? По-вашему, на всей земле должны только одни кошки жить? Каждый год кошка приносит восемь штук, у тех через год тоже пойдут котята, вот и подсчитайте.

Я не имела представления о геометрической прогрессии, но тем не менее на мешке из-под муки выстроила длиннющий хвост цифр, потом бросила считать, но постигла жизненную и мудрую необходимость иных поступков.

В Книне мы полюбили похороны. Только услышим, бывало, траурную музыку, наскоро ополоснемся, оденемся и пристраиваемся в конец процессии, что тянется по дороге мимо наших ворот. Иногда мы карабкались по камням, цепляясь за одичавший крыжовник и ствол сливы, перелезали через вал и первыми прибегали на кладбище.

Процессия медленно тащилась по деревне, звонил колокол, мужчины в черном — отсвечивавшем на солнце зеленым — беседовали об урожае. Была ли сушь, или дождь, или холод, но так или иначе виды на урожай всегда были плохими. Женщины перемывали косточки родне покойника или своей собственной.

Мы старались обгонять провожающих по причине не слишком-то благородной. Этот трюк придумал Кая. Мы уже стояли у кладбищенской стены, когда процессия на время распадалась. Люди прошли несколько километров, мужчины отдыхали, сбившись кучкой возле стены, женщины, раскинув юбки, усаживались на траву, здесь особенно высокую и зеленую. Нам нравилось, что они продолжали свои разговоры, колокол все еще звонил, и гроб, сопровождаемый священником, министрантами и ближайшими родственниками покойного, вплывал в костел.

Я сейчас не в состоянии понять, почему погребальный обряд вызывал у нас такой интерес. Люди плакали, а нас разбирал смех; все было смешно: и кропильница, и цветы на гробе, и солнечные лучи, бьющие в распахнутые двери и рассекающие полумрак костела, и птички, щебечущие над разрытой могилой. Как-то раз в костел залетел шмель и закружил вокруг священника. В латинские слова молитвы вплеталось жужжание; священник старался не глядеть на прилетевшего гостя и лишь едва отстранялся. И тут шмель опустился на его потный нос. Священник попопытался было сдуть его, Кая громко фыркнул, скорбящие поначалу решили, что он рыдает, но, разобравшись, вдвойне оскорбленные нашим поведением, выставили нас из костела.

Слух о случившемся, естественно, дошел до наших домашних, но тетя за нас заступилась.

— Да оставьте вы их, пускай смеются, сами перестанут, когда у них кто-нибудь умрет.

Мы тоже устраивали похороны, выкапывали могилки для мертвых птиц и жуков. Матери запрещали играть в эти жестокие игры, они были суеверны и опасались, как бы игра не привлекла в наши дома смерть. Но мы забирались в самые дальние углы сада, украшали могилку цветами и желали жучку «земли пухом» и «мир его праху».

В Книн к нам приезжала Иржа, она стала совсем взрослой девушкой, иногда нам удавалось упросить ее, и она пела своим серебряным голоском всю литургию, она знала молитвы и по-латыни тоже, похороны получались столь прекрасными, что иному жучку или лягушке случалось отправиться в лучший мир не без нашего участия.

Но порой Иржа не поддавалась на уговоры, она бранила нас за надругательство над верой и богохульство, уводила на завалинку, на солнце, и учила туристским песням.

Зверьков мы не только хоронили, иногда мы пытались их оживить. Однажды мы нашли под гнездом едва оперившегося птенчика, отогрели его в ладонях и положили обратно в гнездо. Утром он опять оказался на земле, на третий день тоже, и тут мы заметили, что птенец больной, у него распух зобик. Мама прокалила иглу и проделала несложную операцию, после чего мама-птичка оставила птенца у себя в гнезде.

В деревне мы однажды вернули к жизни цыпленка. Он лежал на навозной куче. Мы брызгали на него водой, дули, поили до тех пор, пока он не встал на ножки и не сделал нескольких неверных шажков. Но тут случайно подвернулась молодая крестьянка. Она с отвращением поглядела на несчастное, мокрое существо.

— Мы его уже воскресили,— похвалился Кая.

Девка молча схватила цыпленка и шмякнула об забор. И, не проронив ни слова, удалилась, а мы, остолбенев от ужаса, смотрели друг на друга. Что можно было теперь сделать для цыпленка? Только похоронить с почестями.

В деревне стоял красивый старый дом: низ каменный, верх, рубленный из бревен, уже обветшал. По всему фасаду шел деревянный балкон. Двор не был обнесен забором, его отделял от деревни ручеек, то пересыхающий, то полный дождевой водой, туда же вливалась через трубу вода из садка и вода, которую качали возле часовенки.

К дому под прямым углом были пристроены хлев и амбар. До сих пор у меня перед глазами стоят огромные ворота, на них вниз головой висит мертвый теленок.

Нас привлекло сюда жалобное мычание. Я сжимаю ручку коляски, Кая вцепился в мою руку, Богоушек стоит с широко открытым ртом, я слышу прерывистое дыхание Павлика. Из сарая выводят ревущую корову, хозяйка держит ее за рога, гладит, успокаивает, какой-то чужой человек, смазав руку салом, лезет в ее чрево, а мы с ужасом наблюдаем за страшной картиной появления на свет нового существа.

— Теленок слишком большой,— говорит человек,— зовите мясника.

— Нет!— кричит хозяйка.— Нет! Ни за что!

— Да ведь теленок мертвый, послушайтесь моего совета — зовите мясника!

— Нет! — отчаянно кричит женщина и обхватывает жалобно стонущую корову. Женщина поднимает ее поникшую голову, уговаривает, не дает обернуться назад, туда, где хлещет кровь.

— Ну что с тобой, Пеструха, что?

Прибегает соседка с ведром теплой воды, вторая тащит в переднике отруби, третья сует корове свежей травки, четвертая несет краюшку хлеба, посыпанную сахарным песком.

— Ешь, Пеструха, на, съешь, Христа ради, возьми хлебушка!

Корова мотает головой, в ее протяжном реве слышится смертельная тоска. Теленок уже висит на воротах, человек моет окровавленные руки и настойчиво повторяет, чтобы звали мясника.

У коровы подкашиваются передние ноги, хозяйка пытается ее удержать, поднять, соседки подбегают на помощь, но они в состоянии удержать лишь голову, животное тяжело заваливается на бок. Хозяйка бросается на колени, обнимает тяжелую коровью голову и все заклинает, заклинает:

— Пеструха, Христа ради, вставай, встань, встань, прошу тебя, Христа ради, встань, ради всех святых, встань, встань!

Корова в ответ лишь слабо, тоскливо мычит.

— Несите нож, мясник уже не поспеет! — приказывает чужой человек.

— Нет, нет! — сопротивляется хозяйка. — Она встанет, встанет, вот увидите, встанет.

И снова заклинает, заклинает свою Пеструху. Все отступают, она остается одна с коровой, пытается поднять ей голову, ноги, а потом уже лишь молит:

— Ради бога, встань! Христа ради, встань! Встань, Пеструха, встань!

Большая рогатая голова тяжело ударилась оземь, женщина упала рядом, она уже не сопротивлялась, лишь закрыла глаза, когда нож погрузился в шейную жилу.

— Кровь! Течет кровь! Течет! — кричат соседки, они готовы присягнуть, лишь бы несчастная получила пару сотен крон, но я вижу, что это ложь, животное уже околело.

Хозяйку поднимают, насилу отрывают от коровы. Женщина нетвердо держится на ногах, идет, словно слепая, вытянув вперед руки, дети громко кричат и хватаются за ее юбки.

Я стою, окаменев от ужаса! Я понимаю: случившееся хуже, чем смерть кого-нибудь из близких.

— Беда! — спокойно говорит тетка. — Теперь им конец! Пойдут по миру.

В ее устах это звучит нестрашно. Таков уж бег жизни: люди потеряли корову, крышу над головой, землю, кусок хлеба.

— А какой теленочек! Да только слишком велик оказался.

Значит, все горе в том, что теленок оказался слишком большим. Человек против этого бессилен, это судьба.

Кроме кошки, которую мы прозвали Хозяин Безушек, тетя держала еще семь кур. Время от времени тетя отправлялась на ток, брала цеп и обмолачивала для них сноп пшеницы. Когда зерно кончалось, она сбрасывала следующий сноп. Двери в амбар тетя оставляла открытыми, зерно проваливалось сквозь щели, куры клевали, не утруждая себя поисками червей. Неслись они редко и там, где заблагорассудится. Частенько во время игры в прятки мы наступали на оброненные яйца. Здесь, в амбаре, я избавилась от старой привычки пить сырые яйца. Я как-то проделала дырочку и мне в нос шибанула сладковатая вонь — в яйце протух зародыш, я отколупнула кусочек скорлупки и чуть не свалилась вниз.

Куры кудахтали, пытались высиживать яйца, тетя, схватив их за крылья, окунала в ставок; здесь тете угрожал соседский петух, и она ладонью заслоняла от него лицо.

Однажды хитрая курица, обманув хозяйку, исчезла надолго, а потом вдруг объявилась с целым выводком цыплят.

— О, Христовы муки! — вскричала тетя. — Ах ты дрянь несчастная! Ты меня еще попомнишь! Кто, по-твоему, будет за ними ухаживать?

— Мы вам поможем!

Так у нас появилось свое собственное хозяйство. Цыплят было семь штук. На следующий год мы выхаживали семерых кроликов, семерых гусей, семерых уток. Наверное, таково было тетино счастливое число. Весной она их

покупала, летом мы их откармливали, а осенью съедали.

— Послушайте, дети, — поучала нас тетя, — своего зерна у меня мало, от травы они мясом не обрастут, вот пойдете мимо поля, наберите-ка зерна, только колосья не обрывайте, а выколупывайте зернышки, лучше всего пшеничку, и — р-раз — в карманчик! Да храни вас господь польститься на другое поле. Не на господское, ведь вы господское поле знаете?

Господское поле раскинулось на равнине — чистое, без сорняков, рожь уже вымахала выше нашего папы, а пшеница клонила долу свои тяжелые колосья. Здесь мы впервые увидели жнейку. Мы стояли под палящими лучами солнца и не могли оторвать от нее глаз.

Маленькое хозяйство процветало, мы притаскивали полные карманы зерна, рвали для кроликов одуванчики и листья акации, наблюдали, как мама, зажав в коленях гуся, пропихивала ему в глотку корм.

— Вот так и тебя надо откармливать, — не упустила мама случая уколоть меня.

Нам с братом эта идея понравилась, и во время обеда мы делали вид, будто засовываем себе куски прямо в горло.

Словом, все шло как положено, пока я не влюбилась. В селезня. Утят было семеро, их высидела одна из теткиных постоянных наседок. С верхних террас вода стекала в широкий ставок, из сада — в трубу под шоссе и снова разливалась уже в деревне. Утята, почуяв воду, стали совать клювы в тину, пролезли в трубу — писк их стал глуше, а лапки громко зашлепали — и один за другим прыгнули в ставок. Мы собственными глазами увидали иллюстрацию к хрестоматийному рассказу: курица-наседка чуть с ума не сошла от ужаса, она бегала по берегу, кудахтала, созывая своих подопечных, но вместо ответа они лишь высовывали из воды свои задочки.

Курице это вскоре надоело, и она отреклась от своих неблагодарных детей. Пятеро утят были желтенькие, словно одуванчики, а у двоих в перышках что-то темнело. Один из них быстро рос, вскоре сменил окраску, голос у него стал басистый, и он явно занял среди остальных главенствующее положение.

Стоило мне крикнуть из сада «утя-утя-утя!», как из ставочка раздавалось вполне осмысленное «кря-кря-кря», а следом вразнобой неслась трескотня остальной утиной

детворы, и вот уже в трубе слышалось шлепанье лапок, селезень шагал впереди с гордо поднятой головкой, на почтительном расстоянии, раскачиваясь, семенила толпа уточек. Селезень, редкая умница, приводил к нам остальных утят и тут же давал им понять, что они его ничуть не интересуют. Он наклонял голову то вправо, то влево, разглядывал меня со всех сторон, подлезал под мою ладонь и плоским своим клювом влажно касался моей руки. Он давался мне в руки, поворачивался, когда я разглядывала перышки, которые с каждым днем делались все более яркими и блестящими. На крыльях появились зеленые зеркальца, в хвосте кокетливо закрутился султанчик.

И тогда я поняла, что это не простой селезень, а заколдованный принц. Вечером он являлся ко мне, но в окно не стучался, ведь оно и так стояло распахнутым. Легко взлетев на раму, он сидел на ней в полутьме, не пытаясь проникнуть в комнату. Я узнавала яркие краски его королевского одеяния, но лица разглядеть не могла, оно так и осталось для меня тайной. Мне приходилось крепко закрывать глаза, чтобы окружающие предметы не заслонили его образа и не помешали ему быть здесь, со мной.

Мне хотелось поцеловать принца в губы, чтобы развеять злые чары, но я не могла заглянуть в его глаза, увидеть его рот; его лицо не бледное, как луна, оно сверкает, словно солнце, я тяну к нему руки — и просыпаюсь.

Я отворачиваюсь от колючих лучей и слышу низкое насмешливое кряканье, оно раздается под самым окном, удаляется к саду, становится глуше в трубе под шоссе, затем снова отчетливо и призывно доносится издалека. Мы с селезнем понимаем друг друга, он намекает на тайну, связывающую нас. Тайком, только тайком, бросает он на меня взгляд, когда я застенчиво глажу его перышки, мы оба знаем, что смеем ласкать друг друга, лишь когда он в своем утином облике. Принц не отважится приблизиться ко мне, да и я постесняюсь гладить его по шейке, по спине, провести рукой по блестящему зеркальцу, намотать на палец султанчик, если бы он стал человеком. Я немного пугаюсь одной только мелькнувшей мысли и поспешно гоню ее прочь.

Утки подросли, желтый пух превратился в белые перышки, и в один прекрасный день сразу трех зарезали и ощипали. Одну — нам, вторую — тете Бете, третью — тете Марженке. Павлик наблюдал, как их потрошат, я рань-

ше тоже принимала в этом участие, но сейчас отчаянно кричу:

— Только его не троньте! Ведь селезня вы не зарежете?

— Ты что, повезешь его с собой в Прагу?

Нет, на это я и не надеялась.

— Его нельзя резать, мамочка, он такой красавец, он так нас любит!

— А голос-то какой! По крайней мере с ним не проспишь! — смеется мама.

Моя любовь все растет, подогреваемая страхами, я готова на все, на все, я обязана сохранить принцу жизнь! Мне противно, от клюва пахнет болотом и птичьим пометом, но я превозмогаю отвращение и целую его. И... ничего не произошло. Злые чары не рассеялись. Наверное, поцелуй имеет силу, лишь когда он, мой принц, принимает человеческий образ.

Наступило утро. Солнечное, прохладное. Я проснулась с таким ощущением, будто в мире чего-то не хватает. Лежу и размышляю, что же стряслось? Солнце покалывает меня острыми лучами и выхватывает из темноты умильные лики святых. На дворе что-то клянчат куры, щебечет ласточка, от ставка несется гомон птиц, меня словно ножом полоснуло — не слыхать моего принца! Я выскакиваю во двор. Я уже все поняла, но в отчаянии кричу «утя, утя, утинька, утя!» — и слышу, как в трубе шлепают неверные шажки, появляется поредевшая стайка, две белые утки, а впереди — жалкий, бесцветный, самый обыкновенный селезень. Совсем другой.

Я иду к амбару, мой принц уже ощипан; бледная утиная тушка отвратительна, крылья без перьев, из них торчат лишь невыдранные стерженьки! Поздно! Принц, вы уже никогда не освободитесь от злых чар и я никогда не увижу вашего истинного облика!

Мир пошатнулся, земля ушла из-под ног.

Я лежу на диванчике в кухне. Резко пахнет уксусом. Я не хочу никого видеть, утыкаюсь лицом в стену. На бархатном коврике Диана целится в оленя. Мир полон насилия, и мне уже никогда не освободить принца. Я не могу его даже схоронить, его изжарят, он станет золотистым, с хрустящей кожицей, его сожрут с кнедликами и тушеной капустой, «побольше соусу, мама, — скажет Пав-

лик, — побольше соусу», а папа вытрет жир с подбородка и воскликнет: «Вкуснотища!»

До чего они мне все ненавистны!

— Надо ее ниточкой измерить, — слышу я тетю Велебилку, — нет ли у нее чахотки. Схожу-ка я договорюсь с Карошкой насчет козьего молока!

Спокойный, убаюкивающий голос.

Один только Павлик понял меня. Выждав, когда никого рядом не было, он схватил нож и искромсал тушку. Отомстил красоте, допустившей, чтоб ее обезобразили.

Меня в саду обмерили веревкой вдоль и поперек. И решили, что я не больная, а просто тощая.

Целебное козье молоко оказалось еще отвратительней, чем рыбий жир, но меня заставляли пить его парным, с шапочкой пены над кружкой. Тепло козьего вымени, сохранившееся в молоке, казалось мне нечистым и грешным, но мама следила за мной ястребиным взором.

Бабку Карошку я любила, она единственная из всей деревни дружила с нашей теткой, не обращая внимания на все ее фокусы.

В горнице у бабки царила необыкновенная чистота, пол добела выскоблен, у порога охапка свежей хвои, в углу большой домашний алтарь со скамеечкой для коленопреклонения. Дева Мария укрыта большим стеклянным колпаком, с которого бабка усердно оттирала каждую мушиную точку. Свою деву Марию она обряжала в нарядные одежды и каждый день украшала свежими цветами, скамеечка была до блеска отполирована бабкиными коленями. Бабка жила по соседству с костелом, и ей разрешили косить траву для козы за приходской оградой. За это бабка ухаживала за садом, стирала не только для костела, но и исподнее священника.

Это доставляло ей превеликую радость, она стирала бы и просто так, задаром. Я часто заставала ее у корыта. Она полоскала своими изуродованными ревматизмом, больными руками все эти епитрахили, белые накидки, кружева и с умиленной улыбкой сообщала, что пан священник никому, кроме нее, своего белья не доверит, потому что его можно стирать только вручную и только в мыльной пене.

Развешивая или расстилая белье на траве для отбелки, бабка крестила каждую вещь. Даже длинные белые кальсоны с завязками.

Это мне казалось смешным. Ее радостное стремление услужить и трогало, и возмущало меня.

— Пан священник уже на ладан дышит, — говорила наша тетка, — а его экономка все себе гребет. Даю голову на отсечение, что Карошку в своем завещании он и не вспомнит.

Тетушка оказалась права, старенький, вечно перхающий священник умер, ненавистная экономка убралась из деревни, отхватив большое наследство, капеллану достались лишь голые стены. В деревне поговаривали, что экономка сперла бы и садовые деревья, если бы смогла их выдернуть из земли.

Но бабка Карошка ничего и не ждала, она была счастлива, что может и впредь стирать алтарные кружева своими скрюченными пальцами. Она доставала белоснежное кружево из мыльной пены, подносила к подслеповатым глазам, таскала ведро за ведром и полоскала белье до тех пор, пока ледяная вода не становилась прозрачно чистой, развешивала кружева, и на лице ее появлялось счастливо-умиротворенное выражение. Служила бабка Карошка не священнику и не его экономке, служила она самому господу богу. Люди об этом не знали, но я-то ее понимала.

— Ох, ох, — вздыхала наша тетушка, когда Карошка умерла, — если есть на небе рай, то она попадет туда, даже не заглянув в чистилище.

А я представляла себе, как бабка Карошка семенит там, наверху, с тяжелым ведром и обрызгивает небесное белье, опускает в корыто большую серую тучу и отбеливает ее, превращая в белоснежное облачко, отстирывает грязь с барашков и осторожно перебирает пальцами легонькую туманную дымку.

Тетушка Велебилка ни с кем из деревенских не зналась. Поздоровается или ответит на приветствие и бежит дальше по своим делам. Женщины здесь вообще молчаливы, на болтовню времени не тратят. Разве что вечером перебросятся словом-другим возле часовенки, пока наполняются ведра. Воду носили на коромыслах. Медленно и тяжко ступая, тащились кто в гору, кто с горы. Чем больше хозяйство, тем больше изводились женщины. Прислугу не держали, всю работу делали сами. Только в сенокос и в жатву крепким мужикам помогали те, кто победнее. Большей частью платили за это не

деньгами, а давали попользоваться молотилкой или лошадьми.

В такие дни тетка Велебилка с моей помощью укрывалась где-нибудь за хлевом. Мужик, которому она задолжала, жил на холме, и ему видна была часть ее двора. Наставал час расплаты за весеннюю пахоту, и тетка отдаляла эту минуту, как только могла. Но в один прекрасный день кредитор все-таки обнаруживал ее и окликал по-хозяйски. Она ходила на отработку неохотно и возвращалась поздним вечером, измученная, без сил.

Обычно тетя приносила от хозяина витую булку — халу — в полпротивня величиной, булка была несдобная, и мак осыпался с нее, как песок.

— Вот, глядите, это за целый-то день.

И тетка крошила свой скудный дневной заработок курам.

— Хорошо хоть не барщина, — говорила я серьезно.

Тетя усмехалась.

— Хозяин — он хозяин и есть, — отвечала она смиренным, спокойным голосом. — Так на свете водилось, так оно и будет.

Более зажиточные занимались, кроме сельского хозяйства, еще и ремеслом. Они чинили-паяли, плотничали или столярничали. Почти все полевые работы и уход за скотиной приходились на долю женщин и детей. Траву таскали из леса, а это значило битых два часа карабкаться по горам. Каждую свободную минутку шили перчатки. Совсем маленькие девочки и те горбились над раскроенной кожей.

Не удивительно, что женщины провожали наших матерей завистливыми взглядами, а дети кричали нам вслед «пражата-поросята!». Лишь старушки останавливались поболтать с нами, их изуродованные руки, привыкшие к непрерывной работе, непроизвольно крутили пуговицу, ощупывали нашу одежду. Руки, похожие на куриные лапы. Но самые страшные руки были у самой богатой бабы в деревне. Они уже не походили на человеческие, это были просто рабочие инструменты, за которыми никто никогда не ухаживает. Женщина надрывалась от зари до зари, не разгибая спины.

По сравнению с ней у моей тети Марженки, которой приходилось тяжелее, чем нам всем, жизнь была прямо райская.

Лица у местных женщин, словно задернутые занавесом, походили скорее на посмертные маски. Забитая их душа пряталась где-то глубоко-глубоко. Заговоришь с ними, душа возвращается медленно, и не сразу на мертвом лице загорится искорка жизни.

Вечером, когда они тащили на коромысле ведра с ледяной водой и вода выплескивалась на синие, в узловатых жилах ноги, на грязные, растрескавшиеся пятки, порой казалось, на бойню гонят скотину. Только скотина упирается, сопротивляется, а они плелись тупо и покорно. Радость, да и то урывками, знали только в девках, замужество превращало их в роботов. Многодетным семьям жить было трудно, и мужик довольствовался одним сыном-наследником и лишь терпел одну-двух дочерей. Женщины пили зелье, ходили к бабкам или избавлялись от ребенка собственными средствами и сразу же тащились на работу, бледные как смерть, с запавшими черными глазами.

Лишь многим позже я поняла, что деревенские простили бы нашей тетке смерть обоих мужей (ходили слухи, будто она их отравила), но примириться с ее образом жизни не могли.

Велебилка распродала скотину и большую часть земли, оставив лишь небольшое поле, чтобы хватило для собственного пропитания. Деньги положила на книжку и понемногу брала с нее на муку, на сахар, кофе, сало, на соль и керосин.

— Уж не знаю, как и быть, барышня моя, — советовалась тетушка с моей мамой, — сколько мне оставить себе на похороны?

— Ну что вы, тетя! Нашли о чем думать! Еще успеете!

— Нет уж! Это вы наших ненавистников не знаете! Им только поддайся! Они меня с радостью в поганую яму бросят! А я еще своих двадцать тысяч не трогала. Мне вот шестьдесят пять стукнуло! Сколько же я еще проживу, а? Лет до семидесяти?

— А хоть и до ста, тетушка.

— Ох, боже ты мой милосердный! На кой мне это сдалось?

Но, оправившись от первого испуга, тетка Велебилка успокоилась и трезво подсчитала:

— Одежи мне надолго хватит, одежи и белья у меня

полон шкап, все хорошая, еще довоенная. Перин — до самого потолка, картошка у меня своя, мак на пироги — тоже, яблоки есть, еще и продавать могу, яичко одно-другое найдется, зелень на суп тоже, а все-таки тысячи две в год, не меньше, снять придется, никуда не денешься. Значит, в лучшем разе — до семидесяти дотяну, и будет. Дольше нельзя.

Со своим единственным соседом тетка находилась в состоянии непрерывной войны и всячески ему досаждала. Тот орал, свирепел, а она насмешничала, отбивалась, как могла, и всегда брала верх.

У соседа земли мало, и он мог увеличить свой надел лишь за счет тетиного сада. Но предложи сосед заплатить даже чистым золотом, тетка все равно не уступила бы ему ни пяди. Пока об этом речи еще не было, истинной причины скандалов никто не знал, поводом же были соседские петух и единственное дерево — яблонька с летними яблоками.

— Опять моего петуха заманиваете, ведьма проклятая!— гремело по ту сторону забора.— Своего не можете завести, что ли?

— Ваш петух только жрать сюда ходит! Какой это петух! Только название что петух, кабы не хвост, так самая обыкновенная мокрая курица!

— Ах ты, баба-яга, да мой петух из всех породистых самый породистый, а ваши облезлые куры только и знают его заманивать!

— Плевать моим курам на вашего петуха!

— Еще бы! Вашим курам никакой петух не поможет, они, сукины дочери, все равно нестись не будут! Господь бог все видит, ему-то известно, почему на вашем дворе все подряд яловые!

— Зато у вас не яловые, пятую девку крестить готовитесь.

Тут сосед не выдерживал и скрывался в доме, изо всех сил грохнув дверьми. Соседка — его жена — никогда в этой руготне участия не принимала. Ей было не до того. Рожала она одних дочерей, и муж подносил ей такое «угощенье», что даже по воду она, бедняжка, могла ходить, только когда стемнеет.

Соседская яблонька половину своих ветвей раскинула над тетиным садом. Тетины собственные деревья гнулись под тяжестью плодов, и она не успевала их собирать,

а на соседской яблоньке не оставляла ни одной зеленухи.

— И не совестно вам, баба худая? — орал сосед.

— Да с какой-такой стати мне терпеть, чтоб ваша падалица мой сад засвинячила? Ведь в ней черви кишмя кишат.

— Червям давно тебя жрать пора, чертова баба! Вся деревня об этом бога молит!

— Глядите; сосед, как бы вас от злости не разразило! А я еще за вашим гробом пойду!

— Да что и говорить, похороны вы любите! Только меня вам не дождаться, я кофе с солью не пью.

— Потому понятия в вас нету.

— Сперва узнать бы надо, где вы эту соль берете? А я бы и воды у вас пить не стал!

— Так я ж вам и не поднесу!

Сосед снова в бешенстве хлопал дверьми, а тетка ехидно усмехалась. Она, очевидно, чувствовала, что в душе я осуждаю ее, и говорила извиняющимся тоном:

— Ему палец в рот не клади — продам кусок сада, а он у меня под окном помойку разведет: этого мужика, дочка, знать надо!

На прогулки в лес и к воде тетка с нами никогда не ходила, этого она себе позволить не могла. Без короба, без корзины или ведра в деревне не выходили даже за ворота.

Путь до леса далекий. Идти надо сначала пыльным проселком, поросшим по обочине старыми яблонями, одну из них я особенно любила — толстый корявый ствол покрылся такими наростами, что в нем образовалась выемка вроде колыбельки. Я обычно мчалась вперед, забиралась в углубление и сидела там, пока не подходили остальные. В конце лета я рвала с нее яблоки: зернышки светло-коричневые, а мякоть розовая. Откусишь — и брызнет сок.

Однажды несколько дней лил дождь, и я, набросив на голову мешок, отправилась с тетей копать картошку. Я сидела в своем укрытии, назойливый дождь омывал листву и яблоки, и вода тихо стекала на траву.

Мимо проходили две городские женщины под зонтиками.

— Посмотри, что творит этот пастушонок! — сказала одна из них. — Вот почему гибнут деревья. Вылезай, мальчик, что ты с деревом сделал? Ты же его согнул!

Я смерила чужую женщину взглядом. Мне стало ее жаль.

— Ты что, немой, что ли? — переспросила она.

Я кивнула головой и чуть не расхохоталась, мне стало так хорошо оттого, что меня принимают за деревенского немого парнишку! Но маме я про этот случай предпочла не рассказывать.

В поисках прохлады мы отправлялись к воде. Иногда нас обгоняла телега, запряженная лошадьми, или коровенка, груженная свежескошенной травой. Изредка, раз в несколько дней, проносился в облаке пыли автомобиль. Непривычные лошади пугливо шарахались, возница успокаивал их, прикрывал им ладонью глаза. Коровы при виде автомобиля задирали хвосты, как будто желая отогнать овода.

А моя мама разражалась такими ругательствами и проклятиями, что шофер от испуга наверняка бросил бы руль, если бы шум мотора не заглушал ее голос. Мама еще долго неистово отплевывалась и отряхивалась от пыли, а мы глядели вслед машине как завороженные.

На развилке дорог стояла бывшая овчарня, и навстречу нам выскакивал косматый оранжевый пес.

Я бежала к нему, обнимала и щекотала за ушами, не давая, впрочем, себя облизывать. В длинной шерсти так и кишели всевозможные насекомые, они перескакивали и перелезали на меня, я стряхивала их и прощалась с собакой. На дороге пыль по щиколотку. Кирпично-красная, она розовела и наконец приобретала серый оттенок. Мы скидывали обувь и с наслаждением поднимали облака пыли не хуже автомобиля. Мамы с коляской оставались далеко позади.

В самую сильную жару перед отходом мы надевали на себя мокрые купальники, я погружала босые ноги в мягкую бархатную пыль, и мне казалось, будто солнце прижимает меня к земле, словно ящерку к камню.

Мальчики шли налегке, а я тащила бидон с кофе и бутерброды. С творогом они были еще ничего, но с маслом походили по вкусу на размякшие гренки, масло впитывалось во все поры хлеба. Можно было бы, конечно, положить продукты в коляску, но Павлик не желал, а мама привыкла исполнять все его капризы.

Прохладная лесная тень освежала меня, я пряталась в кустах и жадно пила. Дальше нас вела узенькая стеж-

ка, она сбегала с горы по скользкой хвое, по узловатым корням, мамы кое-как управлялись с коляской, а мы мчались вперед, к заводи.

— Остановитесь у мостика! Слышите?

Мы слышали, но перебегали по узким мосткам до середины и основательно раскачивали их. Тетя Тонча и пани Маня держались за перильца и ступали осторожно, а мама, не разуваясь, входила в ручей. Если вода стояла высоко, юбка у нее намокала, а колеса полностью погружались в воду. Но на мостки мама не ступила бы ни за какие блага в мире.

Когда наши отцы были здесь с нами, они перевозили Павлика, но мама все равно переходила ручей вброд, боясь поднять глаза.

— Ма-ма-а! Мы здесь, на другой стороне, — кричал Павлик, и мама с ужасом наблюдала, как папа и дядя Йозеф раскачивают коляску над самой водой, а братишка заливается счастливым смехом.

Мама закрывала лицо руками и всхлипывала, пока наконец снова не раздавался тоненький голосок:

— Ма-ма-а! Мы уже взаправду на другой стороне!

И конечно, наверху разыгрывался тот же спектакль.

С мостков ухитрился свалиться наш вечный неудачник Богоушек. Он не прыгал, шел вполне прилично с родителями, но, на беду свою, загляделся и рухнул вниз. Упав на песчаную отмель, Богоушек заорал:

— Не бойтесь, я не разбился.

У заводи иногда проводили время приезжие из Праги, и тетя Тонча тут же начинала манерничать. Однажды из-за нее чуть не утонул дядя, услыхав, как она, сложив губки бантиком, обратилась к сыну:

— Каечка, не оди в оду!

Но самые замечательные сцены разыгрывались, когда к нам в гости приезжала сестра тети Тончи. Каждое Тончино «аристократическое» выражение она уравновешивала крепким смачным словцом.

— Не желаешь ли отведать этой булочки, Трудинка? Не правда ли, хороша?

— Пышная. Совсем, как твоя ж..., Тонинка! — отвечала тетя Труда громовым голосом.

Тетя Тонча застопорила свой возраст на двадцати восьми годах. Она упорно стояла на этой цифре, пока

сын ее не окончил школу. Правда и выглядела она на двадцать восемь. Время пощадило ее, обошло стороной.

— Каечка, солнышко, птичка моя, у тебя лапки не озябли? Надень зелененькую кофточку!

Кая, который давно перерос ее на две головы, с кислой физиономией поднимался, но, заглянув в ореховые глаза матери, послушно напяливал зелененькую кофточку. Компания его друзей покатывалась со смеху.

В тетиной наивности таилась сила, перед которой капитулировали мужчины.

В Книне с ней произошла прямо-таки анекдотическая история: тетя Тонча выплеснула из своего чердачного окна прямо на дорогу содержимое некоего интимного сосуда как раз в ту минуту, когда мимо шел староста. Тот успел вовремя отскочить, его не так уж сильно обрызгало, и он поднял горе свой взбешенный взор.

Прикрыв рукой лицо, розовое от сладкого сна, и продолжая держать в другой corpus delicti[1], тетя вскрикнула: «Ох, пардон!»

Пан староста, увидав это полуодетое прелестное создание, смягчился. Он снял шляпу и низко поклонился. И потом, проходя мимо — а мимо ходил он часто, — всегда поднимал глаза к открытому окошку. Тетя утверждала, что из предосторожности, дядя, однако, придерживался иного мнения. Он ревновал.

Тетя не только привораживала мужчин своей наивностью, но и отпугивала, обезоруживала. Она принимала знаки внимания с таким удивленно-непонимающим видом, что в конце концов поклонники оставляли ее в покое.

И даже муж, обнаружив после свадьбы ее полную неосведомленность, дабы не напугать молодую, на время отказался от супружеских прав. А молодая, когда он уходил на работу, лежа в постели, ждала, что вот-вот у нее родится ребенок, полагая, что для этого достаточно поцелуя.

— Думаю по утрам, нет, не сегодня! Наверное, еще не сегодня... Уж очень я тощая, надо побольше есть. Ем, ем, а ребеночка все нету!

Рождение ребенка едва не стоило ей жизни, но и к смертельной опасности она отнеслась с той же наивностью, как к супружеским обязанностям.

---

[1] *Здесь*: улика (*лат.*).

— Хотите кого-нибудь видеть? — спросил ее отчаявшийся врач. — Родителей или мужа? Пригласить священника?

— Зачем? — удивилась умирающая роженица. — Мы же решили крестить младенца дома.

И смерть отступила. Видимо, в этом случае смерть оказалась мужского пола.

Естественно, взаимные излияния наших мам не предназначались для детских ушей. Мы пропустили многое из того, что нам полагалось бы слышать, но ни одно словечко, которое адресовалось отнюдь не нам, от нас не ускользнуло.

В Кнпне мы стали вдруг постоянно встречать управляющего кржижовицким поместьем. Он появлялся верхом в самые неожиданные моменты. Поначалу мы пугались, опасаясь, что он застиг нас в неположенном месте. Земля была дорогая, каждая травинка — на счету. Только куда-нибудь ступишь или, не дай бог, сядешь, как уже кто-то бежит с палкой или угрозами.

Но пан управляющий водил нас по самым красивым местам, показал целый выводок ежат, проводил на полянку, алую от земляники.

— Слушай-ка, Тонча, тебе не сдается, что он чокнутый? Не слишком ли часто мы на этого управляющего натыкаемся? — удивлялась мама.

— Ты так думаешь? Все может быть.

— Ты не знаешь часом почему?

— Откуда же мне знать?

— Смотри, девочка, как бы Йозеф не догадался!

— Йозеф? А при чем тут Йозеф?

Карие глаза смотрели так удивленно, что мама лишь рукой махнула. Пан управляющий наконец приустал. Он ни разу не встретил приглянувшуюся ему красавицу без нашего сопровождения.

Нас же вполне устраивали его бесславные попытки ухаживания: он показал нам самую прекрасную лужайку на свете. Небольшая, ровная, спрятанная за холмом, она поросла шелковистой муравой; на почтительном расстоянии друг от друга росли высокие деревья. Лужайку огибала речка Коцаба, далее раскинулись луга, усыпанные цветами. На каждом или почти на каждом цветке сидели мотыльки — их легко поймать и разглядеть. Кроны деревьев источали горьковатый миндальный аромат, от низких

кустов исходил дурманящий запах. Сделаешь шаг — и в воздух взлетает целый рой кузнечиков.

Благодаря равнинному месту речка здесь разлилась, на ее песчаном дне громоздились камни и камушки, под которыми прятались улитки или раки. А сколько вертких рыбок, что выскакивают на поверхность, если им кинуть кузнечика! А жучков самых разных расцветок! Здесь мы находили чудесные трубочки, слепленные из песчинок, из блестящих камушков, из щепочек. Их обитатели, правда, оказались не слишком приглядными, и мы без церемонии выкидывали их из домиков.

Над водой порхали бабочки с синими и желтыми крыльями, столь прекрасные, что просто грех было не ловить их, не намочить крылышек в воде, не подержать в руках. Обсохнув, они покидали травинки и снова взлетали к солнцу. Иногда две бабочки, приникнув друг к другу, долго скользили, опьяненные полетом, их так легко поймать, но, бог знает почему, мамы нам это запрещали. Иногда хищно мелькала стрекоза с огромными глазищами, и мы следили за ее неровным, порывистым полетом.

В жаркие дни мы возвращались домой затемно, и повсюду: в воздухе и в траве — сверкали, горели зелеными огоньками светлячки. Свет их был обманчив и коварен. На лету поймаешь такую вот звездочку, а она оборачивается безобразной мухой. Фонарик, поднятый с земли, становится в ладони отвратительным червячком.

Случилось так, что мы едва не лишились своей лужайки. Если пан управляющий был к нам слишком благосклонен, то пан лесник — напротив.

— Управляющий? С какой такой стати он вам разрешил? Ведь трава-то моя!

В субботу вопрос был решен дядей Йозефом. Взрослые сложились, дядя купил коробку сигар и тем самым восполнил ущерб, нанесенный траве. Лужайка осталась за нами. Теперь каждый год наши каникулы начинались с похода к леснику.

Мы с братом любили животных. Но бедным животным наша жестокая детская любовь не сулила добра. Я хватала в руки все, что ползало, летало, плавало, пряталось под камнями. И все тащила Павлику.

Однажды меня здорово цапнула жужелица. Шмель с белым задиком (папа говорил, что они безвредные) загнал мне жало под ноготь, землеройка так вцепилась в

палец, что ее не могли оторвать, какой-то жук выстрелил мне прямо в глаза едкой кислотой, а однажды, когда я положила на ладошку рака (так делал папа, но моя рука была куда чувствительней), рак вцепился мне в палец, и ему пришлось оторвать клешню. Я жалела его больше, чем себя. Однажды я притащила Павлику длиннющего ужа, намотав его на руку. Мама закрыла лицо и подняла страшный крик, а брат ее успокаивал:

— Мамочка, ведь это обыкновенный уж, у него пятнышки на щеках, ну, посмотри!

Для раков я устраивала из больших камней возле коляски загородку. Я научилась ловко хватать раков за спинку или молниеносным движением выбрасывать на сушу. Павлик поливал раков водой, чтоб они не высыхали, и, вдоволь наигравшись, мы выпускали их на волю.

В господских хлебах я ловила для брата громадных кузнечиков, один был привязан ниткой к его коляске. Брат отпускал их пастись, но кузнечикам не везло, то склюет курица, то хрупнет у кого-нибудь под ногой, то попадет под колесо коляски. Один кузнечик забрался на самую верхушку сосны на нашей полянке, брат без него отказывался возвращаться домой, пришлось здорово помучиться, пока мы не вернули упрямца на землю. Кузнечики были кусачие, мы кормили их мясом и даже научили одного пить кофе. Когда мне не удавалось поймать кузнечика, Павлик начинал мечтать о тех краях, где саранча летает тучами. Нам так хотелось увидеть нашествие саранчи собственными глазами!

Больше всего мы полюбили лягушек — эти бедолаги хоть не кусались. От ставка́ иногда тянулись целые процессии лягушат, у некоторых еще сохранился крохотный хвостик. Днем на Павлика надевали панамку от солнца, а вечером мы собирали в нее лягушачью мелюзгу. Мяконькие, холодные лягушата походили на маленьких человечков. Мы решили научить их передвигаться на задних лапках и так усердствовали, что несчастные лягушата, ослабев, отказывались повиноваться. Мы так долго водили свою жертву за «ручки», пока она вообще не переставала двигаться. Так и не удалось нам заставить упрямых лягушек с человеческими глазками ходить по-людски.

Но самое ужасное потрясение я пережила по милости Павлика и его коллекции жуков. Он полагал, что можно

усыпить их бензином, но жуки на булавках вскоре приходили в себя и начинали трепыхаться.

Возмущенная, я бросила Павлику в лицо необдуманные слова:

— Ах ты дохлятина эдакая!

И в тот же миг почувствовала, что провалилась в яму, откуда мне в жизни не выбраться. Стряслось непоправимое!

Мы были одни, брат молчал, я увязала в бездонной трясине, где нечем дышать. Я задыхалась.

А потом ухватилась за спасительную уловку.

— Потому что по твоей вине жучки подыхают.

Конечно, я пошла на риск, но брату необходимо было дать понять, что я имела в виду именно это, а не что-нибудь еще. Он считал меня дурой, которая не умеет даже выкрутиться как следует. Ну и пускай! Все равно он должен поверить, что страшное слово я употребила в ином смысле.

— Да, заставляешь до́хнуть жучков!

Павлик молча закрыл коробку со своей роковой коллекцией.

Больше мы никогда к этому случаю не возвращались.

Наши папы соорудили на Коцабе запруду из больших каменных глыб. Вода поднялась нам до пояса. Мамам теперь не приходилось постоянно волноваться, что мы утонем; мы целыми днями барахтались в речке и научились плавать.

Иногда мы выбирались на глубину в залив. Мама оставалась с Павликом.

Однажды я случайно увидала, как мама сидит на плотине, держит Павлика на руках и окунает в воду его ножки. Это была их тайна, я потихоньку удалилась.

Когда мы подросли, то стали ходить купаться на Небештяк или на Пекло. Оба озера глубокие. Небештяк кишмя кишел головастиками и лягушками, а в Пекле вода казалась черной.

Тетя Тонча могла бы выйти на улицу голышом, но без прически, сделанной в парикмахерской, — ни за какие блага мира. Каждую неделю она отправлялась в город делать завивку и научилась плавать, держась высоко над водой, чтобы не намочить ни волоска. Из воды виднелись плечи, шея, завитые волосы, вокруг даже ряби не было. Она плавала тихо-тихо, и ее светлая аккуратная головка

вызывала ощущение какой-то странности, нездешности. Мы к ней даже приблизиться не смели.

— Вот как по-настоящему плавают, — укоряла мама, когда мы брызгались, топили друг друга и орали дикими голосами.

Мы умышленно пугали ее; нырнем и выплывем совсем не там, где ожидалось. Мамина беспомощность и страх доставляли нам огромное удовольствие, и, чтобы еще усилить впечатление, мы мчались по дороге и, неожиданно свернув, одним прыжком перемахивали через кусты и запруду в воду, стараясь продержаться на дне как можно дольше.

Игра была небезопасной — запруда шла наискосок, и если зацепишься ногой за кусты, то полетишь прямо на камни. Но у нас все было точно рассчитано. Иногда мама доходила до такого отчаяния, что, когда не помогали слова, начинала швырять в меня камешки. Мы так хохотали, что могли утонуть, нахлебавшись илистой воды с ряской.

Бедная мама и не предполагала, что я с двенадцати лет переплываю Влтаву у Либенского моста туда и обратно совсем одна.

Для ее нервов самой подходящей оказалась лужайка у Коцабы, там она по крайней мере ничего не боялась. Наши мамы сидели, привалившись каждая к своей сосне, и играли в карты — в «кауфцвик» — по десять геллеров. Рядом лежало вязанье. Услыхав вдалеке голоса или увидав постороннего на лужайке, они тотчас же хватались за работу. Обычно за отпуск они одолевали всего по одной салфеточке, но выигрывали или проигрывали множество монеток.

Наши отцы брали отпуск все одновременно, и тогда жизнь сразу становилась интересной. Мы совершали длительные прогулки. Брдские леса тянутся на многие километры, иногда целыми часами не встретишь ни одной деревни. Заблудиться очень легко: всюду только деревья, деревья, деревья. Мы часто сбивались с дороги и открывали романтичные уголки, но больше туда уже не попадали. Впрочем, здесь всюду было прекрасно. На камнях грелись яркие ящерки, а серые, невзрачные кузнечики превращались в огненное чудо, когда взвивались вверх, раскрыв сверкающие надкрылья. Мы шлепали по болотцам, под ногами хлюпала ржавая вода, тонкие струйки радужно блестели. Над мокрой тропинкой плясали сотни

капустниц. Напившись, они трепетали, а потом взлетали в ярких лучах солнца, словно гигантские снежинки. Из болота тянулись вверх белоснежные цветы — комочки ваты на длинных стеблях. Из зарослей доносился аромат переспевшей малины, над самой землей порхали синие и оранжевые мотыльки.

Однажды мы заблудились так основательно, что, проплутав часа три, вернулись к месту своего последнего привала. У меня засел в памяти бук с двумя большими, с тарелку, грибами-наростами, пучок мягкой травы, стайка нежных ландышей.

— Не может быть!

Мы озирались вокруг. Нам строго-настрого запретили что-нибудь оставлять после себя, мы не посмели бы бросить ни яичную скорлупу, ни конфетную обертку; даже примятую траву перед отходом старались выровнять. На нашей отмели у Коцабы прибирались, будто у себя в комнатах. Вечером там не оставалось даже нитки от привязанного к коляске кузнечика.

— Глядите, глядите, мы здесь были, тут вот прислонилась Маня, я сидела там, а вон — следы от коляски.

Мужчины долго совещались, спорили, выясняя, где какая сторона света, и в конце концов не осталось ничего иного, как снова отправиться в путь. Чего только не пришлось вынести деревянной коляске братика! Она прыгала по корням, вязла в болоте, иногда катилась на одном колесе. Мы не смели орать в лесу — «как в лесу», и шли так тихо, что перед нами вдруг открылась картина невиданной красоты: деревья неожиданно расступились, и на большой поляне мы увидали стадо оленей. Солнце садилось, ни один листок не шелохнулся, великолепные животные, словно отлитые из бронзы, застыв, стояли среди моря лилового лозняка. Самец подцепил рогами диск утомленного солнца и гордо держал, не склоняя головы под его тяжестью.

Мы восторженно замерли, как вдруг олень, царственно повернув голову, отпустил солнце на волю, и оно снова очутилось на небе. Бронзовые изваяния ожили и медленно-медленно растаяли среди деревьев. И только тогда мы перевели дыхание. Солнце, потеряв опору, заскользило вниз, мы стояли в ожидании нового чуда, но олени не возвратились. Мы с неохотой оставляли поляну, лес становился все темнее и темнее.

И вдруг наткнулись на лесника. Того самого, что отнимал и топтал у деревенских баб грибы. Люди в отместку исказили его имя, прозвали Прдивоко.

— Добрый вечер, пан лесник, — поздоровался папа с улыбкой, — как хорошо, что мы вас встретили. Как нам добраться до Книна?

Лесник с кислым видом оглядел нашу измученную компанию. Столь необычное приветствие смутило его. Но, подобно собакам, он преследовал лишь убегающую дичь.

Руки и губы, конечно, выдавали наше браконьерство, но лесник ничего про чернику не сказал. И тем не менее ему необходимо было поддержать свой престиж.

— Грибы собирали?

— А что, разве они уже пошли? — бодро отвечал папа.

Ответ так поразил лесника, что, вконец растерявшись, он показал нам кратчайший путь к дому.

Однажды мы отправились пешком на Святую гору. Ранним утром лес был необычайно красив, но, как только мы покинули его благодатную сень, жара тут же сморила нас. Мы дружно позавидовали Павлику в его коляске. По дороге встретили процессию: впереди шел певец, а женщины рыдающими голосами подхватывали протяжную мелодию. Они еле тащились, подымая клубы пыли.

Чуть живые мы добрались до костела, уже битком набитого народом. Старухи ползли на коленях вверх по лестнице, перед костелом торговцы на ярмарочный манер навязывали верующим образки, индульгенции и эксвото: сердца, легкие, головы, ноги, руки, сделанные из воска, — их подают, заказывая молитву за здравие.

Мы погибали от жажды, но все уже было выпито до капли. Торговки предлагали нам рассол, откуда руками выловили последние огурцы. Купили черешен. Крупных, таких мы еще не видали. Увы, кому-то пришло в голову разломить одну из ягод: в каждой сидел толстый белый червяк.

Усталые, не поддержав духа своего молитвой, и возмущенные наглой спекуляцией на религиозных чувствах деревенских жителей, мы возвращались домой. Обратный путь вознаградил за все неприятности. Догнавшая нас ночь расцветила каждый придорожный пень зеленоватым светом. Мы набили карманы и мешки, освободившиеся от припасов, фосфоресцирующими кусками дерева. На дру-

гой день наши сокровища превратились в обычные трухлявые щепки и выдавали свою тайну лишь в самых темных углах сарая.

И тогда из этих гнилушек мы соорудили скелет. Днем, на свету, он терялся среди камушков и куриного помета, а в ночи грозно светил под тетиным окошком.

Тетка в одной рубахе колотила в наши двери:

— Ради всех Христовых мук, идите поглядите!

У Каи оказался несомненный художественный талант, и светящийся скелет был совсем как настоящий. Как видите, и после похода на Святую гору святости у нас не прибавилось.

Самое прекрасное — путешествия к Влтаве. По карте дорога получалась совсем короткой, но мы и предположить не могли, что каждый километр идет то в гору, то под гору, да еще приходится скользить по хвое, как по льду, а злые колючки цепляются за ноги. Мы вышли на заре, чтобы успеть искупаться. Впереди, прокладывая путь, шагали мужчины с коляской и провизией, за ними мы с Каей и Богоушеком. Шествие завершали наши мамы с сумками.

Мы хотели дойти до Святоянских прудов, уже обреченных и потому вдвойне дорогих сердцу. Но, увидав Влтаву, мы никуда не пошли и застряли на песчаном пляже.

Здесь Влтава разливается не так широко, как в Праге, с обеих сторон на нее наступают покрытые лесом крутые берега, зато она чище и прохладнее. Мы, позабыв про свою Коцабу, бросились в воду.

Мама, не переносившая солнца, устроилась в тени. Мы обрадовались: теперь никто не помешает нашим проказам. Папы купались вместе с нами. Тетя Тонча и пани Маня, наплававшись вволю, вылезли на берег.

Подружки захватили с собой «вязанье» — то есть сразу погрузились в карточную игру. Мама, никогда не утруждавшая себя изучением законов природы, и на сей раз не учла вращения земли вокруг солнца. Тень от деревьев становилась все короче, и солнечные лучи все выше и выше ползли по ее не знавшим загара ногам. Однако в азарте игры она ничего не заметила — ей шла карта. Пополудни мы с неохотой стали собираться домой — нам предстояло добрых три часа пути. Но — о ужас! — мамины ноги покраснели: нечего и думать надеть туфли.

Наши папы не смогли натянуть рубашки на свои обожженные плечи и рюкзаки с провизией тащили в руках — к счастью, они значительно полегчали. Каждый болезненно вздрагивал, если веточка касалась спины. Мушиная лапка на обгоревшей коже казалась тяжелее гири.

Только Павлик улыбался в своем экипаже: его радовали дорожные происшествия, которые нас, измученных водой и солнцем, вконец измотали. Мама шла, словно по раскаленным углям, со всех склонов съезжала сидя, а съехав, долго отряхивала хвою. Во время одного из таких спусков ее ужалила оса, и мама на чем свет стоит кляла всех ос и шмелей на свете, размахивала руками, пока не разозлила их до остервенения. Разъяренные осы напали на нас, но нанесенный нам ущерб был не так уж велик. Хуже всего дело обстояло с дядей Йозефом: оса цапнула его за губу, его и без того неказистое лицо стало страшным — до того оно распухло. Наша заметно пострадавшая экспедиция выглядела столь комично, что мы с мальчишками боялись взглянуть друг на друга, чтоб не расхохотаться. Родители бросали свирепые взгляды, нас разбирал смех, мы досмеялись до того, что Кая не выдержал и обмочил трусы. Я великодушно предложила ему свою юбку и шла в одном купальнике. Мы отстали, чтобы не попасть под чью-нибудь горячую руку. Но стоило нам увидать перекошенное лицо дяди Йозефа или мамины ноги, как нас одолевал неудержимый хохот.

Больше всего я любила в Книне вечера. Мы сидели в нашем райском саду долго, до самой темноты, беседовали и пели. Лучше всего нам пелось, когда приезжала Иржа. Ее серебряный голосок летел прямо к звездам, лился свободно, сам собой. Так поют птицы, так журчит вода. Мне грезилась весна — под лучами солнца звенят сосульки и в ничем не замутненные ручейки падают прозрачные капли.

— Иржа, «Русалку», «Месяц на небе высоком», ну, Иржа!

Она запела, и выглянула луна: застенчивая и розовая, приблизилась к девушке, но так и не узнала ее. Русалки бледны и печальны, а в нашей Ирже текла горячая кровь, и никакой принц не смог бы расстаться с ней даже на минуту. Их любовь была бы счастливой.

— «Жаворонка», Иржа!

— Нет, Павел, нет, не вытяну...

— Ну возьми ниже, Иржинка!

— Нет, ниже нельзя, не годится.

— Иржа, Иржиночка!

Ее уговорили. Высоко-высоко во тьму взлетел жаворонок. Зазвенела радость, затрепетали его крылышки, солнцу наверняка не терпелось взойти, а луне пришлось светить еще ярче, чтобы заменить солнце.

Этот звонкий голосок, свежий, как роса, принес счастье в наш маленький, маленький мир; нам казалось, будто какое-то дивное облако закрыло от нас все беды и все зло окружающего мира.

Пани Анка притащила к нам Иржу силком: она за руку волокла ее по дороге, что идет спиралью от Граштице, и энергично усадила на лавку перед домом.

— Здесь ты будешь сидеть и с места не сдвинешься! Представьте — влюбилась! Вы только поглядите на нее!

Иржа была прелестна. Перед тем как усесться на лавку, она приподняла юбочку, чтобы не измять, — ее веселые глаза бархатно и нежно блестели. Весна в полном разгаре да и только!

— Пускай ищет! Здесь он ее не найдет! — гневно кричала пани Анка.— А девчонка тем временем опомнится! До чего дошел — колечко ей подарил! Видал кто-нибудь такое? Девчонка только-только школу окончила!

В отличие от моей мамы пани Анка Иржин возраст убавляла.

Так продолжалось то ли день, то ли два, потом тетка Велебилка, зыркнув на Иржу, кивком головы указала на террасу, там уронила к ее ногам записочку, а сама потащила пани Анку за угол в сад — вроде бы похвалиться грушами и выслушать ее совет, стоит их консервировать или нет.

Осыпался переспелый дикий крыжовник, все слаще становились прикосновения рук через забор и поцелуи над пропастью.

Мы дружно предали пани Анку, а рассудительная тетка Велебилка первая. Она старая и лучше нас знала, что лишь безрассудства скрашивают жизнь и хранятся в памяти живою красотой до самой смерти.

Мы все на стороне романтической любви. Пусть пани Анка едет домой, пусть считает, что уберегла дочку от опасности, что сохранит ее лишь для одной себя. Но как долго может прижимать кошка птенчика лапкой к земле?

Птенчик себе на уме. Зачем напрасно ссориться, напрасно ломать крылышки, он сидит тихонько, набирается сил, усыпляет бдительность и вдруг вспорхнет и умчится! Только и видели!

Иржа вышла замуж и уехала с исторической улицы, пани Анке оставалось лишь смириться.

А наша тетя Велебилка сумела наглядно доказать, что от безрассудства не застрахована даже старость. Быть может, попав в наше общество во время каникул, она поняла, что одиночество стало ей невыносимо, еще невыносимей, чем прежде, а может быть, просто случай свел ее с троюродной племянницей. Зимой она написала нам, что решила ставить вместе с родственниками новый дом, а для нас подыскала квартиру в другом месте.

— Добром это не кончится,— вздохнула мама,— бог знает, что за люди эти ее родственники.

Как было принято в те времена, строитель составил смету, расходы предвиделись небольшие, но, когда стали строить, они с каждым днем все разрастались. Оказалось, родичи не имели ничего, кроме доброй воли приложить к делу руки и заполучить собственный дом. Но охота к работе увядала по мере того, как росли затраты.

В конце концов тетя осталась опять одна в отличном новом доме, но вместо наличных денег в банке у нее теперь был долг в сорок пять тысяч.

Мама ахнула и всплеснула руками, а тетя усмехнулась.

— Вы мне не поверите, сударыня, но до чего я теперь крепко сплю! Раньше, бывало, ночью от страха дрожу, что кто-нибудь позарится на мои денежки и придушит меня, а теперь по крайней мере хоть сплю спокойно. Долги никто не украдет.

— Но, тетушка, все это прекрасно, только как же вы их отдавать будете?

— Ах, сударыня, сама не знаю. Либо я апотеку уморю, либо она меня уморит, поживем — увидим. На похороны кое-что останется. Сосед говорит, что даст мне за дом сто тысяч.

— Ну и продавайте поскорее! Отдадите долг, а себе купите что-нибудь поскромнее.

— Продать соседу? Да я лучше дом своими руками подожгу!

Нам простор тетиного жилья был на руку, мы могли там поселиться всей семьей. Да только тете приходилось

теперь поденничать, она не пряталась от соседа, а сама просила у него работы.

По субботам тетя уже не доставала из шкафа жакет из дорогой ткани и тяжелый шелковый платок цвета топленых сливок, не спешила чистенькая и розовенькая в кассу, чтоб снять со счета сотню и обратить ее в конфеты и кофе, куда она непременно добавляла крупинку соли.

Она больше не придумывала для нас развлечений, приходила затемно, пропыленная и измученная, и, если мы не предлагали ей ужинать с нами, жевала пустой хлеб.

И ее перебранка с соседом утратила всю свою смачность, тетя притихла: она теперь не нападала, а лишь отступала, слабо обороняясь.

— Ну как, соседка, обдумали? Даю сто тысяч чистоганом.

— Дайте восемьдесят и отпишите мне до смерти одну комнату.

— Как бы не так! Кто станет покупать дом вместе со старой ведьмой? Сто тысяч, да еще отвезу вас куда подальше.

— Восемьдесят и горничку!

Сосед хлопал дверьми.

Он ждал несколько лет: знал, что дом сам упадет ему в руки, да и тетка знала. Работай она хоть до упаду, все равно ей не заплатить даже процентов. Долг все рос и рос.

В детской, наивной ненависти к соседу она продала свой дом ниже его стоимости другому, и, когда расплатилась с долгами, у нее не осталось почти ничего.

— Ну и утерла же я ему нос, сударыня, а? Что вы на это скажете!— говорила она маме с гордостью.— У меня своего только одни глаза остались, чтобы поплакать. Теперь и замуж можно.

— К чему это вам, тетя?

— Да нет, меня уже сговорили, он дальний, вдовец. Дочь за ним не ходит, вот он и надумал жениться. На год меня помоложе, ему только семьдесят один, как вы думаете, сударыня, ничего?

— Ах, тетя!

Мама, не удержавшись, прыснула со смеху, но тут же взяла себя в руки.

— Ну и удивили вы меня! Пошутили, да?

Тетя покачала головой.

— Коли б не одиночество...— вздохнула она, и мор-

щинки вокруг ее глаз увлажнились,— ах, если бы, говорю, не одиночество! Я бы и могилки с собой взяла...

Не прошло года, как мы ее навестили. Явились неожиданно — нам пришло в голову приехать поискать что-нибудь на лето. Открыла молодая женщина и вместо ответа раздраженно хлопнула перед нашим носом дверьми.

Через минуту вышла старуха. Неопрятная, с гноящимися глазами и обметанным болячками ртом, она смотрела на нас мертвыми глазами. Долго оставался занавес опущенным на ее лице, но вдруг в глазах блеснула искорка и хлынули слезы.

— Ах, сударыня,— тихо сказала она,— ради всех Христовых мук!

Она даже не позвала нас в дом, чтобы не было скандала. Но ее муж пригласил нас в трактир и угощал чем только мог.

— Дочка-то бесится, что я оженился, да еще потому, что полполя себе оставил, сами понимаете — ей хоть все отдай, все равно доброго слова не дождешься, лучше уж с протянутой рукой ходить. Сама-то мне и не настряпает, и не обстирает, ничего делать не хотела, а женился, так она злится.

Тетя молчала, машинально размачивала рогалик в трактирном жидком кофе и лишь иногда кивала головой.

Они дали нам с собой две корзинки клубники — первые ягоды, самые крупные, отборные. Солнце грело, ветер разносил сладкий аромат, вокруг тянулись целые плантации клубники.

Я ела ягоду за ягодой, а у меня в ушах все раздавался один-единственный тяжелый, извиняющийся вздох:

— Ах, сударыня!

Эта чужая, печальная, убитая горем женщина ничем не напоминала мне нашу тетю. Мертвая, угасшая. Ее кончина следующей весной нас уже не тронула, мы удивлялись, как это не случилось раньше. Тетю погубила клубника: во время весенних заморозков она закрывала ее своей одеждой, даже платок сняла с головы, и схватила воспаление легких. Мы потеряли свой райский сад, когда ее не стало, и никогда более туда не возвращались. Мы выросли, и куча песку, скачки на бричке без коней уже не увлекали нас, так же как и жучки, бабочки, тайные налеты на шарики снежноягодника и зеленые яблоки, поедаемые без счета. Нам больше не нужен был райский сад.

КОГДА ГОСПОДА БОГА НЕТУ ДОМА

Зимой почтальон принес официальную бумагу. У нас на дверях висел почтовый ящик, но письма мы получали редко, разве что несколько открыток к рождеству, весточку от пани Тврдой. И вдруг официальная бандероль. Повестка, требующая подписи, адресованная папе. Мама целый день крутилась вокруг рокового конверта, но распечатать не решилась. Он воцарился в буфете за стеклом и притягивал наши взоры.

Папа нахмурился. Его приглашали явиться в присутствие как двадцатидвухпроцентного инвалида, и это его оскорбило сверх меры. Он считал себя человеком здоровым и сумел убедить в этом всех окружающих. Никогда ни на что не жаловался, а на ногу тем более.

— Аккурат двадцать два процента! — ворчал он.— Хотелось бы знать, как это они высчитали. Двадцать два процента! Делать им нечего, вот и роются в старых делах.

Но выбросить повестку не осмелился. Отпросился с работы, переоделся в выходной костюм и отправился в присутствие, заранее настроившись агрессивно. Чиновник в сатиновых нарукавниках еще подлил масла в огонь: с важным видом посмотрев повестку, он послал папу выше по начальству.

— Нам стало известно, что вы инвалид войны.

— А мне это известно уже давным-давно, больше десяти лет!

— Вы получаете пособие по инвалидности?

— Нет, не получаю!

— Почему не получаете?

Папа неприязненно посмотрел на сатиновые нарукавники за столом.

—А как я, скажите на милость, могу его получать? Мне никто не дает, вот я ничего и не получаю!

— Но вы имеете законное право получать пособие по инвалидности!

Отец только плечами пожал.

— Вы никогда о пособии не хлопотали?

— А зачем мне хлопотать?

— Поймите, вы отвечаете всем условиям, говорю я вам.

— Ага.

— Вы должны были хлопотать! Понимаете? Вы просто обязаны получать пособие по инвалидности!

— А почему это?

— Потому что вы инвалид войны, легионер и имеете на пособие полное право.

— Возможно,— сдался папа.

Чиновник уставился на пол, где остались мокрые кружочки от наконечника папиной палки, но ничего не сказал.

Этот богатырь с нахмуренными бровями и спокойным взглядом, а главное, с палкой в руке, видимо, его напугал. В какую картотеку заносить типа, который не просит того, на что имеет право?

— Вы работаете?

— Да, на железной дороге. Мастером в мастерских.

Буржуазная республика обожала титулы и звания: «мастер в мастерских» рангом выше простого рабочего на стройке.

— А последствия ранения мешают вам работать?

— Вовсе нет. Я ни на что не жалуюсь.

— Но ведь вам наверняка тяжело,— в отчаянии не сдавался чиновник,— ведь вы работаете стоя! Так?

— Конечно, не сидя,— съязвил папа,— у меня там и стула-то нет.

— Подпишите вот здесь,— строго приказал чиновник.

— А это еще зачем?

— Затем, что, если вам положено пособие по инвалидности, вы должны получать пособие по инвалидности!

— Значит, никуда не денешься?— вздохнул папа и подписался. Буковки у него были острые, колючие.

— Послушайте, да у вас такой вид, будто я вас обобрал, а я вам, между прочим, деньги даю!

— Вы? Мне! Да ведь мы даже не знакомы.

— Не я, а государство! Республика! И вы пособие получать будете! И то, что недополучили, тоже получите! Закон имеет обратную силу! Можете идти! Ступайте.

— Вот и прекрасно, я и сам уже собирался уйти,— усмехнулся папа, глядя на рассвирепевшего, багрового от гнева чиновника, который то нервно хватал бумагу, то мусолил карандаш.— Прощайте!

Слова «обратная сила» мои родители не вполне понимали, об этом у нас много говорилось, поэтому они и засели в моей памяти. Неприветливый прием добросовест-

ного чиновника ничего доброго не сулил, и вообще от присутственных мест хорошего не жди.

— Что за «обратная сила» такая?— беспокоилась мама.

— Ну что ты маешься, скажи на милость,— ворчал папа,— «обратная сила»— это и есть «обратная сила», и все тут!

Но вскоре дело выяснилось.

— Муж дома? Я ему перевод принес.

— Нет, на работе. Но вы можете оставить деньги.

—Могу? Ишь нашлась умница, да разве я доверю вам этакую уймищу денег? Больше двадцати тысяч! А вы говорите оставить!

Мама так и охнула. Быстро окинув взглядом лестницу, пригласила:

— Заходите! Я вам сейчас кофе приготовлю!

Почтальон, видимо, колебался, но ему не хотелось тащить деньги обратно, кроме того, мы каждый год покупали у него почтовый календарь с анекдотами, который я прочитывала от корки до корки. Он выпил кофе и выдал деньги.

Мама защелкнула за ним замок на два оборота, набросила цепочку, опустила занавески и со слезами рухнула на стул.

Денег на вид было немного: всю сумму выдали в пятитысячных купюрах. До этого времени в наш дом не залетала даже тысячекроновая бумажка. Мама вертела в руках совершенно незнакомые ей кредитки, и в голове ее мелькали черные мысли —не фальшивые ли они, а если настоящие, то кто же их разменяет. Не может же она, в самом-то деле, расплатиться в мелочной лавчонке пятитысячной купюрой за четверть фунта масла или в мясной за три четверти фунта грудинки на суп? И куда спрятать деньги? В буфет среди посуды? В шкаф, под белье? В постель, под матрац? Положить на книжку? Нет, книжку вору утащить еще проще.

Вид у мамы был такой измученный, что отец даже перепугался.

— Что тут у вас опять стряслось?

— Та самая «обратая сила». Что будем делать?

— Раз она обратная, ее можно и отдать обратно.

— Отдать? Ты что, спятил? Вернуть столько денег?

Отца сумма не ошеломила. А может, он притворился. Мама успокоилась и принялась распределять капиталы.

— Давай хоть раз в жизни устроим себе богатое рождество,— предложила мама, и папа не стал возражать, а разрешил делать все, как она пожелает. Скорее всего, он просто-напросто не представлял себе, что такое «богатое рождество».

— Сразу же начнем покупать подарки! Бабушке пальто, ты видал, в чем она ходит? Впрочем, разве ты что-нибудь видишь?

— Возьми да купи или дай денег, пусть сама покупает!

— И деду что-нибудь посолидней, а не пачку табаку...

— О боже,— ворчал папа,— ведь ему ничего не нужно. А что, если трубку?

— И Гонзе. Не может же он вечно носить твои обноски. Такой большой парень.

Отец только плечами пожимал. Он не делил родственников на своих и на маминых, знал и любил мамину родню еще с довоенных времен, хотя его скептический взгляд на вещи никак не гармонировал с их фанатичной верой.

— Ты лучше сходи с ним сам, разве я разбираюсь в мужских вещах?

— Ладно,— неохотно согласился папа.

Отец понял — деньги принесут ему одни только хлопоты.

Гонза основательно вытянулся, но остался таким же тощим. Определить его в ученье оказалось не просто: его табель отметками отнюдь не блистал, а платить за учебу тете было нечем. И Гонзу пристроили учеником на Белькредской в скобяной лавке. Приказчик оказался человеком приличным, не отвешивал Гонзе подзатыльников, не кричал, но и не принимал в расчет его физических возможностей.

В те годы ходил анекдот о некоем чувствительном господине, который помогает мальчишке-подмастерью толкать в гору тяжело нагруженную тележку и спрашивает, как же так, почему приказчик заставляет его таскать такие тяжести, на что ученик отвечает: «Пан приказчик говорит, что всегда найдется осел, который мне поможет».

Эта острота не отвечала действительности. Гонза грузил и таскал тяжелые металлические печки, пакеты с гвоздями, ящики с инструментами, мотки проволоки. Но никогда не объявился ни один осел, который бы ему помог.

Самое большее — пожмут плечами и обронят «ученик-мученик».

Тетя плакала, но мой папа резко обрывал ее:

— А ты как думала? Что его поставят к прилавку кастрюли продавать? По крайней мере настоящим мужчиной вырастет, ведь он не дохлятина какая-нибудь!

Но я к тому времени научилась различать папины интонации — он, конечно, жалел тощего мальчишку. Сделать для него он ничего не мог, разве что подбодрить иногда. Папа поворчал, поворчал, но пошел покупать парню пальто. Перешитая папина шинель слишком тяжела для мальчишечьих плеч.

Гонзе купили в магазине готового платья зимнее пальто, но тем уродливей выглядывал из-под него ветхий костюмчик. Купили и костюм, но из-под пиджака виднелась застиранная рубашка.

Зашли в бельевой магазин. Гонза там же переоделся и повязал новый галстук.

— Ну, дружище, а как же быть с твоими чоботами!

— Нет, дядя, ботинки мне не покупайте! Не надо, я не хочу!

— Почему не хочешь?

— Мерить придется...

— Померишь, что ж тут такого?

— Нет, нет, я не могу...

— Да почему же?

— Не могу, и все тут!

— Тогда купим без примерки, полуметровые,— засмеялся папа.

Тетя Бета как-то созналась нам в своих очередных завихрениях. Она хотела сделать Гонзе сюрприз, и, когда продавщица спросила размер ноги, тетя воскликнула: «Наверное, полметра!»

— У меня носки дырявые,— буркнул Гонза.

Помогли горю — купили носки, Гонза натянул их прямо в пассаже, и только тогда отправились в магазин «Батя» за башмаками.

Так было у нас со всем, куда не сунься. Каждому крестьянину известно: для урожая нужно, чтоб надолго зарядил мелкий дождик — сильный ливень не пробьет высохшей земли. А наша земля, куда ни глянь, иссохла, истощилась за долгие годы. Целые поколения обнищали.

Хуже всего обстояло дело с тетей Марженкой, она жи-

ла беззаботно, как воробышек. Вечно шутила, распевала песенки, но никогда не знала, из чего завтра сварит похлебку.

Зимой она обшивала всю семью. Соседки выплачивали ей по кроне, иногда совали миску яблок, мешок картошки или кочан капусты с огорода. Осенью тетя Марженка собирала на полях сахарную свеклу и варила патоку. Ее ели с хлебом, с ней же пили чай.

Для меня посещение Сухдола всегда было праздником. Мы шли пешком через Стромовку и через Седлец, потому что мама не могла с коляской преодолеть подбабскую лестницу, а влезть в трамвай или автобус не осмеливалась.

Квартира у тети нарядная, чистенькая, приветливая. Белая мебель, в комнате и в кухне — яркие занавесочки. На стенах картинки, на столе всегда цветы: весной — одуванчики, летом— ромашки, зимой — хвоя или вереск.

Но жили здесь без удобств, летом дядя таскал воду издалека, зимой ветер продувал домишко насквозь, словно он был бумажный. Стены в комнате покрывала блестящая изморозь, изо рта валил пар, по утрам даже волосы смерзались. Топили только маленькую печурку в кухне. Иногда дядя привозил от нас на санках «пайковый» уголь, и то когда стемнеет. Утром вода в умывальнике промерзала до дна.

У коммунистов тоже есть свои предубеждения, дядя ратовал за женское равноправие, но ему было неприятно, что его кормит жена — маленькая женщина, которая проходила под его поднятой рукой, не наклоняясь.

Он делал все, что мог. В четыре утра плелся голодный и озябший в Прагу, в контору по найму. Иногда что-нибудь удавалось найти, но в большинстве случаев возвращался ни с чем. Он ждал снегопада, но, когда снегу наконец наваливало по колено, подрядиться на уборку не мог — не было башмаков. Получался заколдованный круг. Если удавалось сэкономить на транспорте, то все планы разбивало отсутствие обуви — ведь босиком не пойдешь на работу, а без работы не купишь башмаков. Летом он подрабатывал у дяди Вашека. Но, отдав зимние долги, снова сидел без гроша.

Дядя мыл посуду, приглядывал за похлебкой и, видя, как его маленькая жена за несколько крон корпит над шитьем, задыхался от злости. Он частенько взрывался,

они ссорились, но у тети в запасе всегда находился спасительный анекдот — она умела все обратить в шутку.

После долгих лет супружества у них родился сын, тете уже было за тридцать, но выглядела она школьницей, и бабки вслед злословили: «Не успеют школу кончить, как уже... ну, и молодежь нынче пошла!»

Настало время тете родить, денег ни гроша, и они отправились из Сухдола на Штваницу, в бесплатную больницу. Врач осмотрел и рассудил, что явились они преждевременно.

— Приходите завтра.

Поплелись обратно. На Летной тетя почувствовала усталость, и они зашли к дяде Пепику выпить кофе, передохнуть.

— Куда ты потащишься в темноте по этой страшной лестнице?— сказал дядя Пепик.— Оставайся-ка лучше у нас, как-нибудь разместимся.

Большая Маржка устроила маленькую Маржку поудобнее. Если в одной комнате на двух кроватях умещаются четыре человека, то втиснутся и шесть.

Тетя Маржка-большая обладала острым язычком, обо всем имела свое суждение, но душа у нее была золотая. Кроме Лидунки, у них жила еще и племянница. Лидунка с Божкой легли на одну кровать, тетя Марженка на вторую, а на трех взрослых пришлась одна раскладушка. Поначалу долго торговались — каждый уступал это ложе другому, а потом, оставив раскладушку без внимания, расположились на стульях. Спать пришлось недолго. Ребенок появился на свет той же ночью, и через раскладушку, расставь они ее, бабка-повитуха все равно не смогла бы подойти к тете Марженке.

Я очень любила тетю Марженку и восторгалась ее младенцем с такой страстью, что сама себя не узнавала.

Впервые в жизни перед уроками я, улыбаясь во весь рот, подскочила к нашей пани учительнице и сообщила, что у нас родился мальчик.

Эта столь необычная для меня реплика произвела странное впечатление. Пани учительница на минуту утратила дар речи и перестала следить за выражением своего лица. На нем, скорее всего, отразился ужас, и я с некоторым опозданием поняла, что вышла за рамки приличия. С каким удовольствием я взяла бы свои слова обратно!

— Передай молодой мамаше, что я желаю ей и ее маль-

чику большого счастья,— сказала пани учительница. Я почувствовала холодную вежливость этой формальной любезности и, пристыженная, опустилась на место.

Тете я, конечно, не передала этого банального пожелания. Что общего у пани учительницы с нашей семьей?

— Надо как-то помочь Маржке,— рассуждала мама теперь, когда у нас появились деньги.

— Я же тебе сказал, делай что хочешь!

— Но деньги-то твои!

Папа махнул рукой. Потерянных на войне и в плену семь лет и изуродованную ногу не оплатить никакими деньгами. Он никогда об этом не говорил вслух и не разрешал говорить никому — он слишком хорошо знал, что война перевернула всю его жизнь. Его упорное желание остаться рабочим проистекало из убеждения, что актером он стать не может. Театр был его самой большой любовью, его болью, и папа напрасно пытался излечить ее страстью к шахматам.

Не могу ничего сказать насчет артистического таланта отца. Взрослой я его на сцене не видела — к тому времени он стал режиссером любительского театра.

Мама ни за что не соглашалась ходить в театр. Отец отбил у нее охоту к театру раз и навсегда. Из актеров она признавала только Вояна, а того уже не было в живых.

— Воян! Вот это был Францек! А нынешние?! Разве нынче кто-нибудь сыграет Францека? Разве нынче есть актеры?

Но однажды, в тихую свою минутку, мама призналась, что Вояна видела всего лишь раз, да и то со второго яруса.

— И еще сбоку. Билеты покупала Маржка. Ну ладно бы на верхотуре, а тут еще сбоку. Я ей говорю: ты, милок, и так от горшка два вершка, поднимут занавес, так ты вообще ничегошеньки не разглядишь! И верно — мы только ботинки у актеров видели, вот и все.

— Значит, ты своего Вояна так и не разглядела?

— Не разглядела! Не видала?! Его и видеть не надо. Он как закричит: «Вавра, ко мне!» Боже ж ты мой, ты бы слышала, как он кричит! Всю свою жизнь вложил в этот крик. Господи боже мой, как вспомню «ко мне, Вавра, ко мне!». Да разве нынче кто-нибудь так сыграет?!

На игру отца она смотреть не ходила. Никто так и не

смог ее уговорить. Истинной причины я никогда не узнала. Никогда. Может быть, мама и сама себе не могла объяснить тайную причину своего упорного отказа.

— Да я их всех знаю как облупленных, стану еще смотреть, как они ломаются да кривляются?! Пусть переодеваются да наряжаются, все равно из костюмов мозолистые лапы торчат.

Скорее всего, она не могла смотреть, как папа, прихрамывая, движется по сцене. Слишком глубоко это ее ранило, смех публики она восприняла бы как насмешку. А может быть, не хотела в ярком свете юпитеров видеть, как сильно изменился ее веселый Пьеро.

Публика была своя, и все настолько привыкли к папиной хромоте, что ее просто не замечали. К тому же он выбирал такие роли, где этот недостаток сглаживался. Кстати, а почему первый любовник не может быть хромым? Разве хромые не любят?

Папа готов был сделать для театра больше, чем для нас. Невозможно подсчитать, сколько часов он провел за чтением пьес, за подготовкой к репетициям и просто работая для театра рабочим. Он все умел, во всем разбирался: и в освещении, и в декорациях — и знал, как обходиться с занавесом. А сколько вещей он перетаскал из дому! Полотенца, простыни, посуду — многого мама так больше никогда и не увидела. Папа где-то раздобыл тачку и отвез в театр кое-что из нашей одежды, постель, шкаф. Однажды мама нашла всю нашу посуду в кухне на полу, ибо наш старый буфет, видимо, возмечтал о театральной славе.

В таких случаях мама теряла чувство юмора, театр становился объектом ссор, ежедневной перебранки и мучительных скандалов.

— Ты куда это собрался?— начинала мама.— Опять в свою «Домовину»?

— Угу,— бросал папа, одеваясь.

— Не можешь хоть один вечер провести дома с нами?

— Пойдем со мной.

— Вот еще! Только этого не хватало! Что я там буду делать?

— Что, что... Посидишь, посмотришь...

— Было бы на кого!..

Она ни разу не пошла с папой, папа ни разу не остался дома, все схватки оканчивались вничью, никто не усту-

пал. Мама шла в атаку, отец большей частью отмалчивался, одевался и уходил.

Среди любителей, как и в профессиональном театре, махровым цветом цветут интриги, актеров оскорбляет любая критика, они считают себя непризнанными гениями, жаждут блеснуть в заглавной роли, но, не желая затевать публичного скандала, довольствуются сплетнями и анонимками.

— Надрываешься на них — вот и получай,— торжествовала мама, преподнося отцу к обеду подобное язвительное произведение без подписи автора,— если кто хочет быть ослом, отдавать им все свое время да еще таскать тачку, тот пускай ослом и будет. Если б я тебя попросила шкаф привезти, ого! А полотенца — штук пять, не меньше, в твоем балагане пропало, вот и получай за все! Если бы ты за деньги вкалывал, а не надрывался задарма, то птичье молоко пил бы, а не картошку трескал!

Папа равнодушно прочитывал письмо, выслушивал маму, ел свой суп, а закончив обед, поднимался и спокойно бросал очередной пасквиль в печку. Мама не верила анонимкам, ее возмущали грязь и человеческая злоба. Она просто из себя выходила. Столько отец отдает людям, а те не желают его ценить. Папа соглашался, но вечером снова надевал пальто и уходил. «Ему хоть трава не расти»,— раздражалась мама.

Однажды я встретила папу, когда он волок на тележке какую-то мебель, и помогла ему:

— А ведь правда, папа, мог бы и кто-нибудь другой тяжести перевозить?

Отец остановился. Закурил, выпустил дым, отер потный лоб и медленно проговорил:

— Если ты считаешь, что какое-то дело должно быть сделано, никогда не жди ни славы, ни денег. Одно из двух: либо делай, либо не делай, третьего быть не может.

Я уже подросла и понимала, что такой взгляд вряд ли годен для нашего волчьего мира и отец ничего не добьется. Но я поняла также, что иначе жить он не может, что тяжесть разочарования его раздавит.

Я смотрела ему вслед: он, хромая, тащился по мостовой, и мне казалось, будто я вечно стою здесь и смотрю, что все это уже было много-много раз. Я бежала в аптеку, чтоб купить двести граммов ваты, два пакета марли и бинты для брата-калеки и много раз встречала отца с те-

лежкой и думала, что и его путь, и мой — оба наши пути бессмысленны.

Какая тщета, какая все это тщета! Вот я волоку в поте лица реквизит на одно-единственное представление для горсточки зрителей, которые придут лишь для того, чтоб посмотреть на игру своих знакомых, развлечься и отдохнуть, немного встряхнуться на любительском представлении, хотя под боком есть кинотеатр.

Ноги мои подкосились, и я привалилась к грубой штукатурке барака.

С самого раннего детства у меня случались моменты странного прозрения — я вдруг видела своих близких или самое себя в некой скульптурной неподвижности. Время на какую-то долю секунды останавливалось и обнажало всю бессмысленность наших слов, наших жестов. На кого кричит мама, куда спешу я, что я делаю и зачем? Зачем? Какой смысл, какой смысл вот в этой собачке, которую брат рисует левой рукой, для чего здесь висит синяя шапка железнодорожника с крылатыми колесами? Ах, до чего же глупо булькает кипящая вода на плите! Зачем все это, зачем? Меня охватывает сомнение, берет за горло, вырывает из моего тела позвоночник, кости и нервы, оставляя немного дрожащей плоти, и нет у меня рта, чтобы крикнуть. Зачем? Зачем? Зачем?

Обычно моя слабость быстро проходит, я преодолеваю мертвую точку, прихожу в себя, возвращаюсь в детство, где все важно только на один день.

Часть своего времени отец тратил и на меня. Времени и денег. Из «обратной силы» на второй же день он купил мне два толстых тома «Истории земли Чешской».

Мне велели вымыть руки, постелить на стол газету и лишь после этого доверили книги. Мы читали оба взахлеб. По-моему, отец приобрел их равно и для себя — ведь любил же он декламировать стихи из книжек, которые покупал мне. Что касается «Истории», то здесь мы быстро сговорились: меня больше привлекал первый том — в нем было больше романтических описаний, отец отдавал предпочтение второму.

Рождество началось со сказочно богатых подарков. В день святого Микулаша родители не удержались и накупили нам книг о животных. Я включила Гайса-Тынецкого в число любимых своих авторов, а братик полюбил его еще сильнее, чем я. Он приоткрыл нам не только многочис-

ленные тайны природы, но и заразил сомнительной своей философией. Очеловечивание животных стало нам мешать в обычной жизни. Мы теперь боялись, что любое наше прикосновение может оказаться пагубным для какого-нибудь мира, меньшего, чем даже наш.

Деньги, спрятанные мамой, требовали «чего-нибудь в дом». Первоначально речь шла об этажерке, но потом мама развернулась на целую спальню. Ведь я выросла из своей кроватки. Соскоблив темную краску со спинки, я совсем освободила ангелочка.

Старая кровать родителей тяжело чернела в углу, под нарисованными розами. Старый шкаф раскрывался с душераздирающим скрипом. А страшный черный сундук с бельем! Папа перекрасил его в зеленый цвет, но что толку.

Я исследовала и ощупывала новую спальню из твердого дерева, я ощупывала ее, но мебель казалась мне ничуть не прочнее старой.

— Подожди, вот ударишься об нее головой, тогда узнаешь, прочная или нет,—утешал папа.

Мебель была шоколадного цвета, украшенная резьбой: корзинки, из которых сыплются цветы. На каждом шкафу — корзинка, в изголовье кровати — корзинки. Нам она очень понравилась.

Самый большой восторг вызвал у меня туалетный столик. Я немедленно вызвалась вытирать с него каждый день пыль, это давало мне возможность безнаказанно играть с зеркалом — большим, блестящим, овальным. Мама украсила его стеклянными бусами — памятью о дяде-скульпторе. Еще от него осталась на память маленькая вазочка цвета охры — совсем не такая, как в магазине. Округлая, милая вазочка хранила тепло руки давно умершего человека. Мы всегда ставили в нее несколько веточек вереска. Я вытирала ее особенно осторожно. Чем ближе подходило лето, тем более хрупкими становились сухие веточки, лиловые цветы осыпались. Еще на подзеркальнике стояла узкая высокая фарфоровая ваза, но ее мне все-таки удалось разбить. И фигурка обезьянки, та самая, которая подружила меня с братом. Косметики у мамы не было никакой. Духов и одеколона она не выносила. Никогда не причесывалась перед большим зеркалом, а может быть, даже и не гляделась в него — берегла.

У кроватей были металлические сетки, а на них матрацы, набитые морской травой.

— А разве в море трава растет?

— Водоросли!

— Я на них не стал бы спать,— заметил Павлик,— на водорослях-то, бррр.

Возле кроватей стояли ночные столики, на них лампочки с металлическими колпачками в виде цветочного венчика. Однажды на столик вскочила наша кошка Минда, свет падал на ее шубку, над самой головой висел стеклянный колокольчик, меня эта картина до того поразила, что я написала на пакете из-под муки стихотворение. Правда, кошка Минда превратилась в кота для рифмы «коточек-цветочек», но это вполне простительная поэтическая вольность...

Эти лампочки однажды здорово меня перепугали — они зажигались при помощи выключателя на шнуре. Мне захотелось посмотреть, что там у выключателя внутри, стала его разбирать, как вдруг меня что-то страшно ударило. Это было совсем как в сказке —«высоко сижу, далеко гляжу». Меня согнуло в три погибели, и я насмерть испугалась: такая крохотная штука, а как бьет!

— Ну и дурында же ты,— учил меня позже папа,— ведь если бы ты не стояла на полу, могло и убить!

Мама, окинув новую спальню взглядом знатока, заявила:

— Как бы не так! На такие прекрасные матрацы латаные простыни? И подушка ни к черту! Нужно купить батистовое покрывало, а к покрывалу портьеры. А на рождество я куплю оригинал и повесим в головах!

«Оригинал»— мамина давнишняя мечта. Во время прогулок мы подолгу стояли в пассаже перед витриной магазина, где продавали картины. Они давно висели здесь, в этой витрине, мне даже казалось иногда, что они в какой-то мере мне принадлежат. Мне особенно приглянулся мальчик, который, не стыдясь, добавляет в озеро и свою малую толику влаги. Такие сцены были в нескольких вариантах.

Ну а маме нравились цветы. Она выбрала печальные розы. Темно-красные на сером фоне. Отцветшие лепестки устилают серую скатерть, пышный букет дышит грустью увядания.

«Оригинал» в овальной раме я невзлюбила. С годами он стал еще печальней.

Как видите, деньги так и летели.

Папа заказал себе новый выходной костюм — это был второй костюм после войны, кроме форменного. Мама купила мяконькое суконное пальто с меховым воротничком. На лето мех отпарывала, на зиму пришивала.

И еще сшила платье в салоне, который открыли на Роганской улице. Салон, правда, не пражский, а лишь голешовицкий, но тем не менее там не по-божески драли. Мама рассказывала до самой смерти о том, как шила в салоне платье.

По тогдашним вкусам мама была чересчур худа, и тетя кроила ей свободные, широкие платья-размахайки, чтоб как-то скрыть этот недостаток. В салоне маме сшили узкое, обтягивающее фигурку платье, и только тогда стало видно, какая мама красавица. Зеленый шелк великолепно гармонировал с ее белой кожей и рыжими волосами. Она носила это платье долгие годы. Другого праздничного у нее не было.

Но основные хлопоты и подготовка к богатому рождеству нам еще предстояли.

— Знаете что, дети, на этот раз я испеку и печенье!

Мама печенья никогда не пекла: ее достаточно выматывали ваночки и яблочный струдель. Сама она печенья не ела, а для папы оно все равно как слону конфетка. Нам же мама иногда покупала печенье или обломки вафель в кондитерской. Но сейчас она переборола себя, накупила формочек и записала апробированный рецепт. Не знаю, сколько килограммов муки она бухнула, но теста получилось дикое количество.

Нам с Павликом очень нравилось вырезать формочками зверушек: зайчиков, ласточек, гусят, поросенка и кошку, у которой лапки почему-то не получались. Я укладывала печенье на противень, брат гусиным пером выдавливал дырки на месте глаз. Отец взялся следить за духовкой.

И так мы вырезали, пекли, вырезали, пекли, вырезали и пекли. Первым отступился Павлик, потом папа начал клевать носом, и печенье подгорело. Он подъедал подгоревшее и сломанное. В его огромных руках гибли крылья мотыльков и гусиные шейки.

После двадцатого противня ретировалась и я. Теста все не убывало, а мама все раскатывала и раскатывала. Мы ее предательски бросили, и она почти до утра вырезала зверушек, выдавливала перышком дырки, следила

за духовкой и укладывала остывшее печенье в две большие коробки из-под маргарина.

Крошки и сладкий аромат достались нам утром к завтраку, а полные коробки с печеньем мама разместила на шкафу.

— Только посмейте дотронуться до печенья раньше рождества!

Дверцы новых шкафов открывались с трудом, коробки постепенно съезжали на край, и за день до сочельника разразилась катастрофа. Раздался грохот, будто выстрелили из пушки,— обе коробки оказались на полу. Последствия были ужасны, целых печенинок набралась неполная тарелка для гостей, а в коробках осталось лишь сладкое жирное крошево.

Папа, вернувшись домой, перепугался, решив, что мы все умерли или тяжело ранены, такой отчаянный был у мамы вид. Он утешал ее, заверяя, что на вкус крошки не хуже целого печенья и с энтузиазмом черпал их ложкой.

— А я им для красоты глазки еще прокалывала,— причитала мама.

Уговорить маму печь фигурное печенье нам больше никогда не удалось. При слове «печенье» ее охватывало нечто вроде амока.

Вместо обычной елочки мы на сей раз приобрели елку до самого потолка. Нам накупили самых лучших шоколадных фигурок, какие только имелись в продаже: большие божьи коровки, куколки, медвежата, кошки, обезьянки и верблюды,— и даже дорогих шоколадок, не завернутых в фольгу, а облитых разноцветным воском. Шоколадные фигурки нам так полюбились, что мы не решились съесть ни одной штучки. Павлик клал их на ночь к себе в коляску, и от тепла зверушки скособочились.

Украшать елку — наше дело, мы с нетерпением ждали желанной минуты. Павлик, хотя и был моложе меня, обладал настоящим практическим умом. Если ему приходилась по вкусу конфета, он ронял ее на пол, и в кухню к маме долетал его пронзительный голосок:

— Мама, у меня конфетка упала, можно мы ее съедим?

— Конечно, ешьте!

Нам ужасно понравились шоколадные бутылочки с ликером, и на ветки не попала ни одна.

Украсить огромную елку нам было не под силу, брат из своей коляски высоко достать не мог, весь искололся

об иголки и вскоре сдался. А я следом за ним. Отцу ничего не оставалось, как взяться за дело самому. Мама развесила на ветвях стеклянные бусы с зеркала. А папа еще прикрепил к каждой ветке цветную электрическую лампочку — большую редкость в те времена.

Мама обычно делала мало покупок, но всегда вкладывала в это занятие всю свою душу. Сейчас ее целиком захватила магазинная лихорадка. Первый раз в жизни у нее появились деньги. Она боялась брать с собой больше ста крон, и ей пришлось здорово набегаться.

Многие годы мечтала она купить гуся, откормленного, круглого, беленького как снег гуся! Когда в Книне она сама их выкармливала, ей не удавалось достичь желанных форм и размеров — гусь начинал страшно хрипеть, и мама бросала откорм, боясь, что он задохнется.

Мы долго выискивали подходящего и на рынке и в витринах магазинов. Мне лично все гуси казались одинаковыми, но маме приглянулся один, самый сытый, его даже гусем нельзя было назвать, он, скорее, напоминал шар.

— Сколько стоит?

— Сто двадцать крон.

Сто двадцать крон — сумма порядочная, для половины работающих мужчин в нашей республике она составляла недельный заработок, а большинство не получало столько и за две недели.

— Дорого,— сказала мама, не спуская с гуся глаз,— у меня с собой столько и не наберется.

— Возьмите какого подешевле.

Торговка выкладывала на прилавок одного гуся за другим, но мама все любовалась своим избранником. Настоящая влюбленность. Из многих ей пришелся по сердцу лишь один.

Послать меня за деньгами мама не решалась, тогда ей пришлось бы открыть тайник, хотя Павлик давно уже его пронюхал. Она оставила меня в залог и побежала домой. Сияя от счастья, мама чуть не теряла сознание под тяжестью огромной птицы, высовывающей ноги из сумки. Тем не менее ее мучила совесть.

— Наверное, надо было взять того, поменьше. Хотя ведь такое случается раз в жизни. Сколько всего из него настряпаю, да еще сало останется, не знаю, не знаю, дочка, тот, поменьше, тоже подошел бы, да все же не такой белый...

На этом, однако, покупки не окончились, торговка маму раскусила сразу и подбросила ей пагубную идею.

— Отец, ты ел когда-нибудь индейку?— спросила вечером мама.

— Нет, в жизни не пробовал.

— Говорят, в ней в одной целых девять сортов мяса. И у каждого свой вкус.

— Да что ты?!

— А что, если купить еще индейку? Деньги-то есть!

Если речь шла о еде, папа никогда не возражал. И вот на кухонном столе появилась небольшая индейка, с ужасающе безобразной головой. А так как торговка была умелая и ловкая, мама притащила домой еще и половину красной заячьей тушки.

За несколько дней до праздника на улицах появились бочки с живым карпом. Продавцы вылавливали их красными, заледеневшими руками и добивали тут же на месте. Каждое рождество мама покупала нам живого карпика, и мы держали его в лоханке. Я всегда подносила ее к Павликовой коляске, чтобы Павлик мог всунуть палец в мягкую рыбью пасть и потрогать плавники. Но на сей раз мы с удивлением глядели на двух ленивых гигантов, они были совсем гладкие, лишь на самом хребте поблескивало несколько крупных чешуек.

— Да это же киты,— рассудил братик,— отойди от них, пока не проглотили.

Я хотела поднести к нему хоть одного из этих карпьих великанов, но Павлик отшатнулся.

— Лучше не надо, пусть лежит в сторонке, он какой-то весь облезлый. Погляди, у него на спине мох случайно не растет?

Карпы нами не интересовались, только лениво распахивали пасти.

— Рыбный салат!— сказала вдруг мама.— Я приготовлю вам пикантный рыбный салат! Пальчики оближете!

Наверное, рецепт она вычитала в газете и тут же взялась за дело, а меня отправила купить селедку, сардины, шпроты и даже копченого лосося.

Сардины и шпроты я донесла благополучно, только облила рассолом пальто. Селедка, к сожалению, оказалась не с молоками, а с икрой, а лосося не было вовсе.

— Так и знала, тебя только за смертью посылать. Ни на что девчонка не годна. Даже дурацкого лосося купить

не может. А как я сделаю из икры майонез? Для майонеза молоки нужны.

— Он подавил ей живот,— пыталась я защищаться,— и сказал, что там молоки!

— Ах, оставь, пожалуйста! Тебя каждый вокруг пальца обведет, надо было самой подавить ей живот. Сбегай-ка на Летную. Да завяжи как следует шарф, тебя и на рождество угораздит простудиться!

Я забежала за Штепкой в надежде, что та отличит икряную селедку от селедки с молокой, а лосося уж наверняка достанет.

В те времена лососи еще шли через Прагу по Влтаве и выпрыгивали прямо на плотину. Первого обычно получал в подарок мэр Праги. Но я об этом не слыхала, а лососину в жизни не пробовала. Небольшие копченые куски лосося, перевязанные шпагатом, висели в гастрономических магазинах, но маме в жизни не приходила в голову мысль купить что-нибудь подобное.

А теперь, когда ей приспичило, лосося днем с огнем нельзя было достать. Мы прочесывали магазины один за другим и покупали в каждом по одной селедке с молокой. Штепка рассудила, что таким образом мы непременно найдем то, что ищем, а селедка ведь не портится. Но стоило ей спросить лосося, как продавцы отрицательно качали головой.

Мы обе ухитрились перемазаться с ног до головы, шмыгали носом и, видимо, мало походили на девочек, для которых лососина — хлеб насущный.

В конце концов, измученные, мы вломились в шикарный магазин. Одна бы я ни за что не осмелилась переступить его порога. Магазин пустовал даже теперь, перед праздником, и услужливый продавец предложил нам лосося маринованного. И показал в открытой квадратной коробке розовые ломтики с белыми прожилками. Воистину лососиную сказку!

— Сколько стоит?— спросила Штепка.

— Десять крон сто граммов.

— Что-о-о? Десять крон сто граммов?

— Да.

— Десять граммов за крону? Десять граммов? Крона?

— Да.

Десять крон у меня были, но даже отчаянная Штепка не осмелилась бы купить нечто столь бесстыдно дорогое.

— Мы спросим дома.

И помчались с Летной домой.

— Десять крон сто грамм?— ужаснулась мама.— Я что, с ума сошла, что ли?

Мы продрогли до костей, мама вскипятила чай, вся еда была еще в сыром и замороженном виде, и Штепка поглощала крошево из печенья. Время от времени мама восклицала:

— Десять крон сто грамм!— видимо, не в силах выбросить из головы столь несуразные цифры.

У мамы еще куча дел. Она собралась потрошить гуся, но дожидалась меня, ведь для нас это — огромное развлечение. Нас страшно интересовало, что у каждого животного внутри, нравилось, как все там разумно и продуманно и вовсе не противно. Особенно восхищал нас желудок, мы каждый раз ожидали, что найдем в нем перстень или серьгу, но там оказывались только гладенькие, отполированные камушки, а начисто вымытый желудок переливался радужными красками.

Но этот гигантский гусь был набит салом, салом, одним только салом! Мама осторожно вытаскивала его перемазанной жиром рукой и клала на доску. Наконец высвободила внутренности, тоненькие кишки, тоже обросшие салом и перекрученные, словно тесемки, а потом огромную золотистую печенку.

— Слава богу, что я худая,— радовалась мама,— посмотрите, дети, вот так мерзко выглядит изнутри толстый человек. Гляньте, какое несчастное крохотное сердечко, какой сморщенный желудочек, да и кишочки тоненькие. Только печенка разбухла! Уж лучше я буду как щепка!

Должна сознаться, что после этого введения в анатомию я на долгие годы получила отвращение к гусиной печенке. И когда бы я ни встретила толстяка, у меня тотчас же мелькала мысль о том, как выглядят его внутренности.

К индейке мама подошла с бо́льшим почтением. Осмотрела со всех сторон, несколько раз поднимала нож, но рука снова опускалась.

— Уж лучше подожду отца.

Папа, однако, разбирался лучше в электричестве, чем в индейках.

— Почему же ты сама не можешь ее выпотрошить? Наверное, у нее все, как у курицы.

— Ты так думаешь?
— Конечно.
— А как быть с головой? Сварить?

Папа с отвращением глянул на синие, лиловые и багровые бородавки:

— По-моему, лучше выкинуть.

Так и поступили.

Наконец дело дошло до карпов. Папина работа. Гвоздь программы. Мы с братишкой нетерпеливо ожидали, когда скользкая рыбка начнет кататься по кухне. Самую большую радость мы получали, когда карп от ножа закатывался под шкаф и мы сообща вытаскивали его.

Это убийство рождественского карпа не пугало нас — мы рыбу не жалели, а просто опасались, не разольется ли желчь, не лопнет ли пузырь, которым любил играть Павлик. Больше всего притягивало внимание сердце, которое еще с минуту трепетало у нас на ладони.

Но эти две рыбины оказались так ленивы, что никакого представления не устроили, а спокойно разрешили себя пристукнуть и разрезать на порции.

— Ну, мать, такого карпа я в своей жизни не видывал, у него под шкурой сала на два пальца толщиной, как ты его жарить будешь — просто не представляю!

— Главное, чтоб на дворе подморозило!

— Не бойся, ночью прихватит.

И мама уже скоблит доску, достает большую миску, в которой ставит тесто раза два в год, и подготавливает все необходимое для ваночки. Ставить тесто она будет вечером, а печь ваночку ночью. Маме необходимо сосредоточиться, ей нужна полная тишина и покой, но мы-то с Павликом знаем, что мама просто колдует, ведь от того, какими получатся ваночки, зависит благополучие года.

Мне поручено перебирать изюм и чистить миндаль. Я тружусь с преогромным удовольствием, у изюминок обрываю черешки, а некоторые просто сую в рот. Горячую миндалину сдавливаю, и белоснежное ядрышко выскальзывает из коричневой шкурки. Иногда оно летит на пол, и я его потихоньку съедаю. Но если миндалинка оказывается горькой — то беда, выплюнуть боюсь и только кривлю лицо.

— Пой,— говорит мама,— ну-ка, пой коляды!

Но я пою так фальшиво, что мама только машет руками.

— Десять крон — сто граммов! — вдруг восклицает она. — Хотя с другой стороны — ведь такое можно себе позволить только раз в жизни. Сегодня магазины открыты допоздна, сбегай все-таки, Ярча, за этим лососем. Хотя нет, это грех, лучше не ходи.

А через минуту опять:

— Одевайся, да поживее, вот деньги на трамвай. Но спаси тебя бог кому-нибудь проговориться!

Мне не хотелось покидать теплую кухню, где аромат ванили и миндальных шкурок растворился в запахе топленого гусиного сала. Но если маме что-нибудь взбредало в голову — оставалось только подчиняться.

Я благополучно добралась до шикарного гастрономического магазина, деньги не потеряла, никто на меня не напал, только лососины не оказалось, всю уже распродали.

— Тебя только пошли за чем-нибудь,— сердилась мама,— все рождество насмарку!

А завтра наступил сочельник. Отец утром перед работой не удержался и разговелся рождественской ваночкой, той, что мама испекла ночью. Отец всегда первым нарезал ее и снимал пробу, его оценка была окончательной и бесповоротной.

Что же произошло? Ваночки блестели, словно их покрыли лаком, щетинились миндалем, не лопнули, не осели, не растеклись. Они были только поменьше, чем обычно.

Увы, увы! Мама слишком щедро положила в тесто сдобы, насыпала слишком много сахару, изюма, и дрожжи не смогли поднять всю эту массу: тесто как следует не перебродило и не поднялось. Напряженно, с виноватым видом, мама ожидала приговора.

— Хороши,— сказал папа,— немного, пожалуй, на сухари похожи, но хороши!

Мама, вконец расстроенная и потерянная, взялась за стряпню, но это оказалось просто выше человеческих сил. В духовке жарится гусь, на плите в соусе из чернослива — карп, кипит рыбный суп, надо еще растереть молоки, потушить овощи, сварить компот из кураги. «Боже мой, забыла купить повидло, беги скорее в лавку!»

Еще много раз я носилась то в лавку, то из лавки. С каждым моим возвращением гусь уменьшался — совсем как воздушный шар, только вместо воздуха жир выходит. Гусь таял на глазах.

Мама с ужасом наблюдала за этим явлением природы, вычерпывала половником жир и сливала в глиняный горшок, а гусь все уменьшался и уменьшался.

— Был с небольшого поросенка, а стал с большого воробья,— удивлялась мама, а сама уже совала индейку в духовку и принималась тереть яблоки на струдель.

— Если испорчу еще и струдель, так, ей-богу, все брошу! Погляди за индейкой, не сгорела?

С индейкой ничего не произошло, зато я обожгла себе руку.

— Начинает подрумяниваться!

Мама недоверчиво заглядывает в духовку через мое плечо.

— Зачем ты положила в индейку рис?

— Ничего я не клала, он там уже был.

— Откуда же он взялся?

Мама выбирает зернышки загадочного риса, поливает индейке спинку, а сама, поддерживая коленом противень, скатывает на него с полотенца струдель.

— Поскорей переверни рыбьи головы, помешай юшку, да смотри, чтобы не выкипела. Добавь в индейку жидкости!

— Опять в ней рис,— ужасается мама,— с ума можно сойти, откуда все время рис берется?— И вдруг хлопает себя по лбу:— Зоб! Ведь я зоб не вынула! Индейку из духовки — струдель в духовку — уху доварить! Брось туда цвет, господи боже, эта девчонка не знает, что такое цвет! Перец, перец горошком, вот что значит цвет!

Часы летят, летят, бегут.

Вот и папа. То отщипнет миндалинку от ваночки, то схватит шкварочку, то обдерет гусиную кожицу.

— Ты индейку сделала с рисом?— спрашивает он с невинным видом, и тут мама взрывается, хотя на рождество полагается, чтобы в семье царили мир и согласие.

Мама вынимает из духовки струдель, моет индейку, маринует зайца. Опять она чуть не осрамилась, в заячьем чреве остались его... ну, в общем — бобы. Надо нарезать лук и огурцы! Ох, забыла совсем сварить морковь! Где колбаса для салата? Почистите кто-нибудь картошку! Сварите яйца вкрутую! Смотрите на часы.

Часы летят. «Накрывай на стол, положи туда омелу, в вазу — апельсины».

Да, у нас сегодня есть и апельсины тоже, и американские яблоки, и — о чудо! — весь обросший волосами кокосовый орех, в котором плещется молоко. Что ты тащищь на стол? Подарки ставят после ужина, неси картофельный салат, не смей трогать рыбку, черт побери, она же для украшения, ну а где тарелки? А вилки с ножами? Нет, из этой девчонки в жизни толку не будет!

Павлику суматоха нравится, ему интересно, он стреляет глазами во все стороны, ему хорошо — ведь от него никто ничего не требует. Это я мечусь меж двух огней, так как из его коляски беспрерывно доносятся приказы: «Ярча, дай воды, покажи подливку, дай попробовать салат, принеси апельсинку, оторви шарик от омелы, подойди поближе, я тебе что-то на ушко шепну».

Мама жарит карпов, жира все не убывает, а скорее прибывает. «Приглядывай, чтоб не подгорели».

Мама бегает по комнате, распахивает шкаф, хлопает ящиками, в спешке позабыв, куда засунула подарки, зато Павлик все помнит.

Но вот наконец папа зажег рождественскую елку, и мы, поперхнувшись от дымка бенгальских огней, уселись за праздничный стол. Я, замученная беготней, с туго набитым лакомствами желудком, Павлик — уставший. Мама, вымотанная, издерганная покупками и стряпней, наглотавшаяся кухонного газа и убитая неудачами, безо всякого аппетита, вяло жует карпа, отдающего тиной, и вдруг произносит историческую фразу:

— Нет ничего хуже такого вот богатого рождества. Я по крайней мере ничего отвратительней не видела. Воротит от всего этого! Все могу выдержать, но богатой не желаю стать ни за какие блага мира!

Это мамино желание исполнилось — единственное желание, которое исполнилось до последней точки. Начинался кризис, а потом пришла война.

Но в тот сочельник никто ничего не подозревал, мы сидели за столом, разморенные непривычной едой. Только отец был способен что-то еще проглотить. Впрочем, ничего не пропало, на рождество то и дело приходили гости.

Под елочкой, а вернее, под елкой лежало на удивление много подарков. Христос не забыл и родителей: папе принес часы, а маме золотую брошь с аквамарином.

Этот подарок доставил ей куда больше неприятностей, нежели удовольствия. Когда она куда-нибудь шла, то

наглухо пришивала брошку к платью, чтоб часом не потерять. По нескольку раз в год вспыхивала паника: «Куда запропастилась брошь? Неужто пропала? Тьфу, ну и напугалась!» В конце концов брошь навсегда закрыли в ее футлярчике.

Еще перед праздником мама часть денег дала в долг — это было все, что осталось от папиной «обратной силы». Деньги потом возвращали по капле, и они разошлись на ежедневные нужды. Кризис пожирал все, что только возможно.

Вокруг только и разговоров, что о кризисе, и мы с братом представляли его в виде громадной крысы. Вот она стоит в углу, щерит зубы и бросается на папу. Давно, когда мы жили в Бубенече, папа убил кочергой небольшую крысу, но кто сможет справиться с такой громадиной? Ее облезлый хвост захлестнул весь земной шар.

Но и в самые тяжелые времена мы со смехом вспоминали то богатое рождество, когда господь бог спал. Самое ужасное — папе перестали выплачивать пособие по инвалидности. Работающим в государственных учреждениях пособия не полагалось. К счастью, хоть возвращать денег ему не пришлось.

ЖИЗНЬ НЕ КНИГА

Накануне моего первого школьного дня папа подарил мне портфель, пенал и книгу «Бабушка» Божены Немцовой. Я прочла ее залпом и потом перечитывала десятки раз и в детстве, и уже взрослой. Я всей душой полюбила эту мудрую и счастливую женщину.

Но моя бабушка не была ни мудрой, ни счастливой. На бабушку из книги она ничуть не походила.

После того как мой неродной дедушка — паршивая овца — рассадил нас возле ее кровати на стульях и, домывая кухню, пятился, словно рак, а домыв, навсегда захлопнул за собой двери, встал вопрос, что делать с бабушкой.

— Я бы взяла ее к себе,— сказала тетя Лида,— да разве мой разрешит?

— Я бы ее взял к нам,— сказал дядя Венда,— моя Ржина поладит с кем угодно, но разве в нашей каморке мы все разместимся? Ей и спать-то будет негде.

— У нее пражская приписка,— сказал папа,— можно определить ее в дом для престарелых, в Крч. Там отлично. Сколько людей ждут пражской приписки ради того, чтобы спокойно жить на старости лет!

—Ты что, рехнулся?— вспылила мама.— И ты допустишь такое?

— Запросто. Сколько людей с радостью пошли бы туда.

— Она твоя мать и будет жить с нами.

— Смотри, раскаешься, ты плохо ее знаешь.

— Да ведь она старый человек!

Меня и брата мамино решение не слишком обрадовало. Но мы знали, что показывать этого нельзя. Я была уже большой и понимала трагичность бабушкиного положения.

Только бы она не лезла с поцелуями, главное, чтоб не лезла целовать Павлику руки и не причитала: «Ты мой великомученик!» В остальном мы ничего против нее не имели.

Мама прибрала квартиру, большую прихожую ярко освещало солнце. Там стоял трехстворчатый шкаф и круглый столик с деревянными жесткими креслицами. Все было выкрашено в горохово-зеленый цвет. На столике вместо скатерки лежал черный платок с розами — мама привезла его из Татр.

Бабушку привел к нам наверх дядя Венда. Она вошла и сразу душераздирающе разрыдалась. Ее слабо выраженный паралич сопровождался лишь незначительным расстройством речи, однако передвигалась она медленно и тяжело. Бабушка вся как-то осела, обмякла и с трудом несла свою безобразную полноту.

Дядя положил на столик ее пожитки и, расстроенный, поспешил удалиться. Бабушка ухватилась за стенку и опустилась в креслице, но ее огромные телеса в нем не уместились, и она секунду висела на ручках как на насесте. Креслице затрещало, бабушка вцепилась в скатерть, и все, включая вазу, рухнуло на пол.

— Ничего, бабушка,— успокаивала ее мама,— разбитая посуда — к счастью. Вот я освободила для вас шкаф, а спать будете в кухне на диване, там спокойно. Может, хотите прямо сейчас прилечь?

— Какая ты добрая, Ярушка, какая добрая,— всхлипнула бабушка и, шаркая ногами, потащилась на кухню.

Она уселась на стул, по щекам катились слезы. Брат смотрел на нее с нескрываемой неприязнью, я любезно улыбалась. Но мои короткие волосы встали дыбом при виде ужасного, огромного человеческого тела, в котором угасает жизнь.

Мама разложила в шкафу бабушкин скарб, он весь уместился на одной полке. Чуточку белья, две-три открытки со святыми, связка писем и четки.

Мы с братиком четок никогда не видели.

— Мама, это что? Бусы?

— Четки. Молиться.

— Сушеные блохи,— злобно бросил Павлик.

— Ах, Павлик, ведь она — ваша бабушка.

— Ну и пускай! Это блохи, блохи, сушеные блохи!

Начались поцелуи, и брат в отчаянии прятал под себя руки. Он переживал страшные мучения. Как только пол под бабушкиной тяжестью начинал трястись и ее шаги приближались, на лбу и на верхней губе у Павлика проступали крупные капли пота.

Бабушка превратила нашу жизнь в непрерывную цепь трагикомических сцен. Она напоминала гигантского младенца, который по неведению уничтожает и разрушает все вокруг себя. Передвигалась по квартире, как глиняный идол, пыталась уцепиться за пустоту, хваталась за все, что попадалось под руку.

Ночью бабушка не могла уснуть, бродила по кухне, и шаги ее гремели в ночной тишине, а вскоре слышалось падение тяжелого тела, грохот мебели, треск разбитой посуды.

Мама вскакивала с кровати и находила бабушку на сползшей перине на полу, среди битых тарелок, возле выпавшего из шкафа ящика.

Если бабушке удавалось преодолеть кухню без особых разрушений, она вламывалась в спальню. Папу она не смела тронуть, но маму трясла за плечо:

— Ярушка, кто-то в окно лезет!

— Вам показалось, бабушка, ведь мы же на втором этаже.

— А у него лестница...

Мама поднималась, укладывала бабушку в постель и пыталась уснуть. В кухне на стене висели часы, бабушка с трудом отличала большую стрелку от маленькой и часто в половине третьего поднимала наших родителей:

— Ярушка, Павлик, уже четверть шестого! Опять вы проспали!

Разбудить папу было невозможно. Он знал свое время и просыпался всегда сам, но в неурочный час возле него хоть из пушки стреляй. Поначалу мама попадалась на эту удочку, поспешно вскакивала, одевалась и бежала за молоком. На улицах темно, пусто и тихо. Мама прислонялась к спущенным жалюзи и ждала, когда откроют лавку. Такое случалось не раз, потом мама стала проверять время.

Бабушка не могла сама ни расчесать волосы, ни умыться, ни одеться. Это было ей не под силу. Договорились, что по утрам будет приходить тетя Лида. Иногда тетя по каким-либо причинам не могла выбраться из дома, иногда опаздывала, бабушка ударялась в слезы, и маме волей-неволей приходилось возиться с ней.

Если же тетя приходила вовремя, бабушка, обрадовавшись, уводила дочь в другую комнату. Никто из нас не предполагал, что бабушка жалуется тете Лиде на несуществующие обиды. Тетя стеснялась, а может, и опасалась маминого гнева, поэтому ничего нам не говорила, но ничего и не забывала.

— Ярушка, не сердитесь на меня, я ваше мыло съела.

— Да господь с вами, бабушка.

— Нет, нет, съела, съела...

Утром, однако, она сообщала дочери иную версию — невестка кормила ее мылом.

— Ярушка, очень прошу вас, дайте мне какую-нибудь работу.

— Не нужно, бабушка, лучше посидите, почитайте.

— Мне бы что-нибудь поделать, помочь, ну хоть посуду вымыть.

И в слезы. Но первая попытка окончилась неудачей — таз на полу, посуда на полу, бабушка на полу.

А тетя Лида в отчаянии узнает, что невестка сама даже посуду вымыть не желает, а заставляет работать бедную, больную старуху.

— Ярушка,— плачет бабушка,— мне бы шерсть да спицы, я бы вам носки связала, глядишь — и время пройдет!

— Что вы, бабушка, ведь нынче никто носки не вяжет, нет никакого смысла.

— Да мне скучно! Делать нечего.

Дня два бабушка терзала пряжу, у нее, видимо, был такой же талант к рукоделию, как у меня.

— Ах, доченька, мне уже и двигаться-то невмоготу,— жаловалась бабушка тете,— на ногах не держусь, а она мне сует в руки нитки и спицы: «Хоть вязала бы, что ли, бабка, если ничего больше не можешь». А у меня до того глаза болят, уж до того болят.

Тетя разговаривала с мамой все более резко, дядя Венда стал холоден, лишь сама бабушка оставалась сладкой как мед. Льстивым голосом уговаривала она маму пойти с отцом в кино.

— Ступайте, ступайте, Ярушка, покуда еще молодые, а я с детишками посижу. С радостью посижу.

Вечера, проведенные с бабушкой, стали для нас кошмаром. Мы с братом жалели о наших играх в цирк, о придумывании всяческих историй и сказок.

— Ярча, а что, если б у людей были хвосты, как у зверей, — начинал брат, — как ты думаешь, носили бы они на хвостах банты?

— Тетя Тонча уж наверняка бы носила.

— У нее хвостик был бы пушистый, ангорский, она бы его завивала.

Мы разобрали всех знакомых: кому определили хвост лисий, кому — голый, крысиный, кому — крючком, как у поросенка. И покатывались со смеху целыми часами над собственными выдумками.

А сколько сказок мы сочинили! Про зайчиков, которых застрелили, потому что они пошли в костел, вместо того чтоб грызть в огороде капусту, про кошку, у которой вместо котят народились флажки, про лягушек, что стали прелестными бесенятами.

Но теперь рядом сидела и вздыхала бабушка, она искренне хотела нас позабавить и заплетающимся языком декламировала французские стишки. Вскоре начинала сама себя жалеть и лить слезы.

— Спать хочу, хочу спать, — хныкал Павлик. Я хваталась за коляску: поскорее бы перебраться в комнату, скрыться от бабушкиных глаз.

— Я его сама отвезу, нашего бедненького, нашего великомученика, святого нашего, как бы ты его не уронила.

Коляска налетала на стены, на мебель, стукалась о двери.

Позже брат добился, чтоб после ухода родителей мы

сразу же ложились спать. Бабушка оставалась на кухне, а мы в комнате потихоньку шептались. Ненависть больного ребенка переросла в навязчивую идею. Павлик додумался до того, что уверял, будто бабушка хочет нас убить.

Он прислушивался к ее тяжелым шагам, от которых сотрясались стены, и в ужасе шептал: «Слышишь, вот она подошла к ведерку с углем, теперь берет кочергу, вот идет к дверям, сейчас двери откроются...»

Бабушка действительно открывала двери.

— Спите, детки? Спите?

Мы не дышали, Павлик сжимал мою руку, впивался в ладонь ногтями, рубашка на нем становилась мокрой от пота. Но по молчаливому уговору мы свои страхи от родителей скрывали. Может быть, стыдились, может быть, из деликатности. Мы просто потихоньку запирались, а если бабушка ломилась в двери — притворялись спящими.

Мама, однако, догадалась обо всем. И папе больше никуда не удалось ее выманить, она упорно сидела с нами дома.

Но дом, в прямом смысле слова, мы утратили: ни у кого из нас не было ни минуты покоя, и днем и ночью повсюду бабушка, бабушка со своими штучками, со своими рыданиями. Мы превратились в вечно преследуемых, загнанных, измученных людей. Лучше бы скандалы, когда напряжение разрешается криком, но бабушка опутывала нас сетью вечной своей ласки, душила, словно густая влажная мгла, от которой человек не в состоянии скрыться, с которой не в силах справиться.

От мамы за несколько месяцев осталась тень. Отец уходил на работу или в театр, я в школу — в то время школа стала моим убежищем — или на улицу, но мама все свое время отдавала двум беспомощным существам, которых надо было обслужить и не подпускать друг к другу. Приходилось укрощать бабушкины симпатии к Павлику, а Павлика убеждать, чтоб он открыто не выказывал своей ненависти. Физическая работа и постоянное балансирование на лезвии бритвы довели ее до полного изнеможения.

И раньше у нее часто шла носом кровь, теперь же это стало повторяться ежедневно. Мама запиралась в ванной, папа ни о чем не подозревал, а мы с братом не понимали размеров опасности.

Мама никогда не жаловалась, и внешне все было в полном порядке: ни разу не возникло ни одного недоразумения, бабушка таяла от невесткиной доброты, мама во всем ей потакала. Отец изредка обменивался с ней двумя-тремя холодными вежливыми фразами.

Мы с братом, конечно, видели, как изменилась атмосфера в доме, говорили медовыми голосами, но нас душила тоска. Что-то непременно должно было случиться.

Взрыв произошел неожиданно, в один из зимних дней. Маме никак не удавалось остановить кровотечение, брат тихонечко скулил, бабушка сидела, беспомощно раскинув руки, а я бросилась за врачом.

Он держал кабинет в нашем корпусе, знал нас всех и немедленно явился.

— Господи боже, да вы в своем уме? Что за вид! Почему раньше ко мне не пришли? Ну, если бы еще далеко ходить! Черт подери, одни бегают с каждым прыщом, а тут смерть в дверь стучится, а она воображает, что выкарабкается без врачебной помощи!

Доктор сделал маме укол.

— Вас в больницу везти надо! С такими делами шутки плохи!

Может быть, помогла инъекция или же страх перед больницей, но только мамин нос явно присмирел. Доктор собственноручно приготовил маме стакан лимонной воды и с отвращением взглянул на бабушку, неподвижную, словно Будда.

— Надо себя беречь, а не обслуживать целыми днями кого попало! Вам что, больного ребенка мало, что ли?

Он ушел. Пораженные его словами, мы молчали.

— Ярча, приготовь мне немного кофе,—опомнившись, сказала мама.

Я поставила воду, бросила в нее цикорий, отмерила маленькую дозу кофе и большую эрзаца.

— Эрзац не клади. И воды вскипяти поменьше.

Я подала ей чашку, и мама стала медленно отхлебывать крепкий кофе.

— Знаете что, Ярушка, — вдруг проговорила бабушка, — я ведь вижу, что вам со мной трудно. Уж лучше я пойду в Крч.

Мама так ослабела, что лишь устало выдохнула: «Как хотите, бабушка».

И с отсутствующим видом продолжала пить кофе.

Потом ушла в комнату и прилегла на кровать, поставив Павликову коляску рядом с собой. Я уткнулась в книжку. Никто из нас и не заметил, что бабушка исчезла. Начало смеркаться, я воспользовалась папиным отсутствием и зажгла свет сама. Когда папа был дома, мне разрешали щелкать выключателем лишь в том случае, если в доме напротив уже засветились окна. Но только я зажгла свет, послышался настойчивый звонок. Я на всякий случай свет погасила и пошла открыть двери.

В квартиру ворвался смерч! Я не узнала ни дяди, ни тети. Передо мной стояли двое безумцев. Они заорали еще на пороге. В полутьме они не разглядели, как выглядит мама. Наверное, в невменяемом своем состоянии они не заметили бы этого и при самом ярком освещении.

— Выгнали старуху на мороз! Без пальто! Вы сказали, чтоб она убиралась прочь! Заставляли ее работать! Сами бегали по гостям и по кино, а ей велели сидеть с детьми! Куска хлеба жалели!..

Эти крики больно хлестали и с размаху били маму, наружу выплескивались бабушкины фантазии, каждое слово ставилось с ног на голову, все преувеличивалось, направлялось против нас.

Мама стояла и молчала. В нашей семье никогда не скандалили, отношения у нее с родными были хорошие, и этот неожиданный взрыв ее поразил. Мама настолько изумилась, что не могла понять, о чем идет речь, и на все обвинения отвечала упорным молчанием.

И тогда я поняла, что бабушка побрела в одном платье и шлепанцах через весь поселок к тете Лиде и по дороге всем и каждому с плачем докладывала, как невестка выгнала ее из дома. Только сейчас выплыло на свет ее лицемерие, возможно вызванное болезнью.

В момент наивысшего накала страстей появился отец. В суматохе никто не слышал ни стука отворяемых дверей, ни его шагов. Комната осветилась, он увидал две физиономии, искаженные гневом, и мамино иссиня-бледное лицо.

— Что тут происходит? — спокойно спросил он.

— Она вышвырнула мать на улицу!

— Без пальто! В этакий холодище!

— А кто вам это сказал? Мать, да? Вы что, не знаете ее, что ли? Ей-богу, странно!

Его спокойный, презрительный тон подействовал на

них, словно ушат холодной воды. А может быть, их привел в чувство свет. Они увидали наши перепуганные глаза и обессилевшую, смертельно бледную маму.

Отец тоже испугался. Он привык к ее худобе, но тут, видимо, в минуту сильного душевного напряжения, понял, что мама совсем плоха и вот-вот рухнет.

Сжав челюсти, стоял он бледный и страшный, и тетя с дядей невольно попятились к двери.

— Прибежала к вам, говорите, вот и оставьте ее у себя! Пусть за нею ходит тот, кому она была матерью, а я здесь ни при чем. С нас и своего горя хватает.

Мама все молчала. Как только мы остались одни, она стала метаться по квартире. Из комнаты в кухню, из кухни в комнату, туда и обратно, взад-вперед. Что-то, видимо, в ней сдвинулось и уже не могло остановиться. Это лихорадочное безмолвное метание перепугало нас всех именно своей бессмысленностью.

На столике возле Павлика лежала мандаринка, мама на ходу схватила ее, очистила и стала засовывать в рот дольки. Это перепугало нас еще больше: мы впервые видели, чтоб мама позволила себе съесть апельсин или мандарин — каждый кусочек послаще она отдавала нам.

— Вот и получай за свою глупость, — спокойно сказал папа, — теперь ты по крайней мере ее окончательно раскусила. Даю голову на отсечение: никто ее у себя не оставит.

Он медленно и спокойно расшнуровывал свой тяжелый башмак.

— Ты что, Павлик, уж не ревешь ли? Мужчина, а хлюпаешь! Можешь себе представить ревущего Винету?

— Да-а, я не Винету, я Соколиный глаз, — всхлипнул Павлик.

Отец приготовил кофе, нарезал хлеб, уложил нас спать, а мама нервными шагами все еще мерила комнаты. Вдруг остановилась, налила воды и жадно выпила всю чашку залпом.

— Больше дурой не буду, — сказала она странным, хриплым голосом.

— Еще как будешь, — усмехнулся папа.

Спор папа выиграл, голову ему не отсекли — бабушку действительно никто у себя не оставил.

Она, бедолага, явилась к нам на другой же день и разговаривала так же сладко, как и раньше. То ли притво-

рялась, то ли действительно не ведала, что творит. Но папа был тверд как кремень. Он выхлопотал ей место в Крчи. Навещать ее ходил сам, мы больше так никогда бабушку и не видели.

Последовавшие два удара навсегда лишили ее рассудка, она никого не узнавала, огромное ее тело еще долго жило, но беспокойная и непостижимая ее душа была уже мертва.

У нас все образовалось, мы постепенно приходили в себя, распрямлялись, как помятая трава. Дядя и тетя помирились с мамой и долго потом вспоминали, как из-за бабушки переругалась вся семья. Даже находили в себе силы смеяться над происшедшим.

После большого перерыва нас опять навестил дедушка. Он пристально посмотрел на маму, словно увидал ее впервые, в его взгляде были жалость и сочувствие: «Да, девочка, я уже все это давно пережил, — казалось, говорили его глаза, — и тебя она тоже довела до ручки, а?»

Но вслух он не сказал ни слова, только головой покачал.

Мы с Павликом так никогда и не забыли этой сцены, в глубине наших детских душ остался осадок горечи. Мы отыгрались на бабкиной фотографии. Исцарапали, искололи булавками, заплевали. Мама нас за это как следует взгрела.

— Что бы там ни было, она ваша бабушка. А бабушку вы обязаны любить!

Обязаны, да не можем. Мы ее не любили, хотя никогда не слышали от нее ни одного худого слова.

ИДУ УЧИТЬСЯ

В пятом классе папа решил, что мне нужно продолжать образование. Мама решила, что продолжать образование не нужно, а следует учиться на портниху. Сама я еще ничего не решила, и выбор мой колебался между артисткой, кухаркой, пастушкой и учительницей. Охотнее всего я стала бы женщиной-змеей или жонглером, ну в крайнем случае канатоходцем, но я уже знала, что для этого нужно заниматься с ранних лет и время мое ушло.

Очевидно было одно — не существовало на свете профессии, которая привлекала бы меня меньше, нежели шитье.

— Научиться можно всему, — уговаривала мама, — будешь хоть себя обшивать. Посмотри на тетю Тончу, что ни день — новое платье.

Наша пани учительница стала готовить меня и еще нескольких учениц к экзаменам в гимназию, а мама заставляла вышивать салфеточки. Тетя Марженка нарисовала красивые, заманчивые узоры: на одной салфеточке изящная танцовщица, мухомор в шляпке горошком, а рядом с ней — коренастый боровик с трубкой во рту; на другой — пастушок с утками; на третьей — маленький голландец на фоне ветряной мельницы. Одна салфетка краше другой.

Павлик вышивал хорошо, но мои стежки были то слишком крупны, то малы, шли то справа от рисунка, то слева. Просто кошмар. Я унаследовала от мамы склонность к кровотечениям из носа. Когда мне становилось уж совсем невмоготу, даже глядеть на спутанные нитки было тошно, я тайком стукала себя по носу, и на вышивку начинала капать кровь.

— Господи, лучше оставь, девчонка, тебе нельзя наклонять голову!

Наконец мама убедилась, что от вышивания мне становится худо.

— Пускай лучше идет учиться, коли к работе непригодна.

Моя двоюродная сестрица Фанча только что получила аттестат зрелости с отличием, так что протекция мне была обеспечена. Она взялась представить меня заместителю директора гимназии.

Между окончившей гимназию восьмиклассницей и начинающей первоклашкой — непреодолимая пропасть. Я взволнованно шагала рядом со своей взрослой сестрицей.

Мы идем пешком на Летную. Не доходя виадука, встречаем Штепку: она несет в конверте свой табель и еще издали улыбается нам.

— Ну, как дела?

— Засы́палась, — отвечает она с олимпийским спокойствием.

— Как же так, ведь Шкит мне обещал, что тебя вытянет.

— Ага! Вытянет! Так ведь у меня еще два кола, кроме него!

— Привет! — вздохнула Фанча. — Опять отец маме всыплет!

Я не слишком понимала их жаргон, но сообразила, что Штепка не сдала экзаменов и дядя будет выговаривать тете за то, что она плохо воспитала девчонок.

Штепка заметила мое огорчение.

— Да ты не ломай себе голову, первый спихнешь, вот второй будет потруднее.

Я не могла опомниться от изумления. Если Фанча не сумела помочь даже своей родной сестре, какую же протекцию она окажет мне? Уж лучше я вернусь домой вместе со Штепкой.

Желая отвлечь меня, Фанча стала рассказывать про учителей, у кого какое прозвище, какие слабости, как ученики стащили классный журнал, как рассыпали по всему классу нюхательный табак, подложили на стул кнопки, отвинтили доску — и при первом же прикосновении она рухнула с ужасным грохотом. Так я узнала, что учеба— цепь всевозможных шалостей, и еще более удивилась, что Штепку не приняли.

Пан учитель был маленький, толстый и почти совсем лысый. Если б я не знала, кто он такой, то даже не обратила бы на него внимания. Но сейчас я боялась, что он начнет гонять меня по всем предметам. К моему удивлению, он поздоровался с нами за руку и пригласил пойти перекусить.

По дороге он зашел в школьное здание в Бубенече, мы его ждали, и у меня было странное ощущение — ведь я на этой улице родилась. Учитель привел нас в ресторан «На тюфяке». Это был мой старый знакомый Штрозок, но я уже не глазела на перевернутые столы и стулья и не разглядывала с робостью каштаны, а сидела рядом со взрослой сестрой и паном учителем, и официант принес мне сосиску и отдельную бутылку лимонада. Он сам ее открыл и половину вылил в мой бокал.

Я прислушивалась к шороху пузырьков в стакане и смотрела с террасы вниз. Полдень. Дорога пустынна, но я смотрю, нет ли там маленькой девочки в отцовском свитере, перехваченном веревкой? Сдается мне, она должна бродить где-то здесь, ведь я ее где-то здесь оставила. Но у меня с ней нет больше ничего общего.

— Сосиску лучше всего есть руками, — говорит пан учитель и действительно берет свою сосиску за оба конца

пальцами и перекусывает пополам. Половину кладет на тарелку, а вторую окунает в горчицу. Моя сестрица, однако, отрезает по кусочку и ест вилкой.

Не знаю, как правильней, но способ учителя кажется мне безопаснее, я запиваю сосиску лимонадом и с трудом подавляю отрыжку.

Мне кажется, что я когда-то сидела здесь, что это повторение давнего события, и вместе с тем кажется, что меня здесь вовсе нету и я вижу во сне, как старый, печальный мужчина смотрит на девушку.

Моя сестрица похожа на женщин с картин Манеса[1]. У нее красивое правильное лицо с выразительными глазами, каштановые волосы разделены строгим пробором и заплетены в две толстые длинные косы.

Она чуть крупновата, чуть пышновата. На ней коричневое платье без единого украшения, мягкий блеск волос оттеняет розовую кожу, не тронутую краской и пудрой. От девушки веет каким-то радостным спокойствием — она выглядит такой юной и чистой, что взглянешь и залюбуешься.

— Значит, ухóдите.

Сестрица радостно кивает. Красивые зубы вонзаются в булку. Гладкая кожа светится, глаза глядят поверх наших голов, темные брови словно распростертые ласточкины крылья.

Внезапно я превращаюсь в старого учителя, я вижу Фанчу его глазами, и душу мою сжимают его тоска и печаль.

Оба мы заслоняемся руками от времени, мечтаем остановить его, чтоб оно не посеяло морщинок на упругой коже, не замутило сияния очей, не уничтожило своим дыханием блеска волос. Ах, если бы навсегда остались эти ласточкины крылья! С какой радостью мы возвели бы под кронами деревьев чертог, куда время не имело бы доступа, и остались за его стенами навеки веков!

На стол упал маленький каштан, потом второй. Старое дерево сбрасывает своих ежиков-деток, оно лишь недавно погасило розовые свои свечи, а из колючих футлярчиков вот-вот выпадут коричневые телятки с белыми пятнышка-

---

[1] Манес, Йозеф (1820—1871) — чешский художник, в монументальных композициях создал героизированный обобщенный образ чешского крестьянина.

ми, но только я уже буду большой и не захочу с ними играть.

— А я через два года пойду на пенсию.

— Наверное, довольны?— спрашивает Фанча.— Будете отдыхать.

Ее белоснежная улыбка безучастна, ее красота бесчувственна. Прекрасные цветы не задумываются, откуда в них эта сила цветения.

— Вы поступаете в университет?

— Да.

Мой лимонад отшумел, скатерть усыпали недозревшие каштаны, сверкают кристаллики просыпанной соли, старый учитель протирает очки. А я тону в потоке разноречивых чувств, восхищаюсь своей сестрицей и одновременно невыносимо страдаю, мне кажется, я никогда больше не увижу ее такой счастливой и такой красивой.

Вступительные экзамены через несколько дней у меня «случайно» принимал этот же преподаватель, наша пани учительница подготовила нас хорошо, и я ответила на все вопросы.

Учение в гимназии давалось легко, тут мне помогала страсть к чтению. Я не могла утерпеть и уже в начале года прочитывала до конца все учебники. А от некоторых просто не могла оторваться. Меня интересовали биология, химия, история, над географическим атласом я сидела часами, карты оживали, увеличивались на глазах, превращались в пейзажи, я видела перед собой реки, моря, горы. А какая интересная штука — алгебра! Я решала примеры и сверяла результаты с ответами на последних страницах. До чего же увлекательно попасть в точку, а еще увлекательней находить решение или искать свои ошибки.

Постоянное повторение утомляло, в течение года мой интерес к учебникам ослабевал и возвращался лишь перед каникулами, когда нужно было сдавать книги. Мы обычно не успевали пройти все до конца, и я сожалела, что должна возвратить книгу, не изучив ее от корки до корки. В последние дни я с интересом читала даже физику — предмет, мне ненавистный.

С учебниками я расставалась, как с дорогими сердцу людьми.

Однажды мне досталась сильно растрепанная ботаника. Постоянным чтением и перелистыванием я довела книгу до невозможного состояния — не держалась на месте

ни одна страница. Когда я возвращала учебник, преподаватель, взяв его брезгливо двумя пальцами, воскликнул:

— Выбросить!

— Скажите, пожалуйста, можно мне оставить учебник себе?

Он удивленно кивнул головой и долго смотрел мне вслед, а я с радостью прижимала к груди то, что осталось от книги.

Во время каникул я отправилась в Прахатице, в так называемую «фериалку», на организованный отдых. Свою добычу я везла в чемодане, среди белья. Во время мертвого часа доставала учебники, снова и снова перечитывала.

— У тебя переэкзаменовка?—сочувственно погладила меня по голове воспитательница.

— Нет, у меня одни пятерки.

— Господи, почему же ты тогда занимаешься?

Ее искреннее удивление смутило меня. Значит, я и впрямь чокнутая, как говорит мама. Учебники по-прежнему оставались моей тайной страстью, но я научилась это скрывать. «Вот тоска», — говорила я девчонкам, а дома глотала страницу за страницей.

Я так внимательно читала и перечитывала учебники в конце и в начале года, что легко училась по всем предметам на пятерки. Круглой пятерочницей я, правда, не была, всегда ухитрялась ненароком схватить четверку.

Если мне почему-нибудь в школе было неинтересно, я без зазрения совести прогуливала уроки. При моей бледной коже, которую не брал загар, достаточно было состроить страдальческую мину, и преподаватель тут же отсылал меня домой с кем-нибудь из подружек, чтоб я по дороге часом не сомлела. Мы научились виртуозно обманывать своих наставников и часами бродили по Стромовке.

В гимназию мы пришли, когда нам было по одиннадцать, за первые три года произошел большой отсев, в старшие классы попало не более трети. В первый год учебы наши ряды оскудели еще сильнее. Третьим классом гимназии заканчивалось обязательное обучение. Учеников набралось лишь на два класса — мужской и женский.

Я была, что называется, белой вороной — одна-единственная гимназистка из рабочей семьи, но моя знаменитая

мимикрия и Зорка позволили мне войти в школьный коллектив безболезненно. В нашей гимназии учились дети предпринимателей, торговцев, чиновников высоких рангов и чиновников рангом пониже, дети врачей, преподавателей — они жили на Летной, в квартале вилл, в Ржеховце, в Бубенече, в Дейвицах. Все девочки, за небольшим исключением, даже самые состоятельные, носили юбку и свитер, а карманных денег у всех было в обрез. Крона, выданная на сосиску с булкой, летом чаще всего проедалась на мороженое.

На некоторые предметы нам приходилось ходить в другое здание, вниз, на Школьскую улицу. Естественно, мы не спешили. В лавочке, некогда принадлежавшей моему дяде (как я жалела, что он погиб во время войны), мы покупали мороженое. Главная прелесть заключалась в том, что той же дорогой ходили наши преподаватели, мы сталкивались с ними и безнаказанно высовывали язык, прикрывшись вафельными стаканчиками. Это было, пожалуй, еще соблазнительнее мороженого. Главное, чтоб нас не задержал поезд, иначе не миновать единицы. А впрочем, мы играли в сложную игру, считали белых коней, трубочистов, солдат, обладателей козлиных бородок, и сумма чисел предвещала успех или неудачу. До самого моего восьмого класса гимназия размещалась в трех зданиях, два — в Дейвицах и одно — на Летной. Лишь перед самой войной выстроили новое здание на Вельварской улице. Нехватка места разрешалась просто — мы занимались в две смены и переходили из здания в здание. Здание, или «будка», на Школьской улице (только Зорке я показала свой родной домик) было признано аварийным и опасным для жизни. Объявляя учебные тревоги, нас обучали: если дом начнет обваливаться, его надо покинуть спокойно, без паники. Такое развлечение мы принимали с восторгом и на переменках — особенно мальчишки — делали все, чтобы «будка» наконец обвалилась, но она все-таки устояла и стоит по сей день.

Частое «переселение народов» имело множество прелестей — мы встречались со своими обожателями, оставляли записки в партах, постоянно отпрашивались за какими-нибудь забытыми вещами. Нас учили еще старые, рассеянные преподаватели, они частенько забывали, где находится их класс, и значительную часть урока разыскивали его. Но и нам вменялось в обязанность в течение

десяти минут найти своего учителя. Мы, естественно, не слишком старались и время это использовали по-своему.

Учитель, тяжело переводя дух, выслушивал за дверьми куплеты нашей любимой песни, исполняемой хором:

... И понравился ей
Раскрасавец злодей,
Раскрасавец злодей,
Ох, понравился ей...

так что колы и записи в дневниках не переводились.

Наши преподаватели — чудаковатые старики — были высокообразованными людьми. Некоторые писали книги. Рисованию нас обучал известный иллюстратор и художник. Мы награждали своих педагогов прозвищами и смеялись над их слабостями, но в глубине души уважали за талант и глубокие знания, излишками коих они с известной долей высокомерия жаловали и нас. Я прекрасно ладила с учителями-деспотами, перед которыми трепетали остальные девочки, и, наоборот, конфликтовала с самыми добродушными преподавателями. Я раздражала их своей веселостью. Обычно им не удавалось поддерживать в классе дисциплину, а их неудачные попытки вызывали у меня взрыв громкого смеха.

Несколько раз я доводила до бешенства нашего художника, однажды он даже запустил в меня мисочкой с водой, а как-то — связкой ключей и в конце концов выставил из класса. Но назавтра все уладилось.

Он так увлекался своими иллюстрациями, что просто не замечал происходящего вокруг. Мы занимались чем угодно, только не рисованием: одни девочки вязали кофточки — полкласса носило ажурные, с бомбошками у выреза; другие играли в карты или «мельницу» и даже пускали по классу заводной паровозик; кого-то в теплые дни отряжали за мороженым — для этой цели мы даже обзавелись специальной посудой. Как-то раз преподаватель застал нашу посыльную на месте преступления и страшно рассвирепел. Маленький, толстенький, он, раздражаясь, подскакивал, как мячик,— немудрено было покатиться со смеху.

Другой преподаватель после войны заболел сонной болезнью. Нам строго-настрого приказали следить, чтоб он не засыпал, потому что это могло кончиться серьезным припадком. Учитель боялся сесть и большей частью ходил взад-вперед по классу или стоял. Но он умудрялся

дремать и стоя, а мы сидели тихонько, как мышки, и, если он все-таки садился, не дыша, наблюдали, как клонится его голова, как закрываются глаза.

В своей стадной жестокости мы жаждали увидеть припадок, но обычно кто-нибудь, не удержавшись, громко прыскал.

На уроках немецкого языка, и даже на уроках латыни, нам вдалбливали фашистскую философию, но оба наши учителя, а особенно угреватый, щуплый латинист, ничуть не соответствовали официальному представлению о сверхчеловеках, и потому их словеса не производили на нас должного впечатления. Коллектив преподавателей состоял из людей, настроенных весьма реакционно, потому-то моего покровителя и не назначили директором и он был вынужден выйти на пенсию. Молодые преподаватели тоже не принесли с собой порыва свежего ветра. Они примыкали к крайне правым партиям и, лишь когда республике грозила опасность, хором начали высказывать прогрессивные идеи.

Наш учитель математики и физики как будто вышел прямо из кинокомедии. Ни один опыт у него ни разу не удался, все падало, разбивалось, каталось по полу, искры не выскакивали, приборы не действовали. Истины ради надо сказать, что мы по дороге из физического кабинета в класс вывинчивали все, что могли, успевали растащить ртуть и детали приборов. Видимо, только жизненная необходимость заставляла нашего старого Шкита по нескольку раз в день позориться перед сопляками. Но еще больше его тщетных педагогических усилий нас смешило то, что он ходит в театр и слушает оперы, закрыв глаза. Сколько анекдотов выдали мы на эту тему!

В молодых учителей мы влюблялись целыми классами, но влюбленность наша ограничивалась тем, что мы впивались нежными взглядами в кафедру. Одна девочка из любви к учителю выучила наизусть, слово в слово, весь учебник истории. Ее тайный возлюбленный узнал об этом лишь на школьной экскурсии, когда знания из нее так и брызнули, но уже не смог изменить отметку в табеле, подписанном самим директором.

Эту девочку мы, к сожалению, из своего коллектива выжили. Мы преследовали ее насмешками за то, что она носит ранец на спине, и за то, что она «трехэтажная»: из-под пальто у нее выглядывал сатиновый халат, а из-под

халата — платье. Словом, из-под пятницы — суббота. В конце концов бабушка, у которой воспитывалась эта девочка, перевела ее в другую школу. Над ней не только насмехались, но и подозревали в мелком воровстве. Возможно, из-за ее нелепой и несуразной внешности. Через несколько лет я столкнулась с ней в университете. Она стала необыкновенно красивой, такой красивой и самоуверенной, что трудно было узнать в ней «трехэтажное» существо, которое, не обращая ни на кого внимания, раскинув руки, балансирует на рельсах, не снимая со спины ранца.

Коллективная влюбленность казалась мне отвратительной, и я влюбилась сама по себе, однако, строго храня свою тайну даже от Зорки.

Зимой к нам из Моравии приехал молодой преподаватель. Он был высок, плечист, и его вышитая сорочка вызвала в классе дружный смех. Он вскоре перестал ее надевать, но наших симпатий так и не завоевал. Рубаха сделала свое черное дело.

Меня же он заинтересовал еще и потому, что преподавал мой любимый предмет. Однажды у нас были практические занятия в зимнем парке: мы учились распознавать деревья без листьев.

— Ну а это дерево? Попытайтесь-ка его назвать. Это не так просто.

— Вяз! — крикнула я.

— Отлично. А как вы определили?

— По надписи!

И я показала на табличку, прибитую с противоположной стороны ствола.

— Я вижу, вы далеко пойдете,—сказал преподаватель и положил руку мне на голову.

От счастья я боялась дохнуть. Почти до самого вечера я старалась не поворачивать шею, чтобы удержать и сохранить его прикосновение к моим волосам.

Реакционные политические взгляды довели этого красавца до зверского убийства. Во время войны он был коллаборационистом и после оккупации устранил нежелательного свидетеля. Но о предстоящих ужасах мы, в нашем маленьком мире, еще и не догадывались.

Среди нашего преподавательского состава была и сестра одного известного убийцы: она всегда ходила в черном, что еще более подчеркивало бледность ее страдальческого

лица. Она не изменила имени, которое трепали все газеты, невозмутимо ходила по коридорам, под перекрестным огнем сотен любопытных глаз и постоянного шепотка за спиной. Наверное, ей требовалась немалая воля, чтобы удержать внимание класса на своем предмете. Ее судьба впервые навела меня на мысль о том, что наши учителя — люди, у которых за пределами школы идет непростая личная жизнь.

Второй мой идеал — странный некрасивый человек, который непродолжительное время преподавал у нас историю. Был он высокий, сутулый, абсолютно лысый, его лицо отличалось удивительной непропорциональностью: рот прорезан чересчур низко, расстояние от носа до верхней губы намного больше, чем длина подбородка. Но в его словах была такая сила убеждения, что я забывала о его физических недостатках и увлеклась им, пожалуй, против своей воли. Мы с подружкой в его присутствии чувствовали себя неловко и внутренне скованно. Мы еще не умели этого себе объяснить и боролись против очарования его личности ненавистью.

Мы с Зоркой долго играли в сны. По пути в школу и из школы рассказывали друг другу все, что видели во сне. А снились нам наши учителя и учительницы. Они переживали множество приключений с продолжением в следующем сне. Так отражались наши любовь и нелюбовь, насмешка и ненависть.

Классной дамой у нас была молоденькая учительница, только что окончившая учение. Женщин-преподавателей было тогда очень мало. Красивая и обаятельная девушка неизменно пользовалась успехом у старших и младших коллег, а мы ревновали. Особенно один из ее поклонников по прозвищу Швабра — из-за стрижки ежиком — переживал в наших фантастических снах пропасть всяческих неприятностей и унижений.

И я и Зорка понимали, что наши выдумки не слишком-то похвальны, и остерегались их рассказывать посторонним. Только друг перед другом притворялись, будто верим своим многосерийным снам. Во сне возможно все, даже самые неимоверные приключения.

Нам мешала наша третья соученица — Аничка. Она вместе с нами перешла из школы в гимназию, жила на нашей улице, но мы всячески старались от нее избавиться.

Аничка была, кроме всего прочего, изначально несчастна. Ее отец, так же как и мой, был инвалидом, но в отличие от моего не сумел с этим смириться. Наверное, нет в мире худшей участи, чем участь мелких чиновников, эти горемыки зарабатывали меньше рабочих, не имели никаких перспектив по службе и мучились неуемной завистью к более удачливым коллегам. Аничкин отец возненавидел весь мир. Ему казалось, будто все люди, на лицах которых он замечал улыбку, насмехаются именно над ним и над его семьей.

Он дошел до того, что шпионил за Аничкиными соученицами и выспрашивал, о чем они говорят. Мы с Зоркой долгое время ничего не подозревали, но однажды он выдал себя — накинулся на нас с криком, что мы сплетницы, Аничку оговариваем. Мы говорили о ком-то совсем другом. Позже мы несколько раз замечали, как он крадется следом за нами. Его вмешательство в наши детские дела очень вредило Аничке в отношениях с подругами.

Но самым страшным бедствием для их семьи был богатый дядюшка. Его преуспеяние лишь подчеркивало убожество их жизни. Им гордились и одновременно завидовали и ненавидели.

Аничка не имела той пролетарской гордости, которая позволяла бы ей на равных общаться с девочками из состоятельных семей. Она постоянно клянчила лакомства, предлагая за это свои услуги, щупала ткань на платьях, выпрашивала «вечную» ручку, часы, примеряла колечко хоть на минутку, хоть подержать.

— Сколько заплатили за твою блузочку? У моей двоюродной сестры есть еще лучше, она ее поносит, а потом отдаст мне!

У нас ее богатый дядюшка, который раз в месяц приглашал всю семью в кондитерскую Мышака, давно стоял поперек горла. Две недели Аничка жила в ожидании Мышака и две недели после докладывала, как в этой шикарной кондитерской каждому из них подали по половинке апельсина, наполненного взбитыми сливками. Мы даже подумывали, что никакого дядюшки вовсе не существует, так как Аничка ни разу не упомянула другого угощения.

Как-то раз я пережила из-за Анички до ужаса унизительную сцену. Зорка затащила нас обеих к скаутам. Накануне пасхи наш отряд устроил утренник. Я участвовала в состязании под названием «Самый быстрый пожиратель

апельсинов»: надо было как можно быстрее очистить апельсин, съесть и убрать корки. Первый приз — изумительной красоты прозрачное сахарное яичко, внутри которого целая семейка кроликов.

Во время состязания меня охватили недобрые предчувствия. «Сестры» нас подгоняли, держали пари — выручка шла на благотворительные цели, — и я вдруг услышала чье-то восклицание: «Ставлю вон на ту, у нее такой голодный вид!»

Но игра есть игра, я едва не подавилась, но победила. Второй была Аничка — к счастью, восклицание относилось к ней.

Всю дорогу до дому Аничка клянчила мой приз. Она приводила сотни причин, по каким я должна отдать ей яичко, приплела даже отцову хромую ногу и хворобы всех членов семьи. Она до того измотала меня, что я отдала бы ей это сахарное чудо, если бы не мысль о Павлике. Я не могла лишить брата такого великолепного, невиданного зрелища.

Я вручала братишке свой выигрыш, меня мучили угрызения совести, а в ушах звучали Аничкины причитания.

— Ты где его взяла? — спросил папа.

— Выиграла.

По известным причинам родители строго следили, чтоб я не поддалась азарту.

— Что значит — выиграла?

Я рассказала о состязании, отец помрачнел:

— Чтоб больше подобных глупостей не было! Ты не лошадь, чтоб на тебя ставили!

И только тогда я поняла, что мои недобрые предчувствия возникли от стыда и приниженности. Отец страдал вместе со мной.

Аничка — самая обыкновенная, хорошенькая и неглупая девочка — училась бы прилично, если б не вмешательство в школьные дела ее злосчастного папаши.

Он обычно вихрем влетал в коридор, напоминая в своем распахнутом пальто нетопыря: волосы развевались и торчали в разные стороны. Он накидывался на преподавателей, а те скорее с удивлением, чем с неудовольствием, сносили его бешеные нападки.

Он кричал, что они преследуют несчастного, бедного ребенка, который занимается до поздней ночи в тесной

однокомнатной квартире и ест лишь сухой хлеб, что они придираются к его Аничке, желая выжить ее из школы, потому что протежируют, мол, звездам, а от бедняков хотят избавиться.

Это было неверно. Дело обстояло сложнее. В гимназиях действительно обучалось ничтожное количество детей бедняков, но преподаватели здесь были ни при чем. Если родители-бедняки ценой огромных жертв содержали своего ребенка до девятнадцати лет, а ребенок прилежно учился, чтобы отработать то, что задаром получили от судьбы его более счастливые ровесники, и трудился притом в нелегких условиях, то преподаватели ни в коей мере не мешали ему. Наоборот, стремились всячески помочь. Добивались стипендий и частных уроков. Они так поступали не только по доброте душевной, но также из политических соображений: каждый ребенок, получивший образование, — наглядное свидетельство хорошего положения дел в буржуазной республике.

Кроме того, и времена-то были неподходящими, чтобы слишком кичиться своими капиталами. Тогда это считалось дурным тоном. Повсюду гулял кризис, и только полный идиот решился бы демонстрировать свое богатство.

Порой преподаватели откровенно высказывали симпатии или антипатии. Были свои любимчики, к кому-то придирались, кто-то становился козлом отпущения из-за личных своих качеств, но все это не имело никакого отношения к имущественному положению ученика. Аничка была типичной посредственностью, к ней в основном относились равнодушно, и ее никто бы особенно не приметил, если бы не вторжение батюшки. Он привлек к ней внимание, ее стали чаще вызывать, она поднималась с презрительной усмешкой и на все вопросы отвечала гробовым молчанием. Она чувствовала поддержку отца и дядюшки. «Мой брат вам покажет!»— угрожал ее несчастный отец, а молчание девочки становилось все более вызывающим.

В конце концов Аничку стали вызывать только в присутствии других учителей, но ее молчание становилось все более презрительным, все более дерзким. Его усугубляла тяжелая тишина, стоявшая в классе. Мы, пожалуй, не столько жалели Аничку, сколько ждали, когда нас избавят от этих безобразных сцен.

Мы с Зоркой обрадовались, когда Аничка наконец

ушла из нашей гимназии. Нам больше не угрожало ее вмешательство в наши россказни о снах и в нашу дружбу. Ведь она, бедняжка, стараясь завоевать то одну, то другую, сталкивала нас лбами и пыталась рассорить.

— Вдвоем — дружба, третьего — не нужно! — заявляла Зорка.

Зорка вообще обожала поговорки и всегда, на каждый случай жизни, имела какую-нибудь про запас. Употребляла она выражения, которые мне ужасно нравились: «мирово», «плевать с высокой вышки», «до фонаря». Зорка была девчонка смелая, шустрая, веселая, но осторожная. Она гоняла по шоссе на большом мужском велосипеде, едва доставая до педалей, мчалась стоя, просунув ногу под раму.

Она быстро распознала мои слабости и сознательно меня мучила. Бросит слово, зная, что я не спрошу, что оно значит, и смотрит, как я целую неделю терзаюсь от любопытства, пока сама не объяснит его значения.

Следом за Зоркой я перешагнула через границы своей привычной действительности и попала в ее, совсем чуждый, мир. Но далеко не пошла. Осталась сдержанной, настороженной, готовой каждую минуту сбежать назад к своим.

Зоркин отец был важным государственным чиновником, мать — учительница, но сидела дома и занималась детьми и хозяйством. Иногда приглашала прислугу, хотя большую часть работы делала сама. В доме ее за это осуждали, но она продолжала сама мыть окна, несмотря на общественное положение семьи.

Родители Зорки уже немолоды — у Зорки была еще старшая взрослая сестра. Семья на редкость добрая и гостеприимная. Их приветливость и любезность меня чуточку тревожили — моя бабушка надолго дискредитировала в моих глазах эти прекрасные человеческие качества. Стоило кому-нибудь заговорить со мной слащавым тоном, как я сразу же настораживалась.

Зоркины отец и мама были евангелистами и строго придерживались заветов своей веры. Они воспитывали детей по Коменскому. Обе дочери с ними очень считались. Но тем не менее Зорка, так же как и я, мгновенно угадывала каждый воспитательный маневр и бунтовала при посягательстве на ее независимость и чувство собственного достоинства.

Она органически не умела подчиняться, и при малейшем намеке на приказ или выговор лицо ее кривила гримаска.

— Да, да, да! — отвечала она, не дослушав до конца, и тащила меня прочь.

Дома Зорке приходилось разговаривать чистым литературным языком, как и в школе, она не посмела бы брякнуть дома «кол», «содрать», «геограшка» или «матика» — этого бы ее родители не снесли. Зорка знала словечки и похлеще и как-то раз насмерть оскорбила мою маму, заявив:

— Люблю ходить к вам, у вас можно выражаться, как на улице.

Зорка не предполагала, что и у нас дома детям тоже разрешается далеко не все, просто мама не считает грубостями ходовые сочные выражения.

Маме не слишком нравилась моя дружба с Зоркой, да и Павлик ревновал меня к ней. Он первый понял, что я нахожусь под Зоркиным влиянием.

Я поглядывала на нее еще в начальной школе, и сблизила нас та самая «религиозная война» с ее подружкой-католичкой. Когда они помирились, Зорка меня бросила. Нас снова сдружила общая дорога в гимназию. История повторялась несколько раз. На время Зорка привязывалась к новой подружке, бросала меня, но всегда возвращалась. Как обидно мне было, когда Зорка заводила новую фаворитку и прекрасно обходилась без меня, зная, что я подожду, пока она снова меня не позовет. Я всегда дожидалась, но моя любовь уходила и наконец совсем угасла, когда Зорка переехала в другой район и перешла в другую школу.

Моя дружба подвергалась тяжелым испытаниям, особенно в утренние часы. Я заходила за ней в семь утра и изо дня в день заставала еще неготовой.

— Сейчас, только ополоснусь!..

Зорка шла в ванную, а ее мама в это время готовила завтрак — кофе с молоком и две булочки с маслом и клубничным джемом. Волосы у нее были не уложены, на свободном утреннем пеньюаре болталась седеющая коса. Одевалась она всегда в белое и утрами казалась помолодевшей и какой-то беззащитной. Я отказывалась от предложенной еды и впивалась взглядом в кухонные часы.

Обеды и ужины подавались в столовой на большом сто-

ле, но утренняя трапеза проходила в просторной, залитой солнцем кухне.

— Поторапливайся, уже четверть.

— Знаю.

— Ничего с ней не поделаешь, — улыбалась ее мама, — ты тоже так копаешься?

— Да.

Ее мама была моим союзником, но я не могла предать Зорку. Такое случилось лишь однажды, в самом начале нашего знакомства, когда я растерялась от неожиданности.

— Ты тоже жуешь угол подушки?

Вопрос показался мне столь нелепым, что я только и сумела пробормотать, заикаясь, что нет, мол, мне и в голову не приходит жевать подушку...

— Вот видишь, а наша Зорка перед тем, как уснуть, жует угол подушки!

За эту воспитательную сентенцию Зорка всю дорогу со мной не разговаривала, а я каялась и с той минуты готова была признаться во всех несуществующих грехах.

...Я слежу за минутной стрелкой, Зорка медленно размешивает кофе, откусывает булку, разглядывает отпечатки зубов на масле и джеме, и в ее глазах мелькает усмешка. Аничка давно убежала одна, я стою, не сажусь, чтобы Зорка поторопилась. Но она спокойно наслаждается завтраком.

Каждый ее глоток меня мучает, я считаю всякое опоздание, а тем более в гимназию, чуть ли не преступлением — так меня воспитал отец. Через пять минут часы пробьют половину, а Зорка еще только отправляется после завтрака чистить зубы. Не помня себя от страха, я хватаю портфель — он сложен с вечера, — пальтишко, туфли.

Мчимся галопом. Без четверти мы на Штроссмайраке (о, если б Зорка дома так произнесла название улицы!), в гору тащимся еле-еле, у Зорки посинели губы, я задыхаюсь, мы придумываем всевозможные причины и отговорки. Время бежит неудержимо, но Зорка останавливается на рынке и с олимпийским спокойствием покупает яблоко, иногда красное, иногда желтое. На переменке она разламывает его пополам и половинку протягивает мне. Я обошлась бы и без яблока, лишь бы Зорка не задерживалась. Я все поглядываю и поглядываю на часики, подарок отца, он преподнес их мне в первый день, когда я пошла в гимназию.

Мы входим в здание, и тут же раздается звонок.

— Вот видишь, — победоносно заявляет Зорка, — пока Швабра объявится, мы уже давно будем в классе.

От нее слегка пахнет клубникой, на губах следы кофе. Только я замечаю эти сливающиеся с цветом кожи следы. Коротко подстриженные каштановые волосы густы, как дорогая шкурка, а в великолепных карих бархатных глазах поблескивает радость — заставила-таки меня помучиться.

Зорка себе самой не нравится, вместо подписи она рисует сигарету и посмеивается: дескать, из всех сигарет она самая дешевая. Но меня ее внешность и манеры очаровывают. Четыре года я терплю утреннюю каторгу, пробую прийти пораньше, но тогда приходится вытаскивать ее из постели. Пробую прийти попозже — ничего не помогает. С третьего класса я добираюсь до Бубенеча на трамвае. Я осуждена каждый день прыгать на ходу, висеть на подножке и являться в гимназию после звонка.

Только если Зорка болеет, я иду в школу не спеша, у меня есть время все разложить на парте, я наслаждаюсь покоем. Но стоит ей поправиться, как я покорно захожу за ней и не могу избавиться от своих мучений, даже в черные времена ее новых увлечений, когда я только для того и нужна, чтобы вместе идти в школу.

Настоящие чувства просыпаются в душе у человека уже в детстве, со всеми сопутствующими переживаниями.

И здесь дети еще беззащитней взрослых. Я могла ходить одна или с Аничкой. Меня ничто не принуждает идти в школу вместе с Зоркой — только любовь.

Дорогу из школы мы постоянно удлиняли, частенько шли через Стромовку. Мы обе любили ботанику, собирали растения для гербария, любовались раскидистыми кронами старых деревьев, наблюдали за семейками уток на озере. Боковые аллеи днем были пустынны, особенно зимой. Однажды нам навстречу попался красивый, элегантно одетый молодой человек. Проходя мимо, он резко распахнул свое темно-синее пальто...

Я выросла среди мальчишек, да и братик дома лежал в одной рубашонке, и тем не менее я была потрясена. Я боялась даже взглянуть на подружку, но почувствовала, что и для нее удар был жестоким. Искоса взглянув на нее, я заметила, что она вспыхнула и что лицо ее болезнен-

но исказилось, я тут же устремила взгляд вперед, прямо перед собой.

— Как ты думаешь, этот пан сумасшедший? — спросила она хриплым голосом через некоторое время.

И только тут мы оглянулись. Синего пальто уже не было видно. Но после этого случая мы старались ходить по центральным аллеям, хотя ни за что на свете не признались бы друг другу в своих страхах. О странном человеке больше никогда не обмолвились ни словом.

Зорка, девочка развитая и эрудированная для своих лет, долго оставалась ребенком в мыслях, да и по внешности. Мы не поверяли друг другу на ушко «взрослых» секретов, мы засушивали растения для гербариев, выращивали кактусы, создавали маленькие японские садики, окапывали крокусы, поливали клумбы в саду, обменивались книгами, ходили плавать, посещали уроки иностранных языков, бегали на лекции и смотрели научные кинофильмы.

Видимо, Коменский все-таки сделал свое дело, хоть мы отбивались от него руками-ногами. Зорка, подобно Павлику, уводила меня от самой себя, назад в детство. Она давала мне свои книги и тем отвлекала от тяжелого, не по возрасту, чтения. Возня с цветами не оставляла времени для меланхолических раздумий.

Еще недавно Штепка затаскивала меня в свои шумные, озорные компании, а сейчас уже сказывалась разница в возрасте, она превратилась в благонравную барышню, но ее плохо скрываемый темперамент лишал сна окрестных парней.

Зорка сумела вырвать меня из моего упрямого одиночества и привести к людям. Ей даже удалось успокоить мою маму, постоянно дрожащую от страха, как бы со мной чего не случилось, и потому не спускающую с меня глаз.

— А мама за тебя не боится?

Зорка пожимала плечами.

— Мама считает, что все — в руках судьбы.

Моя мама задумалась.

— Может быть, она и права.

Так я опять попала к скаутам, меня даже отпускали в двухдневные походы. Скаутскую клятву давала звездной ночью у костра. Я стояла, подняв сложенные пальцы, в глазах отражалось пламя, в ушах гудело от шума де-

ревьев, грудь была охвачена жаром, а по спине гулял ледяной ветер.

В торжественный момент я забыла, что наш отряд состоит из склочных и ревнивых девчонок. В затхлом, маленьком клубе без окон мы учились вязать узлы, читать карту, определять стороны света и завидовали тем из нас, у кого больше всевозможных отличий — ленточек и бантиков. У нас были звания и ранги, мы делали вид, будто подчиняемся старшему по званию, но разумеется, нам не хватало военного пыла, и все эти фокусы мало нас привлекали.

Наша вожатая была старая дева с нечистой кожей, добрая, готовая пожертвовать собой и болезненно целомудренная. Она, как могла, избегала совместных мероприятий с мальчишескими отрядами, бойскаутов с голыми коленками считала не «братьями», а чуть ли не врагами.

Как-то мы нашли в урне привядший букет, и тут же кому-то пришла в голову мысль подарить его нашей вожатой. Мы натерли глаза луком и отправились поздравлять ее с замужеством.

— Теперь, сестра, ты от нас уйдешь, — проливали мы крокодиловы слезы, — что же будет без тебя делать отряд, ведь ты выходишь замуж!

Она, бедняжка, растрогалась и принялась уверять нас, что мы введены кем-то в заблуждение, только тут я поняла неуместность и жестокость нашей шутки.

Очень быстро нам опротивели и скаутские вечера. Мы с Зоркой пытались их оживить, отыскали интересные рассказы, которые я переложила для исполнения на сцене, но аскетической душе нашей вожатой были чужды любые идеи, кроме скаутских. Мы до обалдения разыгрывали разную ерунду: например, сценку про избалованную девочку, которая, став скаутом, закалилась и поздоровела.

Пропаганда закаливания особенно ценилась в те времена, когда сотням тысяч наших сверстников нечем было обогреться, негде спать, нечего на себя надеть.

Наши добрые дела сводились к благотворительности — вместе с пожарными мы участвовали в операции по сбору одежды.

Оркестр пожарной команды, сидя в машинах, гремел, услаждая слух дарителей во время воскресного пробуждения, а мы, наряженные в национальные костюмы с различными нашивками на рукавах, звонили в двери вилл

и просили пожертвовать старье. Кое-где уже были приготовлены свертки, кое-где с трудом продирали заспанные глаза и рылись в шкафах, а мы перетаскивали барахло в автомобили. Наш синеглазый пожарный посматривал на нас с пренебрежением — видимо, он ожидал «сестер» повзрослее.

Я относилась с пиететом к добрым поступкам вообще, но была уже достаточно взрослой, чтобы ненавидеть благотворительность. Поношенная одежда и стоптанные башмаки на время выручали бедняков, но вся эта акция унижала как дарителей, так и одаряемых.

Воцарилась взаимная ненависть. Нищие ненавидели господ, которые откупались подачками, а благодетели ненавидели голытьбу, что вечно клянчит и не слишком-то благодарна за остатки супа или поношенную жилетку. Дамочки, кроме бесконечных пересудов о прислуге, рассказывали теперь друг другу истории про нищих — миллионеров или про побирушку, что выплеснула не понравившийся ей кофе прямо на лестницу, о симулянте, закопавшем свои здоровые ноги по колено в землю, чтоб изображать инвалида, о безработном, у которого всегда найдется, на что выпить.

Оговоры эти были сами по себе беззлобны, просто людям не хотелось верить в страшную нищету, и они пытались найти виновных. А таковых сподручнее искать среди самих бедняков, нежели в правительстве.

В школу мало или, вернее, ничего не проникало из большого мира. Мы знали лишь, что бедность — явление нормальное и что самый счастливый человек тот, у которого нет даже рубахи, что безработным выдают вместо денег талончики на продукты, а то они, чего доброго, промотают на пустяки десять крон ежедневного пособия. Талончиков на продукты — их называли жебраченки[1] — хватало лишь на хлеб да на смальц. Когда мама хотела меня уязвить побольнее, она утверждала, что я противная, как квартплата, ибо не существовало слова хуже. Люди покидали насиженные гнезда, переселялись в аварийные дома, подлежащие сносу, в вагоны, в пещеры.

— Странно, — заявила наша преподавательница, — эти «пещерные» люди сохраняют вполне человеческий облик, я сама видела, как дети выбежали из пещеры, бро-

---

[1] Жебрак — нищий *(чешск.)*.

сились обнимать свою маму и расспрашивали, что она им принесла. Совсем как мой сын. Они, видимо, отнюдь не считают себя несчастными!

Существовали целые теории о том, что бедные, мол, легко переносят любые неудобства и голод. Конечно, в школу не доходили сведения о засилье вшей в Словакии и в Подкарпатской Руси, где били в колокола, когда приближался судебный исполнитель, и люди защищали свое жилище косами и цепами, как во времена гуситских войн. За три года кризиса жандармы застрелили двадцать девять человек, раненые убежали, боясь ареста, тяжелораненые долго лежали без всякой помощи.

Школа закрывала свои двери, отгораживаясь от событий. Был осужден за фашистский путч генерал Гайда, фашиствующий политикан Стржибрный замешан в аферах. В газетах мы могли прочитать все до мельчайших подробностей, но в учебнике истории эти люди оставались героями Сопротивления. Махар выступал на страницах бульварных газет с непристойными, желчными выпадами в адрес президента, но по инерции оставался в нашей хрестоматии.

Очевидно, считалось, что этот полный отрыв от реальной жизни должен был вызывать в нас ощущение надежности и веры в постоянство идей и человеческих характеров, но для этого учеников пришлось бы наглухо отрезать от живой жизни, от происходящего. Противоречия между действительностью и тем, чему нас учили, были столь сильны, что мы волей-неволей искали собственную правду.

В самые тяжкие времена кризиса матери, чтобы прокормить семью, ходили стирать и прислуживать в чужих домах, а оставшиеся без присмотра дети становились жертвами улицы. Создавались благотворительные детские приюты. В Голешовицах приют был расположен в деревянном бараке, окруженном садом,— «Легия малолетних». Детям здесь выдавали завтрак, они могли готовить уроки, ухаживать в саду за грядками. Здесь командовала строго-ласковая и, как это обычно бывает среди благотворительниц, немного чокнутая учительница. Она с утра до ночи бесплатно возилась с детьми бедняков: выводила вшей, направляла ребятишек во вновь открытые диспансеры на рентген, кормила и одевала. Деньги же получала от публичных лекций, что читали ее коллеги, показа кинофиль-

мов, курсов иностранных языков и уроков ритмики, где оплата производилась в зависимости от достатка семьи.

Зоркины родители всерьез верили в демократизм нашей буржуазной республики и не без задней мысли посылали своих детей в Голешовице. Но моя мама утверждала, что мы лишь занимаем чужое место, и пускала меня только на курсы. Тогда и Зорка решила присоединиться ко мне — ей вскоре наскучило в Голешовицах.

Но главное — мы стали взрослеть. Со мной происходили странные вещи — полное отсутствие аппетита сменилось волчьим голодом: если раньше я через силу проглатывала утром половинку рогалика, то теперь легко уминала полбулки и выпивала две кружки кофе. Я стала расти не по дням, а по часам, росла прямо на глазах.

— Возьму и положу ей кирпич на голову, — грозилась мама, — ко всему прочему еще вымахает длиннющая, как неделя до получки!

Поэтому я старалась сутулиться. Стоило мне с кем-нибудь встретиться, как сразу же начинались восклицания: «Господи, до чего же ты вытянулась! Царица небесная, девочка, куда же ты растешь!»

Я сама была так ошеломлена этим обстоятельством, что папа, нарушив обычное свое молчание, объяснил мне, какие выгоды сулит человеку высокий рост.

Не успела я после его вмешательства примириться со своим несчастьем, как вдруг расти перестала. Мне исполнилось двенадцать, и я стала раздаваться вширь. Развитие шло неравномерно, какими-то скачками.

Из тех «диких» денег мне приобрели выходное платье, оно было совсем как новое, но я уже влезала в него с трудом. И с еще большим трудом вылезала. Дышать в нем было просто невозможно.

Стоял теплый день конца весны, и я чинно вышла прогуляться с Лидункой. Я уже догнала ее ростом, но страшно завидовала ей: еще бы, она на четыре года старше, да к тому же на ней голубое платье с воланами, ажурные перчатки, шелковые чулки и шляпка.

Червь зависти грыз меня так сильно, что, по-моему, было слышно, как он ползает в моей груди. Дунул вызванный моими мольбами ветер, подхватил Лидункину шляпку и кинул ее прямо в грязь. Лидунка бросилась следом, подняла поруганную белизну — шляпку с лентой одного цвета с платьем—и укоризненно глянула на меня.

Конечно, догадалась, что это я наколдовала. Всю дорогу у нее было оскорбленное выражение лица, а я гордо шествовала в своем платьице в мелкую клеточку с пелеринкой и старалась не дышать.

— На девчонке все швы скоро полопаются, — ворчал дядя Йозеф. — Тонча, у тебя платьев полон шкаф, что тебе стоит: два-три шва — и ей новое платье? А?

— Можно-то, можно, — отвечала тетя Тонча, — так ведь она ростом повыше.

— Ну и что? Будет носить короткое, только и делов!

Тетя долго голову не ломала, прострочила платье по бокам на машинке, чуть сузила — и все. И для меня наступила эра щегольства в несколько странных туалетах. Тетиных округлостей я еще не успела приобрести, и платья висели на мне как на вешалке. Мне запомнилось одно, зеленоватое, с широкой расклешенной юбкой. А для особо торжественных случаев — из шифона цвета бордо, юбка плиссе, а сверху фигаро из кремовых присобранных кружев. К этому воскресному туалету я носила белые полотняные туфли, начищенные мелом до такой степени, что каждый мой шаг сопровождало белое облачко.

Зорку одевали просто и практично. Ни разу она не отпустила ни одной реплики в мой адрес, лишь темные глаза ее вспыхивали, загоняя в меня иглу сомнения. Игла оставалась торчать в живой плоти и давала о себе знать даже вечером перед сном.

Однажды между девочками зашел разговор о «Проданной невесте».

— Ты видела? — спросила Зорка тоном, не допускавшим отрицательного ответа.

В театр я ходила часто, но эту оперу почему-то пропустила. Не подумав, ляпнула:

— Нет, не видела, но читала.

Я сказала глупость и сразу поняла это. Воцарилось неловкое молчание.

Но как ни странно, я сказала правду, за несколько дней до упомянутого разговора мне попалось в руки либретто Сабины. Пронзенная Зоркиным взглядом, я потеряла способность хоть что-то объяснить. Хуже всего, что Зорка никогда к этой теме не возвращалась, и вторая иголка осталась торчать в моем сердце.

В начале нашей дружбы со мной приключилась непри-

ятность. В сырой и промозглый зимний день я забыла дома носовой платок, а возвращаться было поздно.

Мы почти бежим, я лезу в карман, роюсь в портфеле, шмыгаю носом, всячески пытаюсь избавиться от предательской влаги.

— А второго платка у тебя нет?

— Нету.

Ответ короткий, как удар бича, и убийственный взгляд.

У гимназистки уже мальчишки на уме и вдруг... что-то щекочет в носу, начинается безудержный насморк. Я бегу низко опустив голову, умираю от стыда, подружкин взгляд лишает меня сил. Я не смотрю больше на часы, дорога кажется бесконечной. В гимназии я тут же мчусь в туалет. Боже мой, впереди еще целых пять часов! Десять лет жизни я отдала бы за маленький полотняный лоскутик.

На следующий день Аничка подсунула мне листок, где изображались все трагические перипетии вчерашнего происшествия и где фигурировал мой нос. Рисунки сопровождались текстом. Автора я узнала с первого взгляда, но упорно отказывалась принять жестокую правду.

Впрочем, правда была не столь жестокой, как мне показалось. Зорку забавляло мое смущение, она просто не могла представить себе, что я лишена ее самоуверенности и превращаю всякий пустяк в трагедию.

Я возненавидела Аничку. Зорку продолжала любить по-прежнему. Только стала с ней осторожнее, скрытнее.

Иногда она задевала меня, сама того не желая, но я и виду не показывала. Наверное, в этом заключалась моя самая большая ошибка.

— Я уже «Юмореску» разучила, пошли сыграю.

Зорка открывает нотную тетрадь, я робко пристраиваюсь на кончике стула. Она начинает играть, я смотрю на ее маленькую фигурку, на ловкие пальцы, и каждый удар по клавишам больно бьет меня, с каждой нотой я словно уменьшаюсь, я — кошка, что попала сюда по недосмотру, и сейчас меня вышвырнут за шкирку в окно, я — залетевшая птичка, что ударяется о стекло, я — муха, от которой отмахиваются нетерпеливым жестом.

Я все бы отдала, лишь бы уметь вызывать музыку, лишь бы пальцы мои смогли запеть. О, если б я умела играть!

Зорка закончила. Подняла глаза от нот.

— Не очень хорошо еще...

— Хорошо, хорошо.

— Если хочешь учиться играть, можешь заниматься у нас.

— Нет! Не хочу! Меня это не интересует. — Я смеюсь. — Да и музыкального слуха у меня нету.

И мечтая дотронуться до клавиш, мечтая услышать хотя бы одну ноту, демонстративно отворачиваюсь от рояля.

Мой музыкальный слух был загадкой даже для нашего учителя пения. Музыкальные диктанты я писала без единой ошибки, точно определяла ноты, но заставить меня спеть было невозможно. Я скорее умерла бы, чем издала хоть один звук. В хоре я молча разевала рот. Так и пела, даже на вечерах.

Наш учитель обожал песню про мельников. Из всех классов постоянно доносилось «тик-тик». Подвижный как ртуть, учитель дирижировал с такой энергией, что однажды у него отскочили сразу две пуговицы с некоего деликатного места, звякнули о парту и куда-то закатились. Хотя пан учитель размахивал палочкой все усерднее и усерднее, песня потеряла стройность и распалась. Наконец, заметив свой конфуз, он выскочил из класса.

В общем-то я этого «психованного» учителя даже любила, хотя ходили слухи, будто он не прочь прикоснуться к девичьему плечику или, если удастся, к более сокровенным местам. Может быть, эти сомнительные слухи возникли потому, что пан учитель двигался быстро, резко жестикулировал, постоянно на что-нибудь натыкался — будь то шкаф или умывальник. Он вечно ловил в воздухе свою дирижерскую палочку или очки.

На «Юмореску» Зорка меня не поймала, но и тут сумела разгадать мою тайную мечту. Наверное, никто не доставлял мне столько радости пустяковыми подарками, особенно такими, о которых мы грезили вместе. Пригоршня обкатанной гальки, засушенная альпийская фиалка, книжка про собаку Бонзу, миниатюрный домик для японского садика, проросшее зернышко мандарина, точилка в виде глобуса — я принимала подарки сдержанно, а сама чуть не прыгала от восторга и словно на крыльях мчалась домой, не в силах остановиться.

Каникулы казались бесконечными, мы обменивались

письмами, я с утра до вечера ждала почтальона. Наконец, заметив мою тоску, мама сжалилась и разрешила пригласить Зорку к нам на несколько дней. Я заранее радовалась, что буду показывать ей лужайку, просеку, усеянную земляникой, обгоревший участок леса с вывороченными бурей стволами деревьев, где уже стала пробиваться трава, заброшенную мельницу, сдавшуюся на милость сорным травам.

Но радостное ожидание оканчивается подчас горьким разочарованием.

«Дело плохо, — писала Зорка, — приехать не удастся».

У меня потемнело в глазах, я долго не могла понять смысла письма. Если я приглашала к нам кого-нибудь из двоюродных сестричек, то само собой разумелось, что сначала я должна была получить согласие родителей, а они у своих отпросятся сами. Но тут я наткнулась на непостижимую моему уму стену правил хорошего тона: «Неприлично приглашать меня тебе самой, меня могут пригласить лишь твои родители через моих родителей».

— Да плюнь ты, — сказала мама, с неприязнью выслушав эту лекцию, — послала бы я их куда подальше! Еще умолять буду!

Но, сжалившись над моим отчаянием, сочинила вечером несколько высокопарных фраз. Ведь именно мама делала за меня уроки по стилю и риторике, и я всегда получала пятерки с плюсом.

— Посмотри, нет ли грамматических ошибок!

За почтовой бумагой я сбегала за пять километров, и мама переписала письмо своим каллиграфическим почерком.

Зорка явилась к нам в клетчатой юбочке и старой курточке, густые волосы гладко причесаны. Мне она показалась совершенно обыкновенной, но тетя Велебилка кинулась к маме.

— Христовы муки! Сударыня, кого это вы мне привели в халупу, ведь это же господский ребенок!

Зорка старалась приспособиться к нашему быту, купалась в корыте, ела со мной из кастрюльки, но ее ничуть не занимали интересы нашей четверки. Она не привыкла играть с мальчишками. И мне сразу надоели наши ребяческие игры, я увидела наш райский уголок ее глазами, и он показался мне запущенным и убогим: быстрая река, где мы пережили столько приключений, оказалась просто

илистым ручьем, наша заводь — лужей с комарами и оводами.

Когда мы оставались одни, Зорка оттаивала, она восторгалась куполом костела и молодыми серебристыми тополями, росшими у кладбищенской стены. Листья их были повернуты бархатистой стороной, и ветер неустанно смешивал зелень с серебром. Зорка, так же как и я, полюбила мягонькие, словно кроличий пух, листья частика, росшего на могилах. Я собралась было отправиться ночью на кладбище и вырвать с корнем саженец для Зорки, но так и не решилась. Отважная тетя Велебилка сама стащила и частик, и маленькое толстенькое молодило, хотя верила, что мертвец может явиться за своим имуществом. Выкопала из могилы перед самым моим отъездом в Прагу, убежденная, что дух в такую даль не потащится.

Ни мне, ни Зорке не удалось вырастить саженцы в горшках, молодило вытянулось, стало тощим; серенький кроличий пух вылинял и погиб.

Тетка так никогда и не узнала, ради кого согрешила. На Зорку во время ее пребывания она поглядывала косо, Зоркина вежливость ошеломила ее.

— Пани, не будете ли вы так любезны, не дадите ли мне пилочку?

— Конечно, барышня, почему бы нет?

И притаскивала. Зорка таращила глаза на грубый рашпиль. Никогда ничего подобного она не видела.

— Это пилочка? — спрашивала она робко.

— А что по-твоему?

— Я имела в виду пилочку для ногтей.

— Для ногтей? — изумлялась тетя. — Напильник для ногтей? В жизни не слыхала.

— А как же вы делаете маникюр?

— Что-о-о-о?

— Да ножницами же, ножницами!—вмешивалась я.— Подожди, я сейчас дам тебе ножницы!

Мне стало неловко. Но я ни за что на свете не призналась бы Зорке, что и у нас тоже нет пилочки для ногтей.

Ее визит не слишком удался. Зорка не сдружилась с нашими мальчишками. И к моему брату отнеслась недоброжелательно, упрекала меня, что я позволяю ему собой командовать. Зорке единственной я иногда жаловалась, что брат следит за каждым моим шагом, что я обязана играть и разговаривать с ним, даже если мне не хочется,

что он плюется в бессильной злобе, если я ему не угодила или в чем отказала.

— Ты не должна этого позволять!

— Но ведь он болен.

— Разве ты виновата? Ты же в этом не виновата!

Она была права и неправа. Если у Павлика затуманивались глаза, я готова была встать на голову, лишь бы на его ресницах не повисла слезинка.

Зорка уводила меня от дома все дальше и дальше. Приманка действовала безотказно — библиотека! Я впервые столкнулась с людьми, которым принадлежали и непрочитанные книги тоже. Мне это казалось столь невероятным, как, скажем, несъеденная еда. И вместе с тем меня завораживало: как прекрасно, когда вместо стен — книги, книги, одни только книги!

Чего стоил против этого наш книжный шкаф, сооруженный в Книне!

— Сделать-то сделаю, — согласился столяр,—да только я в жизни никогда библиотеки не видал.

— Это вроде полочек...

— Доски, да? Значит, вам нужен шкаф с полками.

— Да, но без дверок. Вместо дверок — стекло.

— Ага! Стекло. Ага!

Мы что-то начертили, что-то объяснили, но результат оказался ужасающим: получилась неуклюжая громадина, какие ставят в деревне в сенях, но только с застекленными дверцами. Книги в этом «произведении столярного искусства» выглядели столь чудовищно, что мама затянула их занавеской, а шкаф задвинула в самый темный угол. Со временем мы к нему привыкли, но сейчас меня заливала краска стыда.

Хуже того — я стыдилась своего стыда, понимая, что он сродни предательству.

Как-то незаметно я сдружилась с интеллигентными, развитыми девочками. Мне нравилась культурная обстановка у них дома. Разговоры и общение с ними интересовали меня куда больше, чем приевшаяся болтовня с Павликом.

Как-то днем по настоянию Зорки мы собрались у одной из девочек. Нас было пятеро, атмосфера в доме свободная, несколько богемная. Я тут же растаяла. В квартире — множество картин и книг. Фолианты стояли не в таком строгом порядке, как у Зоркиных родите-

лей, они выглядели кокетливо, вылезали с полок, сияя яркими красками, словно предлагая взять себя.

Я привыкла болтать с Павликом и одновременно делать уроки и потому могла разговаривать с девочками и рассматривать репродукции, а книги сами просились в руки, громоздились вокруг, входили в мою душу. Цвет и форма вызывали острое ощущение счастья, которое заполняло все мое существо, не оставляя места ни для чего другого.

Это моя комната, я сидела здесь всегда и останусь на веки вечные, это мои картины и мои книги, мне не нужно спешить, я выбираю название, одно заманчивей другого, и каждое сулит раскрыть мне свою тайну и отдать свои сокровища.

Лишь где-то далеко-далеко, вне меня, течет время, где-то в другой стране, на другой планете дерево роняет каштаны-ежики, но я не нарушу волшебства, не взгляну на часы.

Я не могу отказаться от этой моей звездной минуты, не могу отказаться от сокровищ, не уступлю ни единой монетки, ни одного мгновения. Натягиваю обшлаг рукава на свои часики, весело болтаю, а сама листаю и листаю книгу. Но бега времени не остановишь.

Кто-то зажег свет. Волшебство исчезло. Мой взгляд взлетел к циферблату.

Половина шестого!

— Мне пора домой.

— Подожди! Не уходи! Зачем? — слышится со всех сторон.

— Мне надо к семи, пойдем вместе, — уговаривает Зорка.

Я сажусь. Но тут же рывком поднимаюсь. В голове молнией мелькает мысль: наши собирались в кино, и Павлик останется один. Нужно успеть, нужно прийти без четверти шесть!

Я уже никого не слушаю, Зорка хмурится, я, едва простившись, выскакиваю в распахнутом сером пальтишке в морозный вечер. Мороз покалывает лицо, уютная комната исчезла, у меня нет ничего общего ни с этой комнатой, ни с Зоркой, ни с теми девочками. Я должна быть рядом с Павликом раньше, чем с его ресниц успеет соскользнуть хоть одна слезинка. У меня десять минут, чтобы успеть смыть свое предательство.

Я примчалась к трамвайной остановке. В кармане — крона, ее хватило бы, не будь я такой длинной. Кондуктор не даст мне детского билета. Отчаяние переполняет меня, туманит мозг, и я не могу ничего придумать. Любой ценой должна, должна быть дома!

На остановке один-единственный человек. Пожилой господин. Храбрость отчаяния толкает меня, я прошу у него двадцать геллеров.

— И этого тебе хватит? Тебя повезут за шестерик?

— Крона у меня есть.

Он лезет в карман и протягивает мне монетку. В его глазах — насмешка и презрение, его монетка жжет мне ладонь. И тут я, что совсем уж бессмысленно, бросаюсь бежать. Согнувшись, мчусь с Летенского холма, мчусь, не замечая ничего вокруг, бегу и бегу, чтоб меня не догнал взгляд того человека. «Еще совсем ребенок, а уже...»

Я налетаю на родителей. Они выходят из дверей.

— Ты что несешься как угорелая? Совсем сдурела! Ключи у соседки!

Наши до сих пор не знают, что Павлик умеет сам отпирать двери. Это наша тайна.

Павлик читает, я хриплю и кашляю, бросаю пальто на стул и за дверцей шкафа сдираю с себя мокрое платье, накидываю халат и валюсь на табуретку.

— Давай поболтаем, Ярча?

— Ну, начинай!

— Нет, начинай ты...

— Нет, нет, ты начинаешь лучше...

— Ладно. Когда я стану путешественником...— говорит братик.

ПРОЩАЙ, НАШ МАЛЕНЬКИЙ, МАЛЕНЬКИЙ МИР!

Мой брат плакал редко, слезы он применял лишь как надежное средство, когда ему требовалось добиться своего. Физически он страдал меньше, чем полагали посторонние, и твердо верил, что поправится,—у него еще отсутствовало чувство времени, и, видимо, ему казалось, что болеет он не так уж давно.

Когда мама утром умывала и переодевала его, он сладко потягивался в своей коляске и говорил:

— Как я рад, что живу на свете. Как хорошо!

Туберкулез поразил постепенно все органы, но был милосерден и не терзал мальчика болями. Иногда, довольно редко, у брата появлялся новый свищ, и нужна была небольшая операция.

Врача ждали лишь к вечеру, и родители выпроводили меня из дому погулять. Я бродила по освещенной Белькредке и разглядывала витрины, опасаясь возвратиться слишком рано. Неожиданно кто-то положил мне руку на плечо. Тетя Тонча.

— Ты что тут делаешь так поздно?

— Доктор Павлика оперирует,— сказала я с важностью.

Мы пошли вместе. Она немного помолчала.

— Ты уже большая, Ярча...

Я знала, что сейчас произойдет что-то страшное.

— Мама не хочет тебе говорить, но тебе надо знать. Павлик умрет, и для него это будет лучше. Будет лучше, ты уж мне поверь.

Мне кажется, в глубине души я сознавала это. Но сейчас наступила жестокая минута! Ничего не поделаешь.

Я молча шла по освещенной улице и вдруг заметила витрину, полную живых цветов, нереальных в сыром, мглистом вечере, расплывающихся яркими цветными пятнами.

— Может, не нужно было говорить, но лучше, чтоб ты подготовилась. Для него это будет освобождением, вы должны его отпустить.

Отпустить? Но куда? Куда, Павлик?

Пятна опять обретают предметность. Радуга — это фонарь. Растекшаяся темная масса уплотнилась и стала башней костела. Перед нами пыхтит грузовик. Облачко белого пара превращается в холодную крупу, и ветер швыряет ее мне в лицо.

Я сразу повзрослела, узнав эту тайну, я кажусь себе старой, старше тети, которая бросает на меня испытующие взгляды. Я знаю, она жалеет о сказанном, ведь сказано слишком много.

— Да, я догадывалась...

Хоть ее успокою, зачем ей разделять мою боль? Я расстаюсь с ней и вхожу в дом.

Павлик вовсю хохочет и сжимает в руке серебряную пятикроновую монету.

— Это мне доктор подарил, чтоб я не кричал!

Доктор — добрый чудак, что не мешает ему чертовски любить деньги. Пять крон для Павлика ему дал в передней папа, за визит он денег не берет, оплата идет через кассу.

Я гляжу в сияющие глаза братика, ресницы еще влажны, и мое вечернее блуждание кажется наваждением. Смерть никогда не войдет в эти стены! Мы не отдадим ей Павлика!

Но спокойствие недолговечно. Меня заметили в «Легии малолетних», и дама-благотворительница, функционерка «Лиги Масарика по борьбе с туберкулезом», не смогла поступиться своей совестью: ведь я ежедневно рискую заразиться.

Я не присутствовала при переговорах, но меня и по сей день мороз подирает по коже при мысли, как страшно было решить родителям, кто из детей останется дома. Был предъявлен ультиматум: либо они отдадут в лечебницу брата, либо отправят в приют меня. У отца сомнений не было, но мама ходила как лунатик: ее истерзала борьба сердца с рассудком.

В конце концов она поддалась советам знакомых и, видимо, папы и решила оставить дома меня. Но никогда мне этого не простила.

— Знаешь, что, Павел,— весело сказал папа,— хоть ты и боишься больницы, как я понимаю, но дома навряд ли поправишься.

— А там я выздоровею?

— Да, в больнице непременно, там докторов — целая куча и профессора есть, знаешь, сколько уже таких вылечили?!

— Тогда я пойду в больницу,— с восторгом согласился Павлик.

Он ожил и все шутил, шутил. Надежда удесятерила его жизненные силы, состояние улучшилось, он даже мог сидеть в своей коляске.

Мама добыла коробку из-под маргарина для его книжек и игрушек и поставила в передней, чтоб не мозолила постоянно глаза. Побежала кое-что купить, а когда вернулась, коляска оказалась пустой.

Непостижимо! Квартира заперта, нигде ни следа посторонних, ни Павлика. Мама в отчаянии металась из кухни в комнату, в голове роились самые фантастические

мысли, как вдруг она услыхала какой-то странный звук. Брат не сумел сдержать смеха.

Он спрятался в ящик. Для ребенка, который годы пролежал без движения, это было воистину подвигом. Сначала брат ухватился за столик и перевернул коляску, выбрался из нее и поставил обратно, а потом на своих паучьих ножках и ручках дополз до передней, забрался в коробку и прикрыл над собой крышку.

В эту минуту мама поверила в его исцеление.

Павлику исполнилось одиннадцать лет, и на него временами находили сомнения. Когда мы бывали одни, его глаза часто становились серьезными и глубокими.

— Ярча, а я правда поправлюсь?

— Да,— отвечала я не колеблясь.— Конечно!

Пока брата еще окрыляла надежда, а мы ее навсегда теряли, я как-то сразу повзрослела. Я реально ощутила, что жизнь куда сложнее, чем хрестоматийные истины.

— Потому что... потому что, если я не поправлюсь, то уж пусть лучше умру.

Он на миг приоткрыл дверцу в свой внутренний мир. Меня трясло. Значит, его веселье наигранно так же, как и наше? Или он хочет облегчить нам разлуку? Стало быть, все мы играем в игру, где обманывают обе стороны?

Его глаза молили о лжи. Я выдержала пристальный взгляд.

— Чепуха!— засмеялась я.— Поправишься!

Мы проводим вместе последнее рождество. Все как обычно, хотя и до нас уже добрался кризис. У папы отобрали пособие по инвалидности, на треть снизили жалованье, но мы все-таки живем лучше многих. На работе на железной дороге папа удержался. Инженер на свой страх и риск подправил его анкету. Может быть, его растрогала судьба Павлика, может быть, он втайне разделял папины убеждения и старался не давать в обиду людей, не занимавших более или менее устойчивого положения.

Мама испекла струдель, изжарила карпа, приготовила картофельный салат с майонезом — любимое наше блюдо. Сразу после ужина мы отправились к тете Тонче — просто не могли оставаться одни.

В последний раз мы собрались всей нашей четверкой. Взрослые болтали в кухне, а мы, дети,—около елочки, в комнате. Тетя Тонча купила мебель «цвета детского поноса», как говорила мама. Это теперь вошло в моду.

Мальчики играли в «Не злись, человече». Кая и Павлик жульничали, обыгрывали маленького Богоушека и смеялись, когда он злился. Я листала новые книги и поглощала печенье за печеньем. Я чувствовала себя одинокой на этой «ничьей земле», одинокой и среди детей, и среди взрослых — печальное состояние. Из кухни доносился говор, я узнала мамин смех, по-моему, неуместный. А потом, когда Богоушек свалился со стула, стала смеяться и я. Мой собственный смех показался мне еще более неуместным, чем мамин.

Нет, мы все сошли с ума. На душе тяжело, нас душит горе, а мы смеемся. Волки и те свободнее нас: они могут выть, когда их берет тоска. Могут выть на луну.

Но я ничего не говорю, молчу, грызу тетино печенье, выплевываю в ладонь зернышки мандаринки. Аромат ее кожуры всегда напоминает мне иное солнце и более счастливые края. Я сопротивляюсь. Волки честнее нас: они воют целой стаей, если им тошно,— а мы тут притворяемся друг перед другом, будто ничего не случилось. Пытаемся вместе смеяться, но смех в то же время разделяет нас. Демонстрируем друг другу глубину своих чувств.

Брата увезли сразу после сочельника, но я расхворалась, не видела прощания, лежала в бреду. Мама решила, что эта простуда, но оказалась тяжелая форма скарлатины. Меня отнесли на носилках в санитарную машину.

Родители встречали Новый год в ванной комнате, дезинфекционная станция исполнила свои обязанности столь добросовестно, что дышать в комнате было нечем, пришлось распахнуть настежь все окна. Папа затопил колонку, они уселись на скамеечку и при свете десятисвечевой лампочки ели прямо с бумаги копчушки: так они и встретили самый печальный год в своей жизни.

Я пришла в себя в больничном боксе после лошадиной дозы инъекции. Моя кровать со всех сторон была обнесена густой сеткой. Положили меня туда потому, что я была очень плоха, на остальных койках дети лежали по двое и пялили на меня перепуганные глазенки.

Я делала все, лишь бы высечь хоть искорку смеха. Я продемонстрировала им свой знаменитый номер — «обезьянку»: вот она чешется, пытается разгрызть орешек, злится.

— Значит, она вправду псих?

— Да нет!

— Ну и пускай псих, хоть посмеемся.

Дети осмелели, совали мне конфеты. Я их хватала и запихивала в рот вместе с оберткой, потом выплевывала, пыталась развернуть. Малышня надрывалась от смеха.

— Больно скоро очухалась,— смеялась врачиха.— Уж очень ты веселая девчонка.

Она и предположить не могла, какое безутешное горе подтачивало мою душу. Я заболела, когда эпидемия пошла на убыль, и детей разбирали по домам. Дней через пятнадцать большинство из них уже чувствовали себя хорошо, но должны были шесть недель просидеть в карантине. Меня перевели к взрослым. В конце концов я осталась в палате с красивой молодой парикмахершей и официанткой из ночного заведения. Я навострила ушки: их разговоры были для меня целым открытием. Мир приобрел еще одно измерение — грязное, болотное.

— Вот свиньи,— восклицала парикмахерша, читая газету,— вы только поглядите! При закрытых дверях! Людей туда не пускают! Еще бы! Можно представить, у каких важных господ рыльце в пушку!

Газетное сообщение вернуло меня назад, в первый класс, когда я только-только начала учиться в гимназии. Уроки закона божьего для католиков вклинивались между совместными занятиями, и ученики иного вероисповедания или неверующие — и тут я была единственной в классе — получали в дар целый час свободы.

Мы дружно проводили его, играя в Летенских садах, пока одна из наших девочек не затащила нас на ипподром. Утром, до полудня, здесь никто не занимался верховой ездой, только какой-то подросток с ехидной холуйской физиономией чистил лошадей. Езда на осле стоила крону, а на лошади — вдвое дороже. Лошадей было две: крупный Аякс и изящная, горячая Вера. За меня заплатила Зорка.

Наконец-то исполнилась моя давнишняя мечта: парень сунул мою ногу в стремя и помог взобраться в седло. Я судорожно уцепилась за луку, земля покачнулась, конь двинулся вперед, мне почудилось, что нахожусь я где-то на необыкновенной высоте, желудок подскочил к самому горлу.

— Быстрее! Езжай быстрее! Давай!— подбадривали меня девочки, которые уже успели насладиться этим

счастьем до меня.— Выпрямись, смотри вперед, держи узду!

Я растерялась от множества указаний, огромное тело мерно колыхалось подо мной, и только когда я снова очутилась на земле, мне полегчало.

Карманные деньги вскоре иссякли, но ипподром по-прежнему манил нас. Наша соученица, с которой мы впервые пришли сюда, ездила каждый раз по целому часу и частенько удирала с уроков. Позже ей разрешили выезжать даже в Стромовку.

— Деньги кончились? Не страшно. Я попрошу шефа, он вам разрешит кататься задаром.

Она привела нас к нему. Впервые в жизни я видела такую физиономию. Пергаментная кожа, скуластый, желто-зеленые глаза с узкими кошачьими зрачками.

Стоял он спокойно, внешне бесстрастный, но у меня было такое ощущение, будто он прыгнул, вонзил в меня зубы и когти, высунул длинный липкий язык и стал рыться в моих внутренностях, как муравьед в муравейнике.

— А на осле покататься не хочешь?

Они переглянулись с помощником поверх моей головы, я повернула голову и успела заметить безобразную ухмылку на роже мальчишки. Я, не сопротивляясь, дала подсадить себя на осла, и тот затрусил мелкой рысцой. Нет, это не тот полный ужаса восторг, какой испытываешь, сидя на лошади,— высоко, высоко! Неприятная тряска раздражала меня. Я опять перехватила взгляд, которым хозяин обменялся со своим подручным, и сползла со спины осла. Упала, но, прежде чем кто-нибудь из них успел мне помочь, поднялась.

Я старательно избегала их прикосновений. Их руки наводили на меня панический страх, они напоминали щупальца спрута, душившие ныряльщиков в фильмах ужасов. Я выскочила из-под брезента на улицу.

— Что-нибудь случилось?

Зорка выступила мне навстречу. Так отрадно было вновь увидеть ее безмятежное личико!

— Ничего, просто больше не хочется, неинтересно.

— Ага, довольно нудно,— согласилась Зорка.— Знай себе езди взад-вперед, взад-вперед!

Я не решилась сказать ей, что сейчас видела дьявола. Он стоял, щурил кошачьи глаза, сладенько и коварно усмехался, наблюдая, как я, осужденная на адовы муки, кор-

часъ от отвращения, трясусь на осле и делаю круг за кругом в липкой паутине двух перекрещивающихся взглядов.

Мы перестали ходить на ипподром, Зорке вообще все надоело, да и мои увлечения тоже быстро менялись.

Но наша соученица все продолжала ездить. У нее, единственной в классе, постоянно водились деньги. Она давала их на сохранение девчонкам или прятала где-нибудь в классе, в тайнике. Там же оставляла часики и колечки, плитки шоколада, даже платье.

— Я коплю,— спокойно отвечала она на все наши вопросы,— кое-что дает тетка, кое-что бабушка. Дадут на тетради и на цветные мелки, а я скоплю на часы! Понимаешь теперь, почему я не могу их принести домой?

Мы чувствовали, что она врет, но по наивности не связывали ипподром с источником ее доходов. Наоборот, мы полагали, что деньги дают ей возможность кататься на лошади.

В классе господствовала круговая порука, и дома я о своей соученице даже не заикнулась. Девочка была тихая, миленькая, ничем не привлекающая к себе внимания. Лишь в третьем классе она начала вдруг чрезвычайно быстро развиваться, расцвела, располнела.

— Ваша подруга тяжело больна,— в один прекрасный день обьявила нам классная дама,— и к вам больше не вернется.

Мы переглянулись. Мы не могли поверить, что болезнь может проявляться подобным образом. Странные симптомы. Может быть, другие девочки знали больше, чем мы с Зоркой, но до нас ничего не дошло, а возможно, мы еще не понимали намеков.

Но сейчас, в больнице, мои собеседницы не пощадили моего целомудрия — я не краснела, а только становилась все бледнее — и открыли мне правду в ее жестокой наготе. Я вновь пережила всю сцену на ипподроме: унизительную скачку на осле, липкие присоски руки, до которой я даже не дотронулась.

Я недоумевала и радовалась, что не попалась в паутину, в которой запуталась моя однокашница. Она понимала, что поступает скверно, иначе бы не прятала свои часы и колечки. Но ведь и я тайком прилепляла к перилам жевательную резинку, купленную на украденные деньги. Я тоже чуть не переступила роковой рубеж.

— Чем важней пан, тем большая он свинья,— завершила официантка своеобразную просветительную лекцию.

Молодая, но уже отцветшая, с прекрасными волнистыми волосами, с одутловатым, неестественно бледным лицом, она после скарлатины подхватила ревматизм, ноги и руки у нее отекли.

— Теперь уж и лестницу мыть не дадут,— проговорилась она, и мы догадались, что она уже давно не работает официанткой.

Однажды ей принесли передачу — тощую ваночку без изюма и ничуть не сдобную. Она угощала нас, а в глазах ее стояли слезы.

— Тетке самой есть нечего, уж лучше бы я ей не писала! Да только, кроме нее, у меня никого нет на всем белом свете!

— Вот и живите у нее, пока не найдете работу.

— Сесть ей на шею? Она, глупая, даже не подозревает, чем я в Праге занималась.

Накануне, перед выпиской, она выпросила у сестричек снотворное и проглотила все разом. Лежала отекшая, апатичная, но осталась жива.

Я вернулась из больницы совсем иной — одним прыжком навсегда вырвалась из невинного мира детства.

Зорка принесла мне ананасовый компот в жестяной банке, у нас в квартире несколько дней стоял его тонкий аромат. Она проходила со мной пропущенное, но учебники казались мне ненужными, а Зорка — просто милым ребенком. Я не решалась внести в ее душу разлад, поделившись своими сомнениями насчет устройства большого мира.

На Каю и Богоушека я и вовсе смотрела как на грудных младенцев — их ссоры из-за «Спарты» и «Славии» больше меня не трогали.

Одна лишь Штепка поняла, что со мной творится. Она окинула меня долгим взглядом.

— Ну и вымахала же ты! Пошли в Стромовку?

Стояло самое начало весны, мое любимое время года, когда слезы последних сосулек превращаются в безудержную капель. Она брызжет на волосы, на нос, прозрачные ручейки омывают мощеные тротуары, ветви деревьев окрашены в лиловатый цвет. А воздух чуть отдает горчинкой.

Подбираю тополиные сережки, вот уже пригоршня полна, но брезгливо отшвыриваю их, ведь мне некого пугать гусеницами — брата нету дома. Я отвыкла от него, но иногда страшно тоскую.

На мое письмо, написанное азбукой Морзе, он ничего не ответил.

Первый визит окончился неудачно. В лечебнице был карантин.

— Ей уже исполнилось четырнадцать?

— Нет,— честно сознался отец.

— Тогда, к сожалению, не могу пропустить.

Я разрыдалась так бурно и неудержимо, что сестра пожалела меня. Она согласна была меня впустить, но я не хотела идти к Павлику заплаканная и не могла остановить рыданий.

Во время второго визита я поняла, что брат совсем отдалился от нас, он жил в ином мире, и я была там незваным гостем, чужаком. Павлик выглядел хорошо, загорел, повеселел. Его бархатные глаза светились каким-то новым, теплым и мягким светом.

На соседней койке лежала такая же больная девочка, с красивым личиком, с накрашенными губами и щеками. Сейчас она покрывала себе лаком ногти. «Вот почему Павлик не ответил на мое письмо,— подумала я ревниво.— Я ему больше не нужна».

— Они с Павликом любят друг друга,— сказала нам потом девочкина мама,— здесь такое не полагается, но Павлику с Боженкой разрешили лежать рядом.

— Сколько вашей Боженке лет?

— Исполнилось двенадцать.

— И уже красится?— усмехнулась моя мама.

— Нас предупредили, что переходного возраста ей не пережить.

И хотя произнесла она это утвердительно, в словах прозвучал вопрос. Женщина боялась поверить и жаждала, чтоб ее разубедили. Но моя мама лишь кивнула головой.

— Ваша правда. Ах, какая, в сущности, разница? Пускай красится, если хочет. Такая красивая девочка.

— Ваш Павлик тоже вырос бы красивым...

Они посмотрели друг на друга с грустной улыбкой и обменялись рукопожатиями. Матери приговоренных к смерти.

Больше я к Боженке не ревновала. Пусть она вместо меня разговаривает с братиком, пусть они протягивают друг к другу руки через проход между койками.

В последний день года мы получили печальное известие. Павлик не прожил месяца после того, как ему исполнилось двенадцать. Надо было обойти всех родственников. Мы входили молча. В ответ вопросительный вздох: «Павлик?» — и безмолвный кивок головы.

Я не ощущала горя, я была словно в тумане, в тупом, полуобморочном состоянии. Что-то стряпала, делала вместе с папой — все, что в таких случаях положено. Мама с оскорбленным видом сидела, забившись в угол, и вздрагивала при каждом звуке. Она смотрела на нас укоризненным отчужденным взглядом. Она была там, вместе со своим сыночком, мы ее только раздражали.

Но вдруг она встряхнулась, отправилась вместе со мной покупать траурную одежду, надела первое свое черное пальто, от шляпы отказалась, купила черный платок, словно давая понять, что жизнь для нее кончена, что теперь ей все безразлично.

Тетя Тонча выбрала для меня пальтишко и сказала:

— Удивительно, до чего блондинкам идет черный цвет.

Лишь сейчас я четко увидела себя в зеркале. Красивая, изящная девушка в каракулевой пелеринке. В уголках губ таится тщеславная улыбка.

Я никогда не видала себя в большом зеркале во весь рост, и мое собственное отражение удивило меня. Мне стало стыдно за девушку, обрадованную новым туалетом, за девушку, самовлюбленно разглядывающую себя в зеркале, хотя ей положено быть убитой горем.

Я отвернулась от нее, я всей душой ее ненавидела, я видела ее мамиными глазами — бесчувственная эгоистка! Мне было четырнадцать с половиной, и я не могла ту девушку простить.

Но вокруг нее вертелась продавщица и подавала ей платья на выбор; впервые, впервые в жизни она могла войти в цветочный магазин, к витрине которого тысячу раз прижимала нос, могла в такой холод купить живые цветы, насладиться ароматом белой гвоздики. Впервые в жизни уселась в легковой автомобиль. На минуту эта девушка забыла, что новое платье — это траур, что цветы лягут на гроб, что первая поездка в автомобиле — на кладбище.

Она немного важничала, когда, пройдя сквозь строй соседей, уселась в такси в своей каракулевой пелеринке, с букетом живых цветов в руках. И чувство это поглотило печаль.

Но сердце мое сжималось и плакало кровавыми слезами, и у меня — у меня не было ничего общего с той длинноволосой блондинкой, которой так идет траур и которая фиксирует все происходящее сухими глазами, бесстрастная, словно объектив фотоаппарата.

Мы воссоединились только у гроба — та чужая девушка и я.

Павлик лежал в чистой пижамке и загадочно улыбался.

Мама гладила его по лицу, но улыбка не менялась — тихая. счастливая и мудрая.

Такое же выражение бывало у него, когда утром, потянувшись, он выдыхал свое «Как я рад, что живу на свете, как мне хорошо!»

Сейчас улыбка его была светлее и чище, без примеси озорства, и, я бы сказала, завершенней. Я пыталась разгадать ее смысл, зная, что сейчас ее навеки поглотит крышка гроба. А пока этого не произошло, я обязана понять, что он мне завещал. Если бы Павлик хоть на долю секунды поднял бессильные ресницы, я, наверное, смогла бы разгадать тайну его последней улыбки.

«Ты мне больше не нужна,— читаю я на мертвом личике.— Не нужна мне ни твоя гвоздика, ни твои слезы, я изгоняю тебя, навсегда изгоняю».

Я придерживаю рукой крышку, гробовщик отступает.

Мне кажется, загадочная улыбка стала глубже. Окоченевшим пальцем дотрагиваюсь до лица Павлика и не чувствую холода — он жив, мои цветы закрыли его изуродованное тельце.

«Не бойся жизни, она прекрасна, не бойся смерти, она еще прекрасней»,— передает он мне свой последний завет.

Церемония похорон проходила без священника, без певчих, только мы да звон колоколов в морозном воздухе. Под ногами таял снег, и рыдания взлетали и падали на землю, словно убитые морозом птицы.

Мы стояли долго-долго, пока земля не поглотила моего Павлика навсегда.

И тут я поняла, что вместе с ним исчез и наш маленький, маленький мир.

Я стала взрослой и свободной. Меня перестала угнетать взыскательная и требовательная любовь. Я могла бегать, прыгать, кататься на коньках, на карусели, ходить в театр, иметь своих собственных друзей. Теперь это никому не помешает, никого не ранит.

Я отгоняла недоброе чувство, но оно росло во мне, гнало вперед и вперед, все во мне выпрямлялось, словно помятая трава, я ощущала в себе свежую, живую зелень и боялась смотреть маме с папой в глаза. Я шла немного впереди по заснеженной Стромовке.

Нет, это не я, не та, что тщетно подавляет радостное ощущение свободы, это не я, это, конечно же, та девушка с красивыми ножками в новых туфельках, блондинка, которой идет черная каракулевая пелеринка, мне не нужно свободы, я охотно променяю ее на Павлика, до самой смерти буду сидеть, скорчившись, на низенькой табуретке возле его коляски, и нести ребячью чепуху! Я хочу, хочу возвратиться в наш маленький, маленький мир.

Но я иду все быстрее, под снегом притаилась жизнь, на елках весело сверкают красные шишечки, осыпается с ветвей серебряная пыль, и вверх, в небо, взлетает разноцветный мяч. Он падает — вот это мяч, так мяч — я подхватываю его и кидаю незнакомым парням.

Они смеются. На улице звенит трамвай, люди идут за покупками, продрогший нищий подставляет мне ладонь, а две чумазые девчушки лакомятся одной конфеткой — когда одна сосет, другая молча шевелит губами.

«Кровавое несчастье на шахте «Нельсон»!— кричит мальчишка-газетчик.— Сотни вдов и сирот!.. Разрешат ли угольные магнаты спасательные работы?»

Я купила газету. Беда, обрушившаяся на незнакомых людей, переплетается с моим горем. В большом мире у меня тысячи и миллионы братьев, они верят в мою любовь. Я уже знаю, что и в большом мире чужие страдания будут душить мою радость, и в большом мире я не буду свободна.

Но пройдет много трудных лет, пока я пойму наконец, что последний завет моего Павлика был обманчив.

В своей неопытности я неправильно прочла его. Нет ничего прекраснее жизни!

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЯРОМИРА КОЛАРОВА
Наш маленький, маленький мир

ИБ № 7322

Редактор *И. Н. Колташева*
Художник *В. И. Кириллов*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технический редактор *И. А. Юдина*
Корректор *В. Ф. Пестова*

Сдано в набор 1.10.79 г. Подписано в печать 12.03.80. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Условн. печ. л. 18,06. Уч.-изд. л. 18,97. Тираж 100 000 экз. (1-й завод 1—40 000 экз.). Заказ № 154. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17

Владимирская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

МИСАРЖ К. ОКРАИНА: Роман.

Действие романа происходит в Чехословакии после второй мировой войны. Герой его — простой деревенский паренек Франтишек, принятый в гимназию благодаря исключительным способностям, — становится инженером и спокойной должности в Праге предпочитает работу на новом химическом комбинате далеко от столицы. Герою Мисаржа не безразлична судьба своей страны, он принимает близко к сердцу ее трудности, ее достижения и победы.

ВЫШЛА В СВЕТ

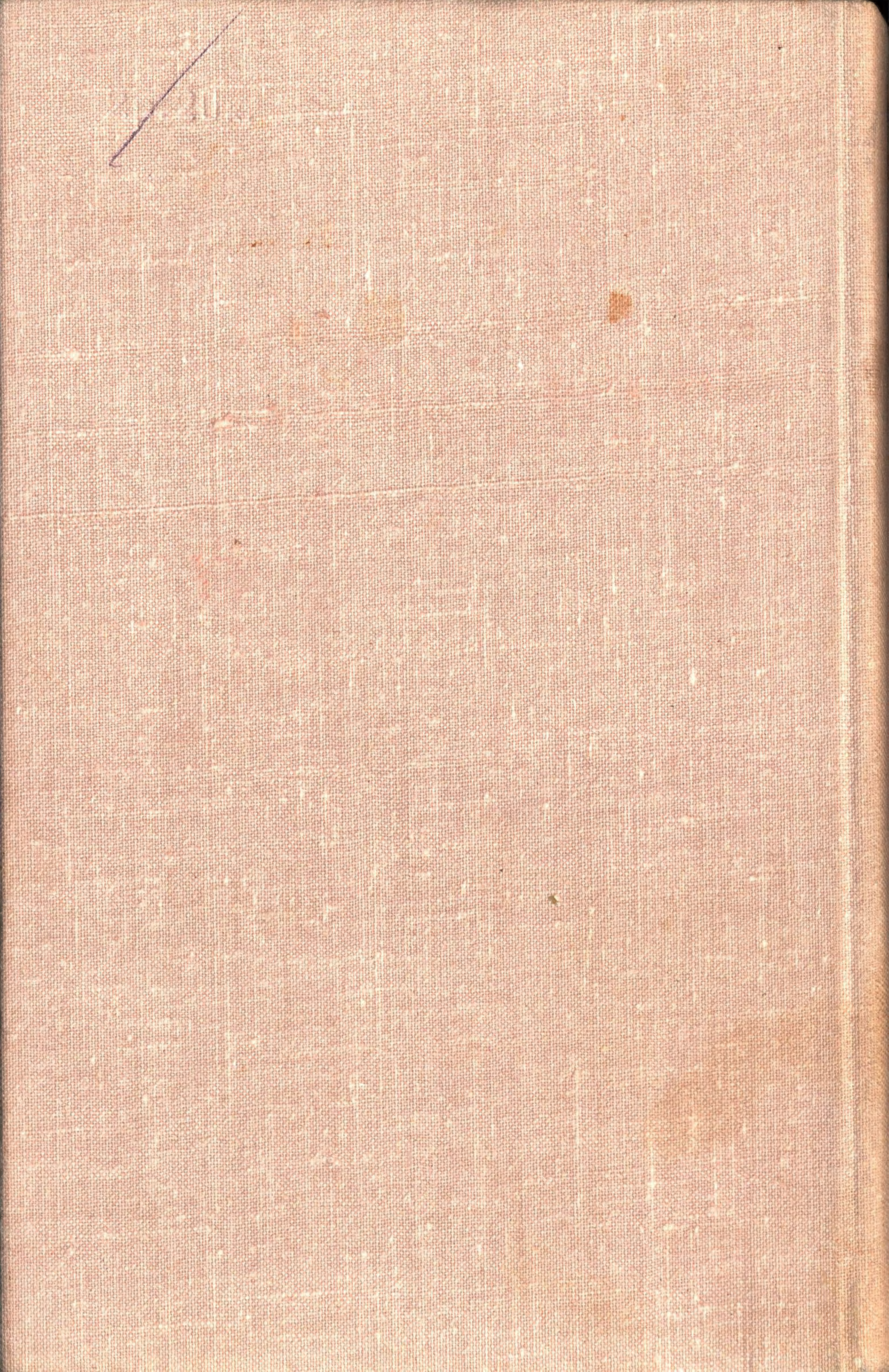
ШАЙНЕР Д. ГОРИЗОНТЫ: Стихи. Сборник.

Лауреат премий Союза чешских писателей Донат Шайнер — известный поэт и прозаик, автор романов и повестей для молодежи. Особенно популярна его лирика: самобытная, проникновенная, она пробуждает чувство радости бытия, гражданскую ответственность за судьбу мира и человечества.

Стихотворения взяты из сборников «Напоминание», «Горизонты», «О чем поведало солнце» и др.








ЯРОМИРА КОЛАРОВА
НАШ МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ МИР